

Игорь Ефимов



Глобус души

Семь искусств

Игорь Ефимов

Глобус души

© Ефимов И. (текст)

© *Семь искусств* (оформление)

На задней обложке фото автора
работы Бориса Шварцмана, 1974 год



Семь искусств
Ганновер 2020

Ефимов И. Глобус души — Ганновер: *Семь искусств*. 2020. — 320 с.,
18,3 а.л.

Аннотация

Игорь Ефимов впервые познакомился с трудами Канта и Шопенгауэра, когда ему исполнилось тридцать лет (1967). Их идеи так увлекли его, что он попытался развивать метафизический анализ окружающего нас мира дальше, в результате чего на свет появились книги «Практическая метафизика» (1972) и «Метаполитика» (1974), опубликованные сначала в Самиздате под псевдонимом Андрей Московит и потом вышедшие на Западе. В течение последовавших пятидесяти лет из-под пера Ефимова появилось много романов и историко-философских книг, в которых метафизическое восприятие жизни прорастало новыми ветвями. Предлагаемая читателю книга представляет собой переработанную компиляцию всего написанного им в сфере метафизических изысканий. Он надеется, что рано или поздно с метафизики будет снято клеймо лженауки, что её снова начнут изучать в университетах и колледжах и данный труд сможет быть использован как учебник, как краткий курс для студентов и аспирантов.

Автор выражает благодарность Игорю Веслеру за скрупулёзное прочтение рукописи и внесение необходимых исправлений.



Семь искусств
Ганновер 2020

Источники

В книге использованы три формы примечаний и отсылок к источникам.

Цитаты из Библии и Корана указываются прямо в тексте общепринятым образом.

Цитаты из исторических и философских книг помечены номером, вынесенным над строкой, по которому можно найти указание на источник в конце книги, в разделе Примечания.

В тексте также будут встречаться помещённые в круглые скобки буквы и цифры, например (ПМ-145). ПМ означает, что приведённый отрывок взят из книги «Практическая метафизика», со стр. 145. Расшифровка буквенных аббревиатур и список книг И. Ефимова, из которых брались отрывки, приводятся ниже.

БД – «Бремя добра». Эрмитаж, 1993.

ГА – «Грядущий Аттила». Петербург: Азбука, 2008

ДП – «Двойные портреты». Эрмитаж, 2003.

МП – «Метаполитика». Ленинград: Лениздат, 1991.

ПМ – «Практическая метафизика». Москва: Захаров, 2001.

ПФ – «Пять фараонов». Ганновер (Германия): Семь искусств, 2019.

СА – «Сумерки Америки». Петербург: Лимбус-пресс, 2017.

СВ – «Связь времён». Москва: Захаров, 2012.

СТН – «Стыдная тайна неравенства». Эрмитаж, 1999.

ФВ – «Феномен войны». Ганновер (Германия): Семь искусств, 2019.

Оглавление

Часть первая. Планета Душа под телескопом метафизики	
Глава 1. Иммануил Кант поворачивает штурвал метафизики	5
Глава 2. Бунт на корабле	10
Глава 3. Новый лоцман метафизики – Артур Шопенгауэр	15
Глава 4. Воля «Я» и воля «Мы»	23
Глава 5. Томление духа и радость игры	30
Глава 6. Страдание и радость как инструменты постижения мира	37
Глава 7. Представление на службе у воли	43
Глава 8. Счастье опьянения и радость смешного	53
Глава 9. Стыдная тайна неравенства	58
Глава 10. Четыре континента планеты Душа	67
Часть вторая. Языком метафизики – о страстях души	
Глава 11. Гордость и стыд, быть и казаться	71
Глава 12. Властолюбие	80
Глава 13. Гнев и злоба	87
Глава 14. Обольщение богатством	96
Глава 15. Жажда сплочения	104
Глава 16. Жажда мести	113
Глава 17. Жажда любви	120
Глава 18. Жажда красоты	131
Глава 19. Жажда справедливости	143
Глава 20. Жажда веры	154
Часть третья. Динамика истории	
Глава 21. Трудные ступени цивилизации	170
Глава 22. Отставшие народы атакуют обогнавших	180
Глава 23. Счастье ниспровергать	196
Глава 24. О касте воинов	206
Глава 25. Метафизика войны	214
Глава 26. Выбор между веденьем и неведеньем	225
Глава 27. Проблема выбора и экзистенциализм	239
Глава 28. Метафизика вторгается в политэкономиию	248
Глава 29. Луч метафизики – в бездну массового террора	264
Глава 30. Непримиримые – помириться!	276
Эпилог: Религиозный аспект выбора между веденьем и неведеньем	293
Примечания	301
Библиография	307
Указатель имён	312

Часть первая

ПЛАНЕТА ДУША

ПОД ТЕЛЕСКОПОМ МЕТАФИЗИКИ

Глава 1. ИММАНУИЛ КАНТ ПОВОРАЧИВАЕТ ШТУРВАЛ МЕТАФИЗИКИ

Есть люди, которые не любят поэзию. Есть люди, которые не ходят в театр. Есть люди, лишённые всякого вкуса к живописи. Есть совершенно равнодушные к балету.

Но, как это ни парадоксально, нет людей равнодушных к философии.

Философия нужна каждому как дом души. Это может быть просторный и удобный дом, может быть лачуга, изба, шалаш, пещера. Нашему телу необходимо убежище, в котором можно укрыться от ветра, снега, дождя, холода, палящего солнца. Точно так же и нашей душе нужно какое-то укрытие от леденящих вопросов, обжигающих страхов, пронзительных сомнений, изматывающих противоречий, ослепляющих видений.

Философия не может быть универсальной, одинаковой для всех. Даже четыре главных вопроса бытия – *что есть мир? что есть я? что я должен? на что могу надеяться?* – даже они звучат в разных людях с разной силой. Поэтому кто-то больше всего озабочен загадками мироздания, кто-то вслушивается в мир своих чувств, кто-то «ищет грань меж добром и злом», кто-то думает только о спасении души. Но не нужно при этом забывать, что вдобавок к четырём главным, в душе каждого человека звучат сотни других вопросов. И он ищет, ищет такое жильё, в котором можно было бы хоть ненадолго укрыться от этого вечного сквозняка – обрести душевный покой.

На знаменитые философские системы люди часто смотрят с той же смесью любопытства, почтения и равнодушия, с какой приезжающие в город селяне смотрят на дворцы и храмы: великолепно, заманчиво, красиво, но квартиру там снять нельзя – а, значит, не очень интересно. Да и у кого в наш занятый суматошный век хватит сил и времени обследовать гигантские постройки, создававшиеся великими умами? Сборный домик из щитов, из отштампованных панелей, из готовых деталей – вот за чем гоняется большинство наших современников.

Теперь представим себе человека, построившего своё душевное жильё, планирующего дожить в нём в относительном комфорте

и безопасности. Он тянется к людям, построившим себе похожие избышки, находит в их выборе подтверждение правильности и надёжности своей постройки. Но вдруг до него доносится – с церковной кафедры, из газеты, из репродуктора, просто из пересудов – голос какого-то не в меру дальнозоркого критика, который говорит, что такое жильё никуда не годится. Что крыша у него легко провалится под тяжестью выпавшего снега, стены не выдержат сильного ветра, близость пересохшего леса грозит пожаром, близость бурной реки – наводнением. Эти предостережения повергают человека в мучительную тревогу, от которой есть только два спасения: либо начать перестраивать жильё, либо заставить умолкнуть сеятеля тревоги – изгнать, запихнуть в тюрьму, даже убить.

В эту схему взаимоотношений человека с философией можно уложить всю эпопею идейных баталий в обозримой истории. Кому-то из не в меру дальнозорких досталась судьба изгнанников, как это случилось с Овидием, Данте, Кальвином, Декартом, Руссо, Вольтером, Гюго, Герценом. Кому-то не удалось спастись от казни – Сократу, Яну Гусу, Иерониму Пражскому, Сервету, Джордано Бруно и многим, многим другим. Но если голоса изгнанных и казненных рождали тревогу в тысячах и миллионах сердец, раздор вскоре переходил из сферы теоретических диспутов в стадию кровопролитных побоищ.

Вглядываясь в эту печальную картину из своего 18-го века, Иммануил Кант (1724-1804) снова и снова искал путей примирения хотя бы в теоретической сфере, что представлялось ему первым и необходимым шагом для снижения реальных страданий человеческого рода. Вместо того чтобы вмешиваться в протекавшую в его годы борьбу между религиозной христианской догматикой и набравшей силу философией Века просвещения он устремлял свой взор в сферы идеального мира, находившиеся как бы над схваткой, в которых рациональный ум учёного-материалиста терял свою уверенность.

«Метафизика, – писал Кант, – до сих пор не пользовалась еще благосклонностью судьбы и не сумела ещё ступить на верный путь науки, несмотря на то, что она древнее всех других наук и сохранилась бы, если даже все остальные были повержены всеистребляющим варварством... Что касается единодушия во взглядах сторонников метафизики, то она еще настолько далека от него, что скорее напоминает арену, как будто приспособленную только для упражнений в борьбе, арену, на которой ни один боец еще никогда не завоевал себе места и не мог обеспечить себе своей победой прочное пристанище. Нет поэтому сомнения в том, что метафизика до сих

пор действовала только ощупью и, что хуже всего, оперировала одними только понятиями». ¹ (ПМ-21-22)*

Будучи гуманистом, Кант верил, что не ограниченность, не коварство и злокозненность, а лишь неистребимое стремление к истине и самым возвышенным идеалам всегда побуждали разум проникать в горние выси, в мир сверхчувственный. Но попадая туда, вырываясь из сдерживающих границ опыта, он терял ту единственную область, где были применимы его силы, и принимался в бесчисленном множестве создавать воздушные замки, населенные призраками и химерами, затоплял все вокруг потоками пустых словосочетаний, да еще гневался, когда их отказывались принимать за реальность. Порождения его делались столь гибкими и растяжимыми, что вдобавок с удобством использовались всякой властью для ее вечных задач подавления всего живого, и зрелище это, естественно, делалось столь невыносимым для всякого свободного и серьезного ума, ложность построений покрывала таким позором его (разума) возвышенные идеалы и самое понятие метафизики, что, вопреки всем преследованиям, начиналось столь же неудержимое движение к обратной крайности, к отказу от самого понятия идеальности, к пошлейшему механицизму. (ПМ-21)

Озирая бурлящий океан философских словопрений, Кант с новым интересом вгляделся в загадку наличия в нём тихого залива, в котором споры и вражда как будто на время утихали. Назывался этот залив «Наука математика». Её постулаты строились не на жизненном опыте людей, который мог быть у всех разным, но явно на том, что было заложено в самом разуме до всякого опыта – *априори*.

Никакой опыт не говорит мне, что прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Никакой цилиндр мне не нужно разрезать, чтобы определить форму вертикального сечения, – это прямоугольник. Не путем измерения нахожу я, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым углам. Все эти операции я вполне могу проделать в своем сознании и буду уверен в них без всякого экспериментального подтверждения. И то, что все эти знания совпадут потом с опытом, дадут мне возможность выточить вал, точно лежащий в подшипник, построить плотину, рассчитать профиль крыла самолета, произойдет лишь потому, что и весь опыт является нашему сознанию в тех же изначальных априорных формах, законосообразность которых постигается математикой. Если подшипник не садится на вал, вы будете искать причину в случайной зазубрине, в неточном замере, в браке самого подшипника, но не в формуле D

* Система сносок и примечаний разъяснена на стр. 3.

= $2R$ (диаметр круга равен двум радиусам). Ибо это – нечто настолько изначальное и обязательное для нас, что мы даже не справляемся уже об источниках такой обязательности.

Итак, математика есть чисто априорная форма познания, состоящая в конструировании понятий и определений (математических) на основании априорных форм человеческого сознания. Ее совпадение с опытом и возможность использования в нем объяснимы только в том случае, если пространство (изучением которого она занимается) есть лишь форма нашего восприятия, в которой и является нам содержание опыта, а не способ существования вещей *самих по себе*. Обязательность ее положений для каждого сознания объяснима тоже только в том случае, если принимать пространство как форму, заложенную в самом человеческом разуме. Если же полагать его свойством окружающих предметов, то становится совершенно непонятным, почему оно оказывается не подверженным всем отклонениям, неточностям и вызывающим споры расхождениям, как другие наши чувственные восприятия. Наконец, отнюдь не для доказательства, но лишь для иллюстрации, можно напомнить о факте раннего обнаружения математических способностей у детей; ибо это знание такого рода, которое им нет нужды получать через жизненный опыт – оно целиком содержится в их головах, так что обучение сводится по сути лишь к извлечению его оттуда и закреплению путем упражнений. (ПМ-14)

Но за пределами тихого залива математики ожесточённые споры и вражда вздымаются снова и снова. Кант выделяет среди них четыре группы непреодолимых противоречий, которым он даёт название *антиномий*.

Действительно, относительно всей совокупности наших представлений, то есть мира, который и является предметом философского познания, можно с одинаковым успехом доказывать следующие, исключаящие друг друга положения:

1. Что мир ограничен в пространстве и времени; и что он безграничен в них.
2. Что мир состоит из простых, неразложимых далее частиц; и что он не может из них состоять, что не существует ничего простого и неразложимого.
3. Что причинность по законам природы есть не единственная причинность, из которой можно вывести все явления в мире, и для объяснения определенного класса явлений (и в первую очередь – в жизни человека) необходимо допустить свободную причинность; и что нет никакой свободы, все совершается только по законам природы.

4. Что к миру принадлежит или как часть его, или как его причина безусловно необходимая сущность (то есть Бог); и что нигде нет никакой абсолютно необходимой сущности – ни в мире, ни вне мира – как его причины.

Во всех этих четырех парах противоречащих друг другу утверждений, первому философ дает название *тезиса*, второму – *анти-тезиса*. «Что мир имеет начало, что мое мыслящее Я обладает простой и потому неразрушимой природой, что оно в своих произвольных действиях свободно и стоит выше принуждений природы и, наконец, что весь порядок вещей, образующих мир, происходит от одной первосущности, от которой все заимствует свое единство и целесообразную связь, – это краеугольные камни морали и религии. Антитезис лишает нас всех этих опор, или так нам это, по крайней мере, кажется».² (ПМ-14)

Кантовскую метафизику ни в коем случае нельзя путать с чистым идеализмом. Ведь идеализм отказывает в существовании миру вне нас. Кант же считает его безусловно существующим и лишь рассматривает возможности нашего познания по отношению к нему, определяет границы, обусловленные самой нашей познавательной способностью. Совместить понятие таких границ с нашим абсолютно верным убеждением в безграничности всякого познания так же трудно, как для капли воды в реке, если бы она была наделена сознанием, было бы трудно совместить ощущение бесконечности своего движения (то есть отсутствия где бы то ни было впереди преграды, границы) с понятием русла, берегов. Априорные формы восприятия мира, заложенные в нашем сознании, – не стена для познания, но берега, в которых оно протекает.

Необходимость различать в предмете явление со всем многообразием его форм от вещи в себе, от бытийной сущности его – важнейший вывод трансцендентальной философии познания.

Глава 2. БУНТ НА КОРАБЛЕ

В течение многих веков знаменитый труд Аристотеля «Логика» был окружён всеобщим почтением, но редко у кого возникала нужда снимать его с книжной полки и перечитывать. Ведь логика, выделив и обозначив непреложные законы мышления, совершенно застыла на месте и даже не представляла практического интереса для серьезных умов, ибо этим законам они подчинялись и без нее как априори заложенным в них самих. Точно так же и трансцендентальной философии, казалось бы, было суждено остаться таким же холодным, застывшим каноном для всей познавательной деятельности, величественным, но никому не нужным.

Ибо что же давало ее отделение мира явлений от мира вещей в себе? Ровно ничего. (ПМ-22-23)

Естественные науки, царившие в мире явлений, прекрасно справлялись со своим делом и без «вещи в себе», любая же попытка проникнуть в нее объявлялась для познания невозможной – там оставалось место для «разумной веры» (то есть веры, оправданной теперь перед судом самого строгого разума). Таким образом, человеческой страсти к расширению знания, самому разуму ставился предел именно в том направлении, куда его во все века влекло с наиболее неудержимой силой, – в направлении метафизическом, в стремлении вырваться из тисков опыта, «из праха», подняться над «бренным миром». Мог ли он смириться с подобным запретом? Конечно, нет.

Небывалый подъем философской мысли в послекантовский период, бурление страстей вокруг самых, казалось бы, отвлеченных вопросов, отчаянная борьба различных школ поражает не только обилием разнообразнейших течений, но, главным образом, единодушием, с которым все они стремились вырваться из установленных «Критикой чистого разума» границ познания. Создать систему, являющую бы целостную картину мира, преодолеть всякую разграниченность, всяческий дуализм – такова была общая потребность. Но неповторимость и своеобразие приемов, которыми каждый из философов пытался решить эту задачу, заслуживают того, чтобы мы вспомнили здесь хотя бы наиболее прославленных из них – Фихте, Шеллинга и Гегеля.

Первый пытался достигнуть единства следующим образом. Принимая целиком картину деятельности разума, начертанную Кантом, он как бы идет дальше и требует *объяснения* этой деятельности из какого-нибудь единого принципа (в отличие от Канта, который, наоборот, брал ее как данность, как чистую не выводимую ни из каких начал форму, в коей лишь и можно искать оснований

всякого познания). Таким принципом Фихте объявляет некое бес-сознательное «Я», сущностью которого является бесконечное стремление, влечение к познанию, которое ничем не может быть ограничено. Но, с другой стороны, стремление, чтобы осуществляться, должно иметь материал для преодоления, и поэтому «Я» само из себя порождает представления «НЕ-Я», то есть в сущности все то, над чем мы так или иначе готовы ломать голову. Таким образом, весь материал чувственных ощущений, является, по Фихте, не продуктом воздействия вещей в себе на наши органы чувств, но лишь «беспричинными действиями самоограничения Я» путем установки на пути своего развития неких, подлежащих познанию представлений о «НЕ-Я». К чести Фихте следует сказать, что, несмотря на поразительную твердость и упрямство своего характера, он и сам ощущал в подобном пан-идеализме серьезные несоответствия, и, несмотря на успех, много раз переделывал свое «Наукословие» (уподобляясь слишком добросовестному рыбаку, который готов без конца вытаскивать сеть из воды для пустяковой починки и упускать таким образом верный улов – в данном случае, душ и умов).

Система абсолютного Тождества Шеллинга изображала мироздание в виде некоего Абсолюта, в котором дух и природа, идеальное и реальное, вещь в себе и явление, душа и материя составляют как бы единое гармоническое целое. Мыслить Абсолют предлагалось по аналогии с магнитом, который представляет собой ни северный, ни южный полюс в отдельности, но именно их совокупность. И так же, как в каждой точке магнитного поля обнаруживает себя действие и того, и другого полюса, так и в каждом явлении присутствует одновременно и идеальное, и материальное начало. Таким образом, мы можем различать явления по степени их приближения к тому или иному полюсу, по «потенциям», и если в неорганических телах явно преобладает материальность, бездуховность, то, например, в произведениях искусства мы, несмотря даже на их воплощение в каком-то материале, всегда ощущаем идеальное начало как главенствующее, то есть полагаем их близкими к другому полюсу Абсолюта. Однако сам Абсолют отнюдь не отождествлялся с полюсом идеальности, но представлял из себя находящуюся в вечном движении совокупность того и другого и только в единстве обоих начал (то есть во Вселенной) достигал своего полного воплощения.

Эстетика, теория искусства играли огромную роль в системе Тождества, часто в ущерб естественнонаучному знанию. По мнению историка философии Виндельбанда, это привело к тому, что «ближайшие последователи Шеллинга с каким-то упоением отдавались во власть натурфилософских умозрений, и их фантазия предавалась такой оргии в игре намеками, сравнениями, комбинациями, что в

конце концов натурфилософия превратилась в предмет презрения для точной науки, и самое имя ее стало бранным словом. Сильнее всего действовало учение Шеллинга на поэтически настроенные умы. Ведь и его собственное настроение природы было, скорее, величественно задуманной поэмой, нежели научной системой; это была поэма пленительной красоты, которой, как это обыкновенно случается с поэтическими вымыслами, недоставало только доказательств».¹ Но и Шеллинг, так же как и Фихте, не пытался закрывать глаза на противоречия в своей системе, до конца жизни работал над ней, переделывая все снова и снова, и так и не смог довести до состояния, в котором бы она удовлетворила его самого. (ПМ-24)

Совсем иначе обстояло дело с Гегелем, твердо отказывавшимся замечать какие бы то ни было пробелы и несоответствия в своих рассуждениях. В гигантских, джунгледобных переплетениях и лабиринтах его учения была отведена даже специальная клеточка, классифицирующая всякое неуспокоенное, терзающееся невыразимой разделенностью мира, сознание, которое он со снисходительной жалостью называл «несчастливым, раздвоенным в себе». Подобное сознание (как, например, кантовское) представлялось ему хотя и необходимой, но очень все же низкой ступенью развития разума, по сравнению с им, Гегелем, достигнутыми вершинами покоя и единства.

Действительно, безмятежность его духа, легкость в преодолении любых противоречий (а вернее, в закрывании на них глаз), пренебрежение самыми очевидными данными опыта, именуемое им «мужеством разума», вызывают невольную зависть. Иногда возникает впечатление, что вся невероятная начертанная им картина Мироздания как некоего саморазвивающегося Разума, как «в себе и для себя достоверного Духа», раздвояющегося и возвращающегося в себя, имела своей целью объяснить вовсе не гармонию мира, которую он никак не мог видеть вокруг себя в самый разгар наполеоновских войн, но именно его собственную безмятежную успокоенность, не нарушимую ни зрелищем вечных страданий человечества, ни вечными сомнениями ищущего ума. С каким-то поварским хладнокровием он кромсал эмпирические факты на прокрустовом ложе своей схемы триединства тезиса, антитезиса и примиряющего синтеза, в самом основании которой уже было заложено нелепое отождествление *логического* противоречия с *физическим* противодействием сил. Если же они все равно никоим образом не влезали в нужную ему клетку, то просто отбрасывались как несуществующие – все с той же завидной легкостью. Благодаря этой легкости, вся система, несмотря на кажущуюся свою стройность и строгость, в конечном виде представила из себя неслыханную крошку, где каждый мог найти себе что-то по вкусу:

Все существующее разумно и именно поэтому познаваемо! – какой восторг для рационалистов.

Бог есть первопричина саморазвития Духа! – рукоплещет церковь.

Развитие! – при одном этом слове тают сторонники эволюции.

«Государство есть божественная идея, как она существует на земле!» – и правительства милостиво открывают двери своих университетов.

«То, чего требует провидение, стоит выше обязанностей индивидуальной нравственности» – да за такое любой служитель провидения – Чингисхан, Тамерлан и им подобные – с удовольствием возьмет на службу.

«Всемирная история представляет собой ход развития принципа, содержание которого есть сознание свободы!»² – и вот я тоже чувствую себя поддетым на крючок, чувствую что готов присоединиться к одобрительным возгласам, забыв и простив все остальное.

Ибо его диалектика, отказавшаяся отделять явление от вещи в себе, тем и была хороша, что она свободно могла соединять несоединимые понятия, как витрина универсального магазина соединяет в кажущееся целое пеструю галантерею: каждый может взять задешево поправившуюся ему безделушку и быть счастливым, в то время как сплошная ткань дорогого ковра, с которой можно сравнить учение Канта, многим окажется не по карману. Ничем другим невозможно объяснить столь стремительный и полный успех гегелевской философии, успех, достигнутый ею вопреки (а может, и благодаря) чудовищному косноязычию автора, как в письменном, так и в устном ее изложении. «Именно в том и состоит опасная своеобразность Гегеля, что у него гениальное философствование фантазии и аналогии выступает в одеянии необходимости, присущей понятиям», писал Виндельбанд.³ Опасная своеобразность! – каким мягким должно казаться сейчас такое выражение нам, знающим уже, к каким последствиям привел этот произвол в мышлении, этот шабаш смешения понятий, какой чудовищный оскал приобрело потомство этого «василиска», обработанное Фейербахом и Марксом.

Так что если бы сам Кант мог взглянуть на кипение философских страстей начала девятнадцатого века, на бойцов, заполняющих по-прежнему «арену метафизики», то он вынужден был бы с грустью признать, что его надежды на быстрый успех любимой науки не оправдались и что, скорее наоборот, более пророческим оказалось его замечание о том, что «человеческий разум имеет естественную склонность переходить эту границу (опыта) и что трансцендентальные идеи (о душе, о мироздании, о Боге) для него так же врож-

денны, как категории для рассудка, однако с той разницей, что последние ведут к истине, то есть к соответствию наших понятий с объектом, а первые производят только видимость, но видимость непреодолимую, против которой вряд ли можно устоять, даже прибегая к самой острой критике». ⁴ И не исключено, что даже его пронизывающий взор не разглядел бы в этой сутолоке того единственного, никем в течение многих лет не признанного человека, чья гениальная натура оказалась способной не только впитать в себя все богатство и полноту его (кантовского) учения, но и сделать тот необходимый следующий шаг, который выводил трансцендентальную философию из рамок застывшего канона и превращал ее в собственно науку – с неисчерпаемыми возможностями и бесконечным путем развития впереди. (ПМ-24-26)

Глава 3. НОВЫЙ ЛОЦМАН МЕТАФИЗИКИ – АРТУР ШОПЕНГАУЭР

Кант, теоретически обосновав необходимость существования вещи в себе, пытался обнаружить также и практическое свидетельство ее наличия, которое было бы для нас абсолютно непосредственным и достоверным. Подобным свидетельством в явлении «человек» он считал нравственное сознание, наличие морального закона, обладавшего для него самого такой несомненностью, что он как бы отказывался замечать все злодеяния и преступления людей, совершенные без тени раскаяния, и допускать, что в ком-то подобного закона может не быть. Но даже если бы человечество поголовно сделалось добродетельным, то и тогда в определении вещи в себе как нравственного начала крылась бы серьезная неполнота. Ведь, кроме человека, в окружающем мире нашему взору представлено великое множество явлений, за которыми мы так же должны мыслить существование вещи в себе и при этом никоим образом не можем допустить в них нравственного самосознания – в животном, в дереве, в камне.

Именно в этом моменте рассуждения Шопенгауэр покидает русло кантовской философии и начинает развивать свою собственную. Да, вещь в себе может быть нам известна не только теоретически, но и практически. Да, только человек, только мы сами есть тот единственный просвет в мире явлений и предметов, через который мы можем соприкоснуться с ней. Да, принадлежа, как и все сущее, одновременно миру явлений и миру вещей в себе, мы можем обнаружить ее в самих себе в качестве некоего внутреннего чувства. Однако, это внутреннее чувство есть отнюдь не нравственный закон, не пресловутый «категорический императив», но только наша собственная воля, наше слепое и неудержимое «хочу», которая есть главная сущность наша, вещь в себе, и у которой разум и вся способность представления находятся в полном подчинении.

Иллюзия господства разума (а через него порой и нравственного закона) над страстями и порывами происходит оттого, что он со всеми своими познаниями есть орган, через который внешняя среда воздействует на Волю посредством *мотивов*. Мотив же для Воли играет ту же роль, что в мире физическом – причина, и действует с такой же безотказностью. Слабый разум может заблуждаться, может упускать из поля зрения самые важные мотивы, сильный в любых обстоятельствах будет предлагать их во всей возможной полноте и последовательности, но и тот, и другой будут выжидать решения Воли, то есть поступка, с одинаково смиренным терпением и

любопытством. И когда, вопреки всем доводам разума, человек совершает дикий, безнравственный или грозящий ему явной гибелью поступок, именно в такой момент главенствующая, первоосновная роль Воли, «хочу», скрытая до поры за ширмочками и занавесками сознания, являет себя во всей ужасающей полноте.

Это, кажущееся на первый взгляд незначительным, изменение понятия о вещи в себе, введенное Шопенгауэром, на самом деле раздвигает границы метафизики до невиданных ранее пределов. Теперь уже не только человека, но все многообразие явлений мы можем мыслить как объективацию для нашей познавательной способности чего-то единого по сути своей, а именно – Воли. Мы не можем отказать в наличии Воли, аналогичной нашей собственной, ни одному из животных организмов; так, вид растений, упорно тянущихся к свету и воде, цепляющихся за малейшие клочки почвы, также заставляет нас мыслить в них нечто подобное Воле, и во всем многообразии неорганического мира так называемые слепые силы природы являют нам на низших уровнях все ту же первооснову, вещь в себе – Волю. В соответствии с кантовским определением вещи в себе, она есть нечто, к чему неприменимы понятия времени и пространства, индивидуации и множественности, и лишь формы обнаружения ее для нашего сознания, формы объективации оказываются различными и многообразными, возникающими и исчезающими.

Воля может объективироваться на разных уровнях: наивысший – в человеке, ниже – животное, растение, еще ниже – мертвая природа. Но всюду она остается по сути своей одним и тем же, вещью в себе, бесосновой и не выводимой ниоткуда сущностью мира. Она всегда остается неуничтожимой – изменению или уничтожению могут подвергнуться лишь формы ее объективации – человек, кошка, молекула. Так же и закон причинности дает нам лишь возможность отыскивать закономерности ее изменений в мире явлений, но бессилен что-либо сказать относительно ее самой. «Сила природы, – пишет Шопенгауэр, – это сама Воля на определенной ступени своей объективации, лишь явлениям в пространстве и времени присуща множественность... причинный закон – это лишь определение места во времени и пространстве для отдельных явлений».¹ Причинность на разных уровнях действует по разному: для человека и животного – в качестве мотива и инстинкта, для растения – в виде раздражения светом, теплом, для камня – в качестве физической причины, но всегда всецело по отношению к объектам чувственного мира. (ПМ-29)

В принципе, подобный взгляд на мир не являлся таким уж новым. Он давно господствовал в индийской философии, учившей отличать Брахму (вещь в себе) от пелены Майи (мира явлений), а также в философии Платона, утверждавшей, что в каждом предмете нам является некая его первооснова, именуемая там, правда, не Волей, а

Идеей. Но лишь утвержденный Шопенгауэром на фундаменте кантовской теории познания этот взгляд смог получить права абсолютной достоверности и истинности. Само собой разумеется, что формой доказательства для этого взгляда не могло служить обычное для естественных или математических наук выведение по закону основания целого из начальных положений. Ведь здесь целым был Мир, и поэтому степень истинности новой философии (как, впрочем, и всякой другой) могла определяться лишь тем внутренним единством, которое обретал мир, объясненный из предложенного ею основания – Воли.

«Вся совокупность опыта, – писал Шопенгауэр, – походит на зашифрованное письмо; философия же – это его дешифрование, правильность которого подтверждается тем, что оно сообщает письму смысл и связь... Дешифрование мира должно всецело в самом себе находить поруку своей правильности. Оно должно проливать равномерный свет на все явления мира и приводить даже самые разнородные из них к гармонии...». ² А так как при подобном принципе доказательность оказывается тем более полной, чем больше число явлений, этих зашифрованных писем, вовлекается в рассмотрение и обретает, вместо прежней загадочности и оторванности от всего остального, единство и смысл, то нет иного способа проникнуться этим новым и непривычным взглядом, как прочесть главный труд философа целиком. Но великой удачей для человеческого знания является тот факт, что столь важное открытие было сделано человеком замечательной литературной одаренности. Блестящее владение словом, тонкое знание психологии, вкус к поэзии, живописи и музыке и, одновременно, трезвость ученого позволяют ему начертывать картину мира как бы на всех уровнях, с одинаковой свободой и полнотой показывая зрелище явления Воли как в грубейших стихиях, так и в высочайших порождениях человеческого духа. Как бы ни были близки некоторые из его идей идеям Фихте (бессознательное Я – Воля?), Шеллинга и других, ни один из этих философов не может сравниться с ним в строжайшем соблюдении всех законов опыта, науки, в бережной сохранности всего современного ему эмпирического знания, с которым его метафизика соединяется, как гипсовый слепок с моделью, нигде не требуя ломки и отбрасывания мешающих выступов, как этого требовали все остальные.

Так, в эстетике Шопенгауэр первый дал удовлетворительное объяснение феномена музыки – музыки, которая так много говорит каждому сердцу и оказывается совершенно непере译имой на язык слов и понятий именно потому, что она являет нам картину мировой Воли самым непосредственным образом, с ее вечными переходами от высших уровней к низшим и обратно. «Невыразимо-задушевное

всякой музыки, то, благодаря чему она пронесится перед нами как родной и все же вечно далекий рай, столь понятная и все же столь необъяснимая – это основано на том, что она воссоздает все сокровенные движения нашего существа, но вне всякой реальности и далеко от ее страданий. И присущая ей серьезность, которая совершенно выключает из ее непосредственной области все смешное, тоже объясняется тем, что ее объект не представление, по отношению к которому только и возможно ошибочное и забавное: нет, ее объект непосредственно Воля, а Воля по существу есть самое серьезное, то, от чего все зависит».³ Сходно с этим и его понимание архитектуры как искусства, стремящегося «довести до полной наглядности иные из тех идей, которые представляют собой самые низкие ступени объективности Воли, а именно – тяжесть, сцепление, косность, твердость, эти общие свойства камня, эти первые, самые простые, самые глухие видимости Воли, генерал-басы природы...».⁴ (ПМ-30)

Общеизвестная невозможность выразить содержание любого истинного произведения искусства помимо его собственного образного строя, на языке понятий, также находит здесь свое единственное объяснение. Любая картина, поэма, роман как бы раздвигают перед нашим взором «пелену Майи» и являют нам зрелище мировой Воли в том очищенном от случайных покровов виде, в каком его способна уловить лишь интуиция гения. В то время как большинство людей целиком сосредоточено на переменчивом мире явлений, художник всегда стремится проникнуть за их оболочку, в мир вечных платоновых идей, в мир вещи в себе. Вещь же в себе не может быть дана нашему сознанию путем понятий, намертво связанных с предметами и явлениями, – она может быть лишь объектом чистого созерцания и в произведении искусства становится доступнее ему, чем в действительности. И когда Шопенгауэр говорит, что «мир можно назвать как воплощенной музыкой, так и воплощенной Волей», это не просто поэтический образ, но свидетельство глубочайшей пронизанности в сознании философа всей картины мира главной идеей.

Его этика, далекая (во всяком случае, в начале его творческого пути) от претензий на декларирование, на изобретение Закона, «хорошего и плохого», целиком посвящена изучению реальной этической жизни человечества и вся основана на представлении о Воле индивидуума как главной и неразрушимой его сущности. И все же, несмотря на отказ от морализирования, есть глубокая правда в его утверждении, что «моя философия – единственная, которая воздает морали все должное: ибо только в том случае, если признать, что

сущностью человека служит его собственная воля и что он, следовательно, в строжайшем смысле слова, является своим собственным произведением, – только в этом случае его поступки и могут быть ему вменяемы. Если же он имеет другой источник или является произведением какого-то отличного от него существа, то всякая вина его падает на этот источник или на этого зачинателя».⁵

Убеждение Шопенгауэра в том, что Волю человека изменить невозможно, вовсе не делает его этику фаталистической. Ведь в человеческих отношениях для нас не столько важна Воля как вещь в себе, сколько ее явление в поступке – а здесь она вполне оказывается подверженной воздействию мотивов, среди которых нравственные представления, привитые воспитанием, внушаемые убеждением, продолжают сохранять всю свою действенность. Так что в практической этике гораздо скорее можно достигнуть результата, если не задаваться «улучшением характера, сердца человека, но стараться просветить ему *голову* и показать, что цели, к которым он, в силу своего характера, неукоснительно стремится, достигаются гораздо легче, с меньшими усилиями и опасностями путем честности, труда и умеренности, чем теми нечестными путями, которыми он шел до сих пор».⁶

Если сопоставить шопенгауэровскую натурфилософию с развитием в наши дни науки, поражает следующий факт. Все отрасли современной физики вслед за механикой Ньютона доходят до некоего последнего основания, которое всегда оказывается ничем иным как *силой*, то есть по сути своей – все той же Волей. Электрические и магнитные силовые поля, силы сцепления атомного ядра и прочее играют в физике роль такого же изначального феномена, как силы тяготения у Ньютона или Воля – у Шопенгауэра. И столь же примечательно, что величайший физик нашего времени Эйнштейн, оставаясь целиком на почве науки и опыта, то есть внутри скорлупы, образуемой миром явлений, устремлял свою мысль именно в тех направлениях, где скорее всего могло произойти соединение его физических изысканий с метафизикой Канта и Шопенгауэра. Так, его теория относительности вслед за Кантом, но на других основаниях, разрушает представление о пространстве и времени как объективных формах существования материи; и точно так же вся вторая половина его жизни была потрачена на попытки создать единую теорию силового поля – обнаружить предугадываемое им единство в природе различных сил, то единство, которое у Шопенгауэра выступает в виде учения о единой мировой Воле.

Из этого сопоставления отнюдь не следует, что Эйнштейн бился над решенным вопросом. Ибо философия так же не может вы-

полнить за науку ее задачи, как насадка – расколоть за вылупляющегося цыпленка скорлупу его яйца (никогда не будет знать момента наступления необходимой зрелости). Но такое совпадение лучших умов человечества в своих устремлениях вселяет необъяснимо отрадное чувство уверенности в том, что единое и поступательное движение человеческого знания безусловно существует; а без такой уверенности – хватило бы у кого-нибудь сил вырваться из тисков господствующих предрассудков и заблуждений?

В дореволюционной России цензурные комитеты долго не разрешали публикацию трудов Канта и Шопенгауэра и даже открытое обсуждение их содержания. Но идеи просачивались самыми неожиданными путями. Лев Толстой был так увлечён ими, что собирался вместе со своим другом Фетом перевести «Мир как воля и представление» на русский. Но потом нашёл другой способ обхода цензурных рогок: включил подробное изложение главных мыслей немецкого философа в роман «Война и мир» в виде «Второго эпилога». По сути, этот заключительный текст является первым серьёзным вторжением Толстого в мир философии. «Живущим, – пишет Толстой, – человек знает себя не иначе как хотящим, то есть сознает свою волю. Волю же свою, составляющую сущность его жизни, человек сознает и не может сознавать иначе, как свободною... То, что не было бы свободно, не могло быть и ограничено. Воля человека представляется ему ограниченной именно потому, что он сознает ее не иначе как свободною».⁷ В другом месте это же свое убеждение он выражает еще короче и нагляднее: «Вы говорите, что я не свободен? А я взял и поднял руку». «Когда мы совершенно не понимаем причины поступка, все равно – в случае ли злодейства, доброго дела или даже безразличного по добру и злу поступка, мы в таком поступке признаем наибольшую долю свободы. В случае злодейства мы более всего требуем за такой поступок наказания; в случае доброго дела, более всего ценим такой поступок. В безразличном случае признаем наибольшую индивидуальность, оригинальность, свободу».⁸

В битве антиномий Толстой решительно выбирал сторону тезиса.

Сознание свободы было для Толстого такой же вещью в себе, как для Канта – нравственное самосознание, практический разум, а для Шопенгауэра – воля. И в связи с этим, его понимание антиномических противоречий приобретает совершенно особую, проникнутую глубоким внутренним чувством окраску:

«Разум говорит:

1. Пространство со всеми формами, которые дает ему видимость его – материя, – бесконечно и не может быть мыслимо иначе.
2. Время есть бесконечное движение без одного момента покоя, и оно не может быть мыслимо иначе.
3. Связь причин и последствий не имеет начала и не может иметь конца.

(Четвертая антиномия опущена, скорее всего, по цензурным соображениям – И. Е.)

Сознание говорит:

1. Я один, и все, что существует, есть только я; следовательно, я включаю пространство.
2. Я меряю бегущее время неподвижным моментом настоящего, в котором одном я сознаю себя живущим; следовательно, я вне времени.
3. Я вне причины, ибо я чувствую себя причиной всякого проявления жизни.

Разум выражает законы необходимости. Сознание выражает сущность свободы.

...Только при разъединении двух источников познания, относящихся друг к другу, как форма к содержанию, получают отдельно, взаимно исключаящие и непостижимые понятия о свободе и необходимости.

Только при соединении их получается ясное представление о жизни человека».⁹

Отнюдь не отрицая успехов естественных наук, Толстой не жалел сарказмов по поводу самоуверенности сторонников антитезиса.

«Только в наше самоуверенное время популяризации знаний благодаря сильнейшему орудию невежества – распространению книгопечатания вопрос о свободе воли сведен на такую почву, на которой и не может быть самого вопроса. В наше время большинство так называемых передовых людей, то есть толпа невежд, приняла работы естествоиспытателей, занимающихся одною стороною вопроса, за разрешение всего вопроса... Естествоиспытатели и их поклонники, думающие разрешить вопрос этот, подобны штукатурам, которых бы приставили заштукатурить одну сторону церкви и которые, пользуясь отсутствием главного распорядителя работ, в порыве усердия, замазывали бы своею штукатуркой и окна, и образа, и леса, и неутвержденные еще стены и радовались бы на то, как с их штукатурной точки зрения все выходит ровно и гладко».¹⁰
(ПМ-41)

В конце «Второго эпилога» Толстой обсуждает маршруты, лежащие перед кораблём метафизики, и чётко определяет вопросы, требующие разрешения.

«...Непоколебимое, неопровержимое, не подлежащее опыту и рассуждению, сознание свободы, признаваемое всеми мыслителями и ощущаемое всеми людьми без исключения, сознание, без которого немислимо никакое представление о человеке, и составляет другую сторону вопроса.

Человек есть творение всемогущего, всеблагого и всеведущего Бога. Что же такое есть грех, понятие о котором вытекает из сознания свободы человека? Вот вопрос богословия...

Поступки человека вытекают из его прирожденного характера и мотивов, действующих на него. Что такое есть совесть и сознание добра и зла поступков, вытекающее из сознания свободы? Вот вопрос этики.

Человек, в связи с общей жизнью человечества, представляется подчиненным законам, определяющим эту жизнь. Но тот же человек, независимо от этой связи, представляется свободным. Как должна быть рассматриваема прошедшая (а значит и будущая – *И. Е.*) жизнь народов и человечества – как произведение свободной или несвободной деятельности людей? Вот вопрос истории». ¹¹
(ПМ- 42)

Глава 4. ВОЛЯ «Я» И ВОЛЯ «МЫ»

Моему поколению довелось входить в жизнь, когда массовый террор в России после смерти Сталина (1953) начал идти на убыль. Зато идеологический зажим только крепчал. Философия марксизма-ленинизма была объявлена последней и неопровержимой истиной, всё многообразие жизни людей и мировой истории должно было быть втиснуто в её прокрустово ложе и обрублено соответственно. Строжайшей проверке подвергались научные труды, газетные статьи, романы и фильмы, школьные учебники, театральные постановки, живописные полотна. Всё «идейно неприемлемое» кромсалось цензурными ножницами, запрещалось, не достигало читателя и зрителя.

Не нужно думать, что прочность коммунистической пропаганды держалась только на страхе, насаждаемом сверху. Марксизм, как и гегельянство, из которого он вырос, надёжно избавлял человека от ужаса перед Неведомым. Построить из него душевную избушку не требовало больших усилий и знаний. Подвергать сомнению простые однозначные ответы на вопросы бытия – это удел дальновидного меньшинства, которое всегда пытается докопаться до фундамента любой теории. Такие были успешно вычищены сталинским террором, но в молодом поколении они неизбежно появились вновь. Они не чувствовали себя готовыми строить душевное пристанище из фанеры чистого материализма, которая не защищала ни от холода, ни от зноя, они начали искать другие «материалы» и тайком, с опаской делиться друг с другом своими находками.

Идеологическая борьба включала в себя и «разоблачение буржуазных идеалистических теорий», всплывавших на «загнивающем капиталистическом Западе». Для пущей убедительности эти разоблачения иногда сопровождалась цитатами из книг мыслителей, «не сумевших подняться до высот марксизма». Но это цитирование часто срабатывало как бумеранг. Мысли, спрятанные в нём, привлекали пытливым ум, как могут привлечь взор старателя песчинки золота, поблёскивающие в речной грязи. Именно из таких разоблачений до россиян долетали имена идеалистов вроде Канта и Шопенгауэра и обрывки их идей. И после этого начиналась охота за переводами их книг, выходявших до революции. Метафизика постепенно возвращалась в сознание советских граждан.

Может возникнуть вопрос: почему нужно было использовать её для перестройки душевного убежища, а не взять и просто вселиваться в чертоги, выстроенные великими философами прошлого? Сам Шопенгауэр был вполне удовлетворён своей постройкой и писал, что дальше идти некуда, что его метафизика есть полная и за-

конченная наука, единственная и последняя задача которой – вывести человечество на путь спасения, на путь отказа от воли, к Нирване. «Есть такая граница, до которой человеческое размышление может все же проникнуть и в *этих пределах* рассеять ночь нашего бытия, хотя горизонт навсегда и останется тёмным. Этой границы достигает моё учение в своём принципе воли к жизни – воли, которая в своём собственном проявлении либо утверждает, либо отвергает себя. Мечтать о том, чтобы перешагнуть ещё и эту границу, – это, по-моему, всё равно, что желать подняться над атмосферой». ¹ (ПМ-38)

Какая злая насмешка судьбы! – подсунуть здесь философу именно то сравнение, которое через каких-то сто лет приобрело совершенно обратный смысл.

Ибо за прошедшее столетие мир изменился неузнаваемо. 20-й век обрушил на нас такие вопросы, которые перед мыслителями прошлого даже не стояли. Или настолько усложнил данные для решения старых вопросов, что возникла необходимость в новых ответах. Естествознание буквально взорвало изнутри все старые ответы на вопрос «что есть мир?». История и литература зачеркнули добрую половину ответов на вопрос «что есть я?» – то есть человек. Вслед за этим зашатались и все прежние представления о правде, красоте, справедливости и вере.

В метафизике с особой остротой снова стал вопрос, сформулированный Кантом в Третьей антиномии: о свободе воли. С одной стороны, сторонники антитезиса утверждали, что это миф и иллюзия, что всё на свете, включая поступки людей, обусловлено теми или иными причинами. С другой стороны, в повседневной жизни, любой человек, обсуждая поведение современников или предков, ближних и дальних, живых политиков или фигур исторических, предпосылал этому вопрос: «Да по своей ли воле он это делал?». Так же и любой суд при разборе преступлений смягчал свой приговор, если обнаруживалось, что подозреваемый действовал по чьему-то приказу или под давлением угроз, то есть *не был свободен*. Сомнение в свободе воли было оставлено теоретикам – обычные люди демонстрировали свою уверенность в том, что изначально человеческая воля обладает свободой.

Лев Толстой, проведший годы молодости на войне, изумлялся тому, как исчезают критерии добра и зла при свисте пуль и картечи. «Двенадцатого июня, – читаем мы в «Войне и мире», – силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга

такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберёт летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления.»²

После Первой мировой войны уже мало кто мог не разделять изумление Толстого. Безумие мира требовало объяснения – и предложенное Карлом Марксом казалось самым убедительным: «Человек на войне остаётся невиновным, потому что он не свободен в своих действиях, а подчиняется безжалостной власти класса эксплуататоров. Если разрушить существующий порядок буржуазного государства, войны сами собой прекратятся».

Заманчивость этого пророчества была неодолима для жителей Европы и Америки. У всех в памяти остались заваленные трупами поля, облака ядовитых газов над окопами, пассажирские корабли, идущие на дно, миллионы безруких, безногих, ослепших, заполнявшие улицы городов. Это не может, не должно повториться! – таков был всеобщий клич. Война казалась такой очевидной нелепостью, что во всех странах люди спешили присоединиться к тем партиям, которые призывали покончить с ней: социалистам, анархистам, эсерам, большевикам. А потом грянула Вторая мировая и десятикратно превзошла ужасы Первой.

Метафизика казалась людям столь далёкой от всего этого, что никто и не пытался искать в ней ответов и помощи. Хотя физика и химия к началу 20-го века уже продемонстрировали, что расширить наше знание о природных явлениях удастся лишь в том случае, если ты вглядываешься в мельчайшие частицы, из которых состоит вещество, опускаешься на уровень молекул. А что если попробовать снова взглянуть в молекулу исторических событий – отдельного человека?

Попытки мыслить государственно-племенные сообщества людей как некие самостоятельные существа встречаются довольно часто в философских системах последних четырех веков. Первым на этот путь открыто стал Гоббс, назвавший существо-государство Левиафаном; Гегель со свойственной ему последовательностью доводит идею до крайности; скрупулезно и дотошно сплетает аналогии между государственными учреждениями и органами животных Спенсер; Шпенглер также не без изящества рисует истории культур и смерти организма. Однако и здесь ближе всех прочих к метафизике остаётся та форма, в какую эта идея вылилась у Льва Толстого. Вспомним хотя бы сцену из «Войны и мира» – французы, уходя из Москвы, уводят с собою пленных:

«– Капрал, что сделают с больным?.. – начал Пьер.

Но в ту минуту, как он говорил это, он усомнился, тот ли это знакомый его капрал или другой неизвестный человек: так не похож был на себя капрал в эту минуту. Кроме того, в ту минуту, как Пьер говорил это, с двух сторон вдруг послышался треск барабанов...

“Вот оно!.. Опять оно!” – сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно. Это знал теперь Пьер. Надо было ждать и терпеть. Пьер не подошел больше к больному и не оглянулся на него...».³

Идеологи анархизма – Прудон, Кропоткин, Бакунин – объявляли эту «таинственную, безучастную силу» результатом трагической ошибки в развитии цивилизации, призывали к полной отмене института государства. Но метафизика, постулирующая единства мира, не может выбросить из картины явление, которое существует уже тысячелетия. Сам Шопенгауэр, сортируя объективации Воли, разбивал их на четыре группы: неживая природа, растение, животное, человек. О последнем он говорил, что все человеческое тело со всеми его движениями есть явление его воли. Можно ли с этим согласиться?

Во-первых, человеческое тело есть материальная субстанция, и, как таковая, оно подчиняется всем законам, управляющим неживой материей. Оно обладает массой, и для придания ему ускорения необходима такая же сила, как если бы это был обыкновенный чурбан того же веса. Оно проводит электрический ток и является электрической емкостью; проводит и выделяет тепло. Оно обладает сплошностью, нарушить которую можно лишь посредством затраты энергии. Наконец, оно состоит из атомов элементов, которые как бы сложно ни соединялись в органических тканях тела, всегда остаются в основе своей теми же С, Н, Са, О и так далее к вящему торжеству всех материалистов. Так что отрицать здесь явление воли на уровне неживой природы практически невозможно.

Во-вторых, оно являет нам процессы роста, обмена веществ, поглощения кислорода и выделения углекислоты, то есть все то, что свойственно явлениям воли на уровне растений. Нечего и говорить, что воля, сознаваемая нами как наше Я, не принимает никакого участия в этих процессах; она лишь наблюдает с досадой или удовлетворением, как увеличиваются размеры покупаемых рубашек и ботинок, поистине никогда не будучи в силах «прибавить росту себе

хотя на один локоть» (Матф. 6:27). Волосы и ногти продолжают расти даже после нашей смерти.

В-третьих, всякий должен согласиться, что, за исключением разума, наше тело во всем остальном – совершеннейшее животное. Однако животный уровень объективации воли настолько близок нам, что мы часто можем принять основные его потребности – голод, страх боли, вожделение – за порывы воли собственного Я. Лишь полное насыщение этих потребностей, приводящее к томительной скуке, к смутному желанию чего-то еще, или зрелище чьего-то добровольного аскетизма и самоистязания могут навести нас на мысль, что собственно наше Я есть нечто настолько отличное от воли животного в нас, от плоти, что между ними возможен даже полный разрыв и война не на жизнь, а на смерть.

Таким образом, мы видим, что воля нашего Я имеет своим основанием целую пирамиду воль низшего уровня, наподобие циркового эквилибриста, балансирующего на сложной башне из подвижных цилиндров и шаров, каждый из которых обладает (с точки зрения механики) большей степенью свободы, нежели низлежащий. Но как бы ни была велика свобода каждого уровня, она все же небеспредельна, и нарушение границы свободы на любом из них всегда чревато для нас потерей равновесия и падением – смертью.

Человеком эта шаткая пирамида не кончается. Если усложнить наше сравнение и представить себе тысячу эквилибристов, удерживающих над головой легкую, но прочную платформу, то мы получим вполне наглядную, хотя и весьма огрубленную схему возникновения Мы; такая площадка хотя и свяжет в некоторой мере свободу всех участников, но зато и даст каждому отдельному возможности, без нее немислимые: удержаться в случае потери равновесия, передохнуть или даже взобраться наверх и махнуть рукой на трудное дело балансирования, то есть борьбы за жизнь. Оставляя же язык наглядности, нужно сказать, что Мы, наблюдаемое как явление в виде государства, племени, рода, как воля должно мыслиться аналогично воле многоклеточного организма, неизмеримо, превосходящей волю отдельной клетки по признаку свободы. Но так как у Мы нет иной возможности объективироваться для нас, кроме как в поступках отдельных людей, справедливым оказывается утверждение: *в явлении человек, наряду с неживой, растительной, животной и собственно волей Я, объективируется также и воля Мы.*

Любой животный организм может существовать, если в нём исправно работают четыре функции. Мышцы, хрящи и кости осуществляют перемещение в пространстве. Кровеносная система, лёгкие, железы внутренней секреции осуществляют обмен веществ. Органы

чувств поставляют информацию об окружающей среде, предупреждают об опасностях. Нервная система передаёт команды волевого начала различным частям тела. И точно такие же четыре функции мы обнаруживаем в жизнедеятельности любого Мы: труд, распределение продуктов труда (распорядительная функция), сбор, хранение и сортировка информации (миропостижение), принятие решений и отдача приказов (верховная власть, Воля Мы).

Может возникнуть впечатление, что воля Мы кажется человеку выше его собственной лишь потому, что общество может заставить его делать тысячу вещей, которые ему делать бы не хотелось, а за любое неповиновение может заточить его в тюрьму, лишить прав и имущества, казнить, наконец. Но нет, воля Мы представляется ему неизмеримо более свободной прежде всего потому, что его собственная свобода, его власть над силами природы, все изумительные я-могу, доставляемые цивилизацией, неразрывно и ежесекундно связаны именно с Мы. Общество, подавляя частично его свободу, дарует взамен этого так много, что всякий человек, кажется, готов скорее терпеть любой гнет и принуждение, и уж тем более готов послушно убивать и мучить других, нежели решится порвать с ним, ибо это значило бы для него вернуться к полуживотному существованию.

Избавиться от несвободы, накладываемой законом, властью и подпасть под стократ горшую несвободу голода, мрака, беспомощности, страха, холода, одиночества? Расстаться с чудесами, дарующими твоей воле свободу лететь по воздуху и плыть под водой, слышать и видеть за тысячи километров, знакомиться с мыслями всех мудрецов земли, добывать воду, свет и тепло прямо из стен своего жилища, все увереннее защищать свое тело от страданий и болезней, завоевывать все новые пространства на земле и в мироздании? Отказаться от этого?

Нет, ни за что.

Думать, будто общество в принципе своем удерживается только властью, принуждением, страхом – глубочайшая иллюзия. Даже в самых деспотических государствах человек в глубине существа своего делает незаметный выбор между двумя неволями и, как правило, выбирает меньшую; сумма свободных выборов тех, кто больше боится свирепости ближнего своего и дикого мира вокруг, нежели свирепости правителей, и обеспечивает в конечном итоге воле Мы ее грозное могущество, служит невидимым фундаментом всякой власти.

Да, воля Мы выглядит наивысшей – но по какому признаку? Неужели по признаку свободы?

Конечно, связывать понятие свободы с государством, которое во все века для каждой свободолюбивой души представляется источником самого тяжкого угнетения и, как таковое, вызывает невольное отвращение, – нелегко. Но ведь и человеческое тело с его грязью, жиром, морщинами, неповоротливостью, болезнями и вонью может вызывать у нас отвращение, и все же мы не устаем отстаивать идею чистоты и свободы его духа, его воли. Точно так же и по отношению к воле Мы: безобразное мы видим лишь в конкретных формах ее объективации, в явлении тюрем, судов, чиновников, политических демагогов, однако это не должно мешать нам говорить о самой воле Мы как наивысшей на земле по уровню свободы.

Воля «Я» и её порывы играют огромную роль в существовании Мы. Если мы соглашаемся с Толстым и признаём, что «живущим человек сознаёт себя не иначе как хотящим», не даёт ли это нам права обратиться к воле «Я», к этой загадочной вещи в себе, с сакральным вопросом:

ЧЕГО ЖЕ ТЫ ХОЧЕШЬ?

Глава 5. ТОМЛЕНИЕ ДУХА И РАДОСТЬ ИГРЫ

Человек хочет трудиться.

Человек хочет бездельничать.

Человек хочет жить в мире с ближним своим.

Человек хочет подавлять его и возноситься над ним.

Человек жаждет богатства и успеха.

Человек раздаёт богатство и бежит от славы в одиночество.

Человек хочет помогать страждущему.

Человек хочет сдирать скальпы с живых.

Человек хочет творить и создавать прекрасное.

Человек хочет разрушать и сжигать созданное другими.

«Чего хочет воля?»

Но не бессмыслица ли ставить такой вопрос после всего, что было сказано о вещи в себе, о недоступности ее для познания разумом? При подчиненном положении разума по отношению к воле, установленном нами, обсуждение им ее стремлений не будет ли представляться такой же нелепостью, как если бы упряжка лошадей, отведенная в стойло на отдых, вздумала вдруг спорить о том, каковы были цели хозяина, гонявшего их весь день то туда, то обратно, не считаясь ни с ветром, ни с холодом, ни с дождем, без всякой видимой и доступной лошадиному пониманию пользы?

Не в силах уразуметь себе этих целей, мы говорим вслед за Шопенгауэром – воля слепа. И действительно, трудно не согласиться с ним тому, кому хоть раз довелось бросить взгляд на бескрайний, вечно бурлящий океан человеческих страстей и желаний. Чего же хотят миллиарды этих напряженно стремящихся воль – этого? того ли? Нет такой вещи на свете, которая, будучи предметом страстного вожделения для одного, не могла бы для другого оказаться презренной и недостойной. Да что там – для другого! Одна и та же воля, один и тот же человек предстает перед нами то жаждущим богатства и славы, то отвергающим их, то стремящимся к любимой женщине, то бегущим ее, то убивающим, то спасающим, то восхваляющим себя, то поносящим, то рвущимся в бой, то молящим о покое. (ПМ-43)

И так было всегда. Вот мы погружаемся в глубину веков и слышим оттуда голос мудреца Экклезиаста, вещающий о том же. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все – суета и томление духа... Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя весельем и наслаждись богатством; но и это суета!.. Я предпринял большие дела: построил себе дома, посадил виноградники; устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья; собрал себе серебра и золота; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия... Чего бы глаза мои ни пожелали, я не

отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья... И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои... и вот все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем! И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость... и сказал я в сердце моем: и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета» (Эккл. 1.14, 2.1, 4,10–15).

Поистине – все суета! Но именно здесь, у Экклезиаста, находим мы точнейшее слово, точнейшее имя тому, что единственное среди всей суеты, среди нескончаемого потока желаний, иллюзий и устремлений остается в человеке вечно неизменным и неуничтожимым, жаждущим насыщения и ненасытным – *томление духа*. Наша воля в мире явлений устремляется то на одно, то на другое, то вообще неизвестно куда, объекты ее желаний сменяются с непостижимой быстротой – неизменным остается лишь само томление. Достигнув желанного, мы будто бы перестаем слышать его голос – но как ненадолго! Оно вырастает в нас снова с такой же неумолимостью, как физический голод, однако разница, и огромная, состоит в том, что тот мы можем утолять изо дня в день одной и той же пищей, этот же будет требовать каждый раз нового, и то, что насыщало его вчера, сегодня будет казаться абсолютно негодным. Добившись вожделенных почестей, богатства, власти, женщины, человек в скором времени слышит в своей душе все тот же роковой вопрос – «а дальше что?» – и в панике кидается добиваться новых почестей, еще большего богатства, еще более полной власти, других женщин – чего угодно, лишь бы отогнать ужасный образ пустоты и скуки, которые для воли все равно что вечная жизнь впроголодь без всякой надежды на насыщение. (ПМ-44)

Чего хочет воля? О чем томится дух? Мы можем долго вопрошать об этом вещь в себе – надменное молчание будет нам единственным ответом. Ибо слова, которые мы могли бы услышать и понять, неизбежно вернули бы нас в мир явлений, к пелене Майи, они бы в который раз подарили нам, в лучшем случае, иллюзию знания о вещи в себе – иллюзию, тешиться которой после Канта уже невозможно. И подавленные этим молчанием, мы снова обращаемся к единственному оставленному нам просвету, к собственной воле, чью боль и радость мы знаем так доподлинно, и, поверяя ими многообразие явлений, пытаемся спросить иначе: «что же среди явлений оказывается годным к утолению желаний воли?»

Казалось бы, спросив даже в такой смиренной форме, мы снова оказались бы перед лицом неисчислимого множества ответов. Пробуя их один за другим, мы уподобились бы тем крестьянам, которые, обсуждая методы борьбы с пожаром, говорят, что довольно-таки сподручно тушить водой или песком, или растаскивать горящие

бревна и валять их по земле, или, если загорелась одежда, быстро вернуть человека в тулуп. Заявление же ученого, что главное – прекратить доступ кислорода, будет, с их точки зрения, лишено всякого практического смысла («что еще за кислород такой?»). Однако нас здесь интересуют именно такого рода обобщения, и, коль скоро мы занимаемся наукой, то попробуем взглянуть на все дела, способные хоть на время успокаивать томление духа, – не обнаружится ли в них какого-нибудь общего свойства, какого-нибудь момента, столь же скрытого от поверхностного взгляда, но и столь же важного, как прекращение доступа кислорода во всех способах тушения огня.

Естествоиспытатель, задавшись подобной целью, немедленно приступил бы к эксперименту, зажег бы в лаборатории спиртовку и, подавая к огню один за другим газы, входящие в состав воздуха, быстро нашел бы тот, который обеспечивает горение. Мы же, не имея ни морального права, ни практической возможности экспериментировать над человеком, должны будем здесь и далее довольствоваться лишь теми «экспериментами», которые он сам проделывает на наших глазах с самим собой. И так как воля не станет отвечать нам, какой же фермент в великом множестве объектов ее вожделений является для нее самым манящим, то попробуем подглядеть за ней и выяснить: не встречаются ли в жизни ситуации, когда воля человека заставляет его тело и разум совершать самые энергичные действия, напряженно трудиться и устремляться в пустоту или на объект, ничтожность которого совершенно очевидна, но тем не менее достижение которого дает всякой душе неизъяснимую отраду и удовольствие?

Если бы нечто подобное обнаружилось, если бы воля была застигнута за страстным, самозабвенным стремлением к тому, что, по понятиям разума, есть совершенная ничтожность, пустяк, мы бы имели полное право отнести к такому чистому влечению как к желанному эксперименту, выдающему истинные цели и устремления воли. То есть, коль скоро нам не по силам определить, ради которой из красавиц этот таинственный незнакомец постоянно является на бал жизни, ибо он, кажется, готов танцевать со всеми, попробуем подглядеть, не лазит ли он к кому-то в окно, или, по крайней мере, узнать, что он делает, оставшись один. И здесь, с чувством естественной для изыскателя радостной надежды, мы должны признать, что такое явление – устремление воли в явную пустоту – не только существует, но известно и пережито почти каждым человеком всех времен и народов. Называется этот странный утолительный феномен – *игра*. (ПМ-45-46)

Тот, кто привык считать игру уделом одних лишь детей, может с доверием и любопытством отнести к конкретным опытам психологов в детских садах и школах, но наверняка возмутится против попытки такого обобщения: потребность игры как общечеловеческое

свойство. Сто лет назад такое возмущение было бы еще понятно, но теперь... Теперь, чтобы отрицать это, пришлось бы закрыть глаза на целые отрасли промышленности, обслуживающие игры взрослых, на тысячи мужчин, гоняющих в поте лица невзрачный мяч по зеленому полю, на тысячи других, с еще большим остервенением носящихся по льду за еще более невзрачной шайбой, на миллионы зрителей, жадно следящих за каждым движением игроков и приветствующих удачный удар дружным восторгом. Пришлось бы не видеть на верандах и пляжах, в поездах и беседках мелькания карточных колод, не слышать стука бильярдных шаров и кеглей, ударов городошных бит и клюшек для гольфа, пришлось бы отвернуться от миллионов наморщенных лбов, склоненных над шахматами и нардами, маджонгом и домино. А треск выстрелов над озерами и лесами и одна окровавленная пичужка как результат всей пальбы? А зимние и летние армии рыболовов, увешанные снаряжением, стоящим дороже всех возможных уловов? А те, кто гоняется наперегонки на всем, что может ехать, плыть, летать, не жалеющие ни машин, ни голов своих ради десятой доли секунды?

Нет, поистине, смотреть на игру исключительно как на детскую глупость или придурь богачей можно было лишь тогда, когда большинство человечества было занято борьбой за существование. Но нынче, в машинный век, когда не только дети и богачи оказываются избавленными от этой борьбы, когда кусок хлеба и кров над головой перестают быть проблемой, а счастья все нет, а дух томится все так же, если не больше, и среди возможных средств утоления все чаще прибегает к игре, мы получаем полное право рассматривать игру как некое чистое обнаружение человеческой воли, в котором она странным образом находит удовлетворение, не достигая никаких объектов своих обычных желаний.

При исследовании воли общечеловеческая способность к игре должна послужить нам таким же указующим знаком, намеком, каким для Канта при исследовании разума послужило наличие обязательной для всякого сознания науки – математики. И так же, как он видел в математике вид чистого познания и, опираясь на это, выделял из всего многообразия чувственных восприятий чистые формы последних – пространство и время, так и мы попытаемся выделить из многообразия игр, в какие играет человечество, важнейшие и необходимые элементы, без которых всякая игра – не в радость, опираясь на представление об игре как о чистом волепроявлении.

В действительной жизни чистое, то есть абсолютно немотивированное, волепроявление может быть обнаружено очень редко – только в игре, и то далеко не во всякой, ибо выигранные деньги, успех у зрителей, торжество над соперником и прочее безусловно относится к области мотивов. Но сам факт обнаружения чистого явления

воли в нестимулированной игре, каким бы редким он ни был, должен настроить нас и заставить задуматься: а не может ли оказаться, что и во *всех* своих устремлениях наша воля оказывается подвижна не мотивами, целями и прочими предметами из мира явлений, а тем же загадочным порывом, который управляет ею в чистом акте игры? Не являются ли мотивы, цели и стимулы, представляющиеся столь важными нашему разуму, для воли как вещи в себе безразличными, оказывающими на нее лишь катализирующее воздействие, наподобие того, как присутствие платины ускоряет и делает заметным процесс окисления некоторых веществ? Не может ли оказаться, что дух томится ни по чему иному, как по возможности явить свою свободу, и сердцевину всякой утешительной деятельности, основу ее образует акт чистого свободного волепроявления? (ПМ-46-47)

С самого начала мы должны отложить в сторону все игры из серии «как будто»: «как будто ты моя мама, а я твоя дочка», «как будто паровоз, а ты вагончик» и тому подобное. И не потому вовсе, что это какая-то специфически детская игра. Большинство взрослых играют в нее до глубокой старости, изображая всевозможные «как будто» – «как будто я умен, а ты честен», «как будто ты смел, а я благороден», «как будто я прожил достойную жизнь», «как будто мы любим друг друга». Но все эти игры, хоть и доставляют участникам массу волнений, остаются все же целиком играми *представления*, фантазии – нас же пока интересуют только игры воли, то есть связанные с борьбой, с напряжением физических и духовных сил. Таким образом уже в этом ограничительном замечании содержится *первое необходимое условие* всякой игры – наличие некой, отличной от нашей собственной, воли, подлежащей преодолению.

Безусловно, это может быть как воля живого существа – партнера, стремящегося выиграть, дичи, стремящейся остаться в живых, леща, не желающего быть пойманным, – так и мертвого предмета: мяча, биты, бильярдного шара, лука и стрелы, копья и ядра. Но с какой бы страстью мы ни предавались всем этим занятиям, как бы ни жаждали удачи, совершенно ясно, что истинной целью наших устремлений, причиной волнения не может быть ни поражение партнера, которому мы не желаем никакого зла, ни леща, которого за сходную цену можно купить на рынке и изжарить, ни тем более перемещение бильярдного шара с поверхности стола в висящую сбоку сеточку. То, что можно было бы назвать мотивом, либо присутствует здесь в очень слабой, несоизмеримой с переживаемым волнением степени, либо отсутствует вовсе. Поэтому мы вправе предположить, что сам по себе факт обнаружения нашей воли в процессе преодоления воли любого не-Я содержит в себе момент неизъяснимого довольства, ко-

торое никак не может быть названо мотивом, ибо оно целиком принадлежит воле как таковой, а не миру явлений и даже не разуму, для которого оно как раз и непостижимо. (ПМ-48)

Вторым условием получения радости от игры является *отсутствие уверенности в победе*, а лишь надежда на неё. Попробуйте убрать этот фактор – и всякий интерес к игре сразу пропадает. Разве может дать какое-нибудь наслаждение победа над заведомо беспомощным противником? Или попадание в утку, которая привязана в двух шагах перед стволом вашего ружья? Или ловля рыбы в искусственном садке, если заниматься ею с разрешения сторожа? А кто не знает о тех нарочитых уступках, которые сплошь да рядом делаются более сильной стороной в пользу более слабой и имеющих единственную цель – внести в игру эту желанную невероятность.

Таким образом в наиболее общем виде *второе условие* можно выразить так:

Надежда и невероятность – вот единственные берега, между которыми воля в игре готова устремляться к преодолению.

То, что воля остается недвижимой там, где невероятность перерастает в невозможность, кажется само собой разумеющимся; но то, что она так же утрачивает всякую охоту действовать в тот момент, когда надежда превращается в уверенность, представляется парадоксальным и заслуживающим самого пристального внимания – внимания, которое мы и окажем впоследствии этому парадоксу.

Наконец, *третье* и последнее условие, без которого немислимо само понятие игры, – отсутствие всякого принуждения извне, *полная свобода воли*. Заставить играть! – само сочетание этих слов кажется нелепостью. Привести какой-либо пример игры, отравленной принуждением, очень трудно именно потому, что он почти не встречается в жизни. Разве что мрачные летописи Второй мировой войны хранят в себе упоминание о чем-то подобном – «матч под дулами пистолетов», – и какой-то особой зловещести исполнено для нас это изощренное надругательство над самим духом свободы. В нормальных же условиях мы не только не в силах вообразить себе кого-нибудь играющим в силу чьего-то приказа, но из опыта знаем, насколько безрадостной будет всякая игра с тем, кто не отдается ей с той же самозабвенной страстью и энергией, как мы сами. Можно представить себе, конечно, тирана на троне или тирана в коротких штанишках – балованного ребенка, – заставляющих окружающих проигрывать себе раз за разом; но и они приходят в ярость, когда им поддаются слишком заметно. Обычно же, если мы, помирая со скуки, пытаемся, за неимением равного, побудить к игре кого-то слабейшего, мы невольно прибегаем к уступкам: жертвуем заранее шахматную ладью, снимаем са-

поги, если противная команда футболистов играет босиком, мы хотим пробудить в них *надежду* и только через нее увлечь их свободную волю, ибо другой нам не надо. (ПМ-51)

Если бы нам было предложено сформулировать теперь в общем виде условия для того частного случая утоления томящегося духа, жаждущей воли, которое обнаруживает себя в игре, мы должны были бы сказать так:

Там, где наша свободная воля, направляемая лишь непреложными правилами игры, приходит в соприкосновение с волей не-Я, по отношению к которой у нас является надежда на победу, там мы с радостной готовностью, напрягая все физические и духовные силы, устремляемся к преодолению этой чуждой воли, и в процессе преодоления наш томящийся дух достигает удовлетворения в такой степени, которая, с точки зрения разума, понятий пользы или корысти, совершенно несоизмерима с достигнутым результатом.

В этой формулировке частного случая бросается в глаза заманчивая обобщенность – обобщенность, возникающая из-за того, что мы были вынуждены отказаться от понятия цели как предмета, явления, и мыслить ее лишь как вещь в себе, как волю не-Я. Но так как все конкретные цели, к которым устремляется человеческая воля в реальной жизни, являются также объективациями воли не-Я, и так как мы нигде не видим, чтобы достигнутая конкретная цель могла надолго успокоить наш ненасытный дух, то перед нами с еще большей остротой и определенностью всплывает тот же вопрос, что и в конце предыдущей главы: не может ли оказаться, что эта частная формулировка, выведенная нами на основании чистого явления воли в игре, будучи незначительно измененной – вместо «условиями игры», «условиями бытия», – оказалась бы справедливой для всех устремлений воли, в которых томящийся дух способен находить утоление? Не направляется ли наше истинное устремление всегда на самом деле непосредственно в сторону воли не-Я, минуя видимость ее, предмет, который лишь нашему разуму представляется целью? Не связана ли острота наших желаний, а следовательно, и энергия, с которой мы стремимся удовлетворить их, не с самим предметом-целью, а с неким свойством объективированной в нем воли, свойством, смутно нами угадываемым, но необъяснимым словами, как и все, что касается вещи в себе? (ПМ-53)

Глава 6. СТРАДАНИЕ И РАДОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПОСТИЖЕНИЯ МИРА

«...Чувства удовольствия и неудовольствия, а также воля... вовсе не познания».¹

Иммануил Кант

«Они (систематики) умеют говорить о суждении, восприятии, внимании, памяти, но они молчат о том, что кроется в словах: надежда, счастье, отчаяние, преданность, упорство».²

Освальд Шпенглер

Да, воля, а также чувства удовольствия и неудовольствия (радости и страдания) есть не познания в обычном смысле слова. Но что же они такое, с точки зрения метафизики? Шопенгауэр, идя дальше Канта, отвечает так: наша воля есть вещь в себе в явлении человек, а страдание есть неотъемлемое свойство воли, состояние, неразрывно сопутствующее всякому хотению. Удовольствие же, по его мнению, это либо иллюзия, испытываемая волей, достигшей объекта своего хотения, либо (настоящее блаженство) результат полного самоуничтожения воли, отказа от всех желаний – резигнация, нирвана.

Но пресловутая нирвана известна нам только понаслышке, да и то как редчайший случай, как чудо. А радость, блаженство, пусть иллюзорные, пусть в ничтожной доле, знакомы каждому, даже самому обделенному судьбой человеку. Кроме того, непонятно, почему следует считать именно страдание – реальностью, а обратное состояние, удовольствие – иллюзией? Почему не наоборот? А наслаждение чистого познания, творчества, единственно признававшееся франкфуртским философом, – разве оно сопровождалось в нем самом отказом от воли, как он утверждал? Разве не было оно неразрывно связано с постоянным трудом, с непрерывным напряжением воли, направленным на нелегкое дело – переводить сверхчувственные прозрения гениальной интуиции на доступный всем язык понятий? Увы, мы и здесь вынуждены признать его ответ неполным, противоречащим не только опыту всего человечества, но и его собственному.

«Что есть страдание?» и «чего хочет воля?» – в этих двух вопросах несомненно ощущается какое-то внутреннее взаимное тяготение; поэтому так называемый здравый смысл обычно с готовностью присоединяет один из них к другому в качестве ответа. «Чего хочет воля? Ясно чего: избегать страдания и достигать блаженства». (ПМ-65-66)

Действительно, страдание и блаженство как полюса, между которыми протекает все существование воли, казались бы вполне приемлемым разъяснением, если бы нам опять-таки было известно, что из себя представляют эти полюса. В действительности же нам известны лишь бесконечные разновидности страдания и еще большее число привлекающих волю наслаждений, причем путаница здесь такова, что сплошь да рядом то, что для одного – мука смертная, для другого может оказаться чуть ли не высшей формой удовольствия. Даже физическая боль и голод, столь доподлинно известные каждому и признаваемые за наихудшие формы страдания, которых следовало бы всячески избегать, для кого-то вдруг оказываются желанными состояниями, причем не обязательно для святых, аскетов и мучеников, поднявшихся на высшие ступени религиозного сознания: известны полудикие народы, чьи обрядовые игры и шествия включают в себя добровольное самоистязание как обязательный элемент. Что же касается до терзаний нравственных, то здесь уже царит такой хаос и многообразие, что разобратся в них, кажется, нет никакой возможности. Кажется, что человечество, устав от ошибок, давно махнуло рукой на этот вопрос и, когда он всплывает с роковой неизбежностью, пытается отделаться от него мудростью народной «нет худа без добра», «каждому свое», либо пророческой – «всему свое время и время всякой вещи под небом» (Эккл. 3.1.), либо шутивно-поэтической – «что нам дано, то не влечет», либо еще какой. И перед лицом этой всеобщей, разводящей руками мудрости, полностью сознавая дерзость всякой новой попытки, мы имеем право опереться на идею возрастающих уровней свободы и высказать тот обобщающий ответ, к которому приходит наука метафизика:

Всякое испытываемое нами страдание есть всегда знак утраты какой-то части царства я-могу, знак обнаружения нашей волей границы своей свободы, то есть осознание несвободы; всякое расширение этой границы неразрывно связано с удовольствием, радостью, блаженством.

Прежде чем попытаться показать истинность этого важнейшего постулата на множестве явлений человеческой жизни, до сих пор не имевших удовлетворительного объяснения, следует сделать несколько предварительных разъяснений.

Где бы ни столкнулась наша воля с ограничением своей свободы – внутри ли нашего тела или снаружи, мы немедленно узнаем об этом с достоверностью, превышающей любое знание разума, – через страдание. Границы же нашей воле может поставить не какой-либо предмет из мира явлений, но лишь другая воля – воля не-Я. Это может быть одна из низших волей, образующих наше собственное

тело, и тогда мы ощущаем несвободу как физическую боль. Это может быть воля другого человека, угнетающая нашу собственную, заставляющая нас терзаться унижением, страхом, обидой. Это может быть воля Мы, сковывающая нас снаружи угрозой наказания, позора, осуждения, либо изнутри – нравственным чувством, раскаянием, угрызением совести. Это может быть даже Божественная воля, томящая нас смутным сознанием греховности. Но всегда и везде знак обнаружения самой несвободы остается для нашей воли один и тот же – страдание. Точно так же и мера несвободы всегда определяется мерой испытываемого страдания, и наоборот – свобода воли ничем не подтверждается так наглядно, как готовностью переносить любые лишения и муки ради достижения того, что данному человеку представляется высшей свободой, будь то его вера, благо общества, безопасность близких или даже, на худой конец, личная власть, слава, богатство. (ПМ-67)

Примечательно, что наше суждение о ближнем, которому мы предаемся с такой готовностью и которое по сути своей всегда остается суждением об уровне свободы его воли, избирает физические страдания, на которые он способен пойти, как некий эталон, как единую меру, ибо они, действительно, мало отличаются по степени в разных индивидуумах. Страдания же нравственные столь несоизмеримы по уровню, что судить о них дано лишь самому страдающему человеку; в этом смысле следует признать абсолютную правоту экзистенциальной этики от Кьеркегора до Кафки, утверждающей, что всякий суд со стороны обречен на несправедность, ибо не может принять в расчет «страха и трепета», сопутствующих поступку. Однако для нас в этом моменте важен не сам суд и оценка его праведности, но тот факт, что и на самых высших уровнях наша воля не имеет иного сигнала для обнаружения несвободы, нежели испытываемое страдание.

Итак, воля нашего Я отнюдь не слепа – ей дарована способность мгновенно и безошибочно узнавать об утрате своей свободы. Чем же тогда должно оказаться чувство столь же непосредственное, но обратное страданию – радость, блаженство? Да ничем иным, как знаком обретения новой, более высокой степени свободы, знаком расширения границ царства я-могу. Наше глубочайшее убеждение в том, что каждый человек всегда стремится к достижению блаженства и прочь от страданий, которое в действительной жизни встречается тысячами опровергающих примеров, будучи сформулированным в терминах метафизики как стремление нашей воли от несвободы к свободе, утрачивает свою ограниченность и противоречивость.

Если мы бросим для начала беглый взор хотя бы на известные нам плотские удовольствия, то убедимся, что, насыщая голод или похоть, согревая замерзшие руки или давая покой усталому телу, мы

не делаем ничего иного, как удаляем нашу волю от подступивших слишком близко нижних границ ее свободы, от тех неумолимых воль низших уровней, которые образуют наше тело. Удаляются границы, слабеет сознание *этой* несвободы – мы испытываем удовлетворение. И так как воля низших уровней свободы в нашем теле не имеет других стремлений, кроме поддержания жизнедеятельности организма, так как ей поручен на хранение основной капитал дарованной нам свободы – наша жизнь, – капитал, который воля нашего Я без этой строгой опеки давно бы растранижирила и исчерпала в погоне за удовольствиями, то мы, как правило, не только смиряемся с такой несвободой, но часто принимаем всякое требование «снизу» не за приказ, а за голос собственной воли.

Часто – но далеко не всегда.

С теми же нижними границами наша воля может вступать и в иные, гораздо более активные отношения, она может устремляться на преодоление их со страстью и самозабвением, но, конечно, лишь в том случае, если способность представления укажет ей как на возможный результат на расширение границ я-могу. Узник, роющий подземный ход ногтями, обдирающийся о колючую проволоку, кидющийся в ледяную воду – простейший пример; свобода, обретаемая им в результате всех мучений, вполне наглядна и понятна каждому. Раненый солдат, добровольно оставшийся в строю, случай более сложный, ибо здесь человек видит как результат своего героизма более расплывчатую свободу Мы. Удовлетворение, испытываемое отшельником, мучившим себя сорокадневным постом и выдержавшим это испытание, вообще невозможно понять без представления о наивысшей свободе Божественной воли, к которой он стремился приобщиться столь суровым способом. (ПМ-68)

Но если мы покинем поля сражений воли нашего Я с волей низших уровней свободы собственного тела и взглянем на то, что доставляет нам радость и восторг в столкновениях с любой волей не-Я в окружающем нас мире; если, не задерживаясь на всеми признанных и одобренных радостях творчества, любви, труда, борьбы со стихиями, мы присмотримся повнимательнее даже и к удовольствиям более низменным, продолжающим радовать нас несмотря на всеобщее осуждение и моральные запреты; если представим себе хищную радость стяжателя, пустившего по миру очередную жертву, торжество захватчика, врывающегося в дымящийся город, ухмылку профессионального соблазнителя, разглядывающего себя в зеркале наутро; если опустимся еще ниже и вспомним все истории немотивированных злодеяний, бессмысленных хулиганств, садистских выходов; если затем покинем сферы как добра, так и зла и снова вернемся к необъяснимым наслаждениям игры, еще раз опешим при виде счастливого выражения лица рыболова, сжимающего в руке

крохотную рыбешку, спортсмена, обогнавшего соперника, сбившего желудь мальчишки; если, наконец, спросив всех этих людей одного за другим о характере чувства, испытываемого ими в результате всех этих столь различных дел, мы обнаружим, что все они будут отвечать одними и теми же словами (ибо в человеческом языке и нет других слов для этого) – удовольствие, радость, блаженство; если также убедимся, что острота испытываемого ими чувства вовсе не зависит от понятий пользы или понятий добра и зла, а скорее от каких-то, на первый взгляд, случайных обстоятельств и условий; то перед лицом этого хаоса мы неизбежно должны будем как за единственную надежду ухватиться за ту путеводную нить, которую дает нам метафизика, разъясняющая внутреннее единство этих загадочных обстоятельств и условий. Мы должны будем, заглушив на время голос нравственного суждения, твердящий нам о пропасти, отделяющей стремления воина и разбойника, математика и спекулянта, влюбленного и развратника, труженика и бездельника, признать, что в глубине это все то же главное, единое, неистребимое и основное влечение воли нашего Я – осуществить свою свободу в мире явлений, расширить царство я-могу. (ПМ-69)

Не только главным и единственным следует признать это стремление, но попросту сущностью воли нашего «Я».

Наиболее же наглядно оно предстает перед нами в связи с теми формами страдания, которые именуются скукой, тоской, томлением духа, и в связи с теми видами радости, которые даются игрой. Когда воля нашего Я не видит вокруг себя объектов, на которых она могла бы явить свою свободу, то такая невозможность ощущается нами иногда как самая горшая несвобода, как пустота, как пропасть вопроса «а дальше что?» И если посреди этой тоски что-то поманит нас, если мелькнет в окружающем нас мире некая надежда, то можно быть уверенным, что это всегда будет нечто иное, как новая возможность осуществления свободы нашей воли – тогда мы рвнемся к ней с такою силой и страстью, что ни запреты морали, ни боль и лишения, ни угроза смерти не смогут удержать нас. Поэтому то, что было высказано в конце первой главы как предположение, на этом этапе рассуждения должно быть сформулировано в виде абсолютной аксиомы:

Наша воля хочет всегда только одного – осуществления своей свободы, расширения царства своего я-могу.

Как в сгущающейся туче неумолимо накапливается электрический заряд, так и в каждой душе, лишенной исхода, нарастает день ото дня невидимая энергия свободы. И как мы, хотя и не зная, в каком именно месте вырвется из тучи молния, все же уверены, что это произойдет там, где электрическое напряжение превысит сопротивление воздуха, точно так же и по отношению к человеку мы должны

быть уверены, что всякий его порыв окажется всегда результатом устремления его воли в сторону большей свободы. Никакой уровень свободы не может стать для него окончательным. Даже достигнув того, что казалось ему прежде невероятным, невозможным счастьем, он рано или поздно начинает тосковать и томиться неизвестно о чем, ибо наша воля может ощущать себя по-настоящему свободно лишь в процессе осуществления свободы, в движении к ней. Любая же остановка на этом пути или даже замедление, ощущаются как несвобода, как страдание, могущее дойти со временем до такой остроты, что сама смерть начинает казаться избавительницей – такова природа всех «немотивированных» самоубийств. (ПМ-70)

Глава 7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СЛУЖБЕ У ВОЛИ

Выше мы назвали игру чистым, то есть абсолютно немотивированным актом осуществления свободы. Но коль скоро жизнь человеческая не состоит из одной игры, и коль скоро он оказывается способным достигать довольства и счастья в процессе и других дел, то есть имеющих ясную цель, мы должны и в этих делах мыслить в скрытом виде акт осуществления свободы. Скажем так: воля испытывает удовлетворение только при расширении границ своей свободы; это расширение может произойти либо в результате воздействий извне (потепело, дали поесть, открыли двери тюрьмы), либо в результате действий нашей собственной воли; таким образом интересующее нас определение должно звучать так:

Во всяком действии нашей воли, сопровождаемом чувством удовлетворения, имеет место акт осуществления свободы.

Здесь возникает некоторый соблазн: а нельзя ли по этому признаку, то есть по чувству удовлетворения, выяснить, которые же из обычных видов деятельности людей (помимо игры) являются осуществлением их свободы, а которые – нет. Правда, то, что это невозможно, легко заметить уже при взгляде на простейшие, самые массовые действия людей – работа в цеху, возделывание земли, учеба: одним нравится этим заниматься, другим – в тягость. Даже в теплушке эшелона, везущего новобранцев к линии фронта, при всё многообразии переживаемых людьми чувств, можно найти полные состояния – предельную угнетенность одного и радостное, захлебывающееся возбуждение другого. Но если не существует такого вида деятельности, который доставлял бы удовлетворение любому человеку, то возникает другой вопрос: в чем же причина столь разных состояний людей, занятых одним и тем же? Ведь метафизика претендует на абсолютность своих положений о том, что всякое удовольствие – знак расширения свободы; почему же одни и те же действия для одного сопровождаются расширением свободы, для другого – нет?

В этом месте мы неминуемо запутаемся в противоречиях, если немедленно не выведем на сцену то важное для нашей драмы лицо, которое до сих пор терпеливо ждало за кулисами – ***человеческую способность представления.***

О том, сужаются ли границы моей свободы или расширяются, я каждое мгновение, сейчас узнаю самым непосредственным образом через страдание или удовлетворение; но о том, до каких пределов она уже расширилась и в каких направлениях могла бы расширяться в будущем, я могу знать только благодаря способности представления. (Здесь имеется в виду способность представления, как она была очерчена Кантом – органы чувств, рассудок и разум, –

плюс введенная нами способность различения явлений по признаку свободы.) (ПМ-71)

Представление *in abstracto* (инабстрактно) или *in concreto* (инконкрето) неизбежно предшествует любому акту нашей воли. И каким бы гнусным, опасным и бессмысленным ни казалось нам волепроявление человека, оно может доставлять ему глубочайшее удовлетворение, если система его представлений сложится таким образом, что действие его воли будет восприниматься им как акт осуществления свободы. Представления же, в особенности инабстрактно, в значительной мере подчинены воле, которая обычно стремится изменять их не столько в сторону большего соответствия с действительностью, сколько на пользу своему единственному устремлению – осуществлению свободы. В этом и кроется причина того, что одни и те же действия могут сопровождаться как чувством удовлетворения, так и неудовольствия – все зависит от того, как они представляются данному человеку.

Роль представления в человеческой жизни так велика, что существует даже особый, известный каждому, класс переживаний, не связанный ни с каким сиюминутным действием – ни нашей собственной воли, ни внешним, – зависящий целиком от деятельности представления: тягостные и приятные воспоминания, мечты и надежды, страхи и угрызения совести. Однако и здесь чувства удовольствия и неудовольствия продолжают сохранять свое значение в качестве единственных сигналов расширения или сужения свободы. А именно: наши отношения с прошлым складываются так, что поступки недостойные, проявления слабости или неспособности терзают нас стыдом и угрызениями совести как открывшаяся нам наша несвобода, гордимся же мы всегда только теми делами, где наша свобода, как мы ее понимаем, была явлена в достаточно полной мере; когда же наша способность представления обращается к будущему, то два главнейшие чувства, связанные для нас с тем, *что будет*, – страх и надежда, – также не говорят нам ни о чем другом, как о возможности утраты или расширения какой-то части царства я-могу.

Как путник, продирающийся в густом лесу, напрягает свое зрение, выискивая просветы среди деревьев, так и наша воля пользуется способностью представления для отыскания просветов, выводящих ее в сторону расширения царства я-могу. И точно так же, как путник, поднявшийся на холм, может прийти в отчаяние при виде бескрайности окружающего его леса, так и воля, достигшая высот подлинного знания, чаще других, не видящих столь далеко, теряет надежду и желание двигаться дальше, о чем-то мечтать и к чему-то стремиться. Нота горечи, трагизма и безысходности звучит в прояв-

лениях почти всех великих душ и глубоких умов. Поистине, «в великой мудрости много печали, и кто умножает познание – умножает скорбь» (Эккл. 1:18). (ПМ-72)

Большинство из нас часто сосредотачивает все силы только на том, чтобы *не знать, не думать, не помнить*. «Брось ты об этом думать», – говорим мы друг другу. Но о чем же? Мы не могли бы точно ответить, о чем мы боимся думать, но безошибочно угадываем тот момент, когда наши мысли, блуждая, приближаются к опасному месту. «Еще мгновение, и ты больно наткнешься на границу не-могу», – вот что говорит нам без слов предупреждающий голос. И мы тотчас кидаемся думать о чем-нибудь другом, о «приятном», мы затыкаем уши, если нам пытаются говорить об этом со стороны, мы выбрасываем или сжигаем опасные книги, прогоняем слишком умных прозорливцев – мы не хотим знать. Но когда не чужие слова или мысли, которые можно забыть, извратить, перевернуть и отбросить, но просто существующий рядом с нами человек – достойнее, умнее, смелее, праведнее нас – вторгается в картину мира инконкрето, – о, тогда один его вид, одна мысль о нем могут сделаться для нас источником таких невыразимых мучений, так ясно мы будем видеть в нем каждый день, как в зеркале, свою несвободу, что постепенно наша неприязнь к нему перерастет в негласный приговор к изгнанию или даже к смерти, который и будет приведен в исполнение при первом удобном случае.

Итак, томление духа есть ничто иное как потребность нашей воли осуществлять свою свободу. Никакие события извне не могут утолить его; то, что происходит снаружи, может радовать или огорчать нас (то есть расширять или сужать царство я-могу) лишь постольку, поскольку оно может содействовать или препятствовать нашей воле в ее главнейшем и единственном влечении – осуществлении свободы. Томление духа насыщается лишь таким проявлением нашей воли, которое *представляется* нам свободным.

Если воля не находит путей для утоления томящегося духа, человек заболевает. Лёгкую стадию этой болезни принято называть скукой, тяжёлую – депрессией, фатальный исход – самоубийством.

До тех пор пока человек занят борьбой за существование, он знать не знает ни про какое томление – до того ли! «С жиру бесяться», – говорит он о других. Но не знает он о нем не потому, что его нет вовсе, а потому что оно непрерывно утоляется этой самой борьбой. Его способности представления нет нужды всматриваться и высискивать – на что бы могла направиться воля в поисках новой свободы. Жизнь! его собственная, ежедневными усилиями поддерживаемая и сохраняемая жизнь без боли, страха и лишений – вот та сияющая

вершина свободы, в которой усомниться невозможно, которая постоянно маячит перед ним и постоянно ускользает, спасая тем самым от скуки и пустоты существования. (ПМ-73)

С того момента, как судорожная борьба за жизнь в человеческой судьбе сменяется более или менее сносным существованием, роль способности представления в осуществлении его волей своей свободы резко возрастает. Память услужливо расстилает перед волей, как перед воинственной властительницей, карту ее владений, именуемых «это я могу», разум как верный слуга и лазутчик нашептывает ей на ухо сведения об окружающих ее землях, о всех бесчисленных «этого я не могу», советуя, на кого бы можно было теперь напасть с наименьшим риском и наибольшей выгодой. А так как сущностью воли является именно стремление расширять границы царства я-могу, то она с напряженным вниманием и интересом вслушивается в сведения, поставляемые ей способностью представления. (ПМ-74)

Как истинный царедворец, старающийся угадать желания повелителя, разум может служить воле и на другой лад, а именно: он может заниматься фальсификациями, подправлять в памяти карту владений я-могу, расширять их границы на бумаге, присваивать своему владыке дутые титулы – и тогда мы можем в полной безопасности упиваться самолюбованием и безудержным хвастовством; он может петь воле о сказочных дальних странах, которые будут когда-нибудь принадлежать ей, то есть тешить нас мечтами и грезами; он может чернить владения живущих рядом с нами, то есть поддерживать наше самодовольство и ограждать от страдания зависти – от осознания несвободы через сравнение с другими людьми. Однако мы не можем отрицать также существования людей, чей разум ведет себя во всех обстоятельствах как мудрый и честный советник, беспристрастно хранящий для воли сведения о границах ее свободы и смело указывающий ей на пути, на которых она могла бы максимально расширить ее, какими бы трудными эти пути ни оказались. (ПМ-75)

Каким образом достигнуть наивысшего блаженства, осуществить в максимально возможной степени свободу своей воли – этот вопрос всегда был и навсегда останется подлежащим суду лишь самого человека; никакой универсальный ответ здесь невозможен. Зато метафизика на этом этапе своего развития оказывается способной ответить на другие, не менее важные вопросы: отчего зависит энергия, с которой человек в действительной жизни устремляется на достижение своих целей? Какие факторы влияют на силу его порывов? А буде таковые факторы обнаружатся – каким образом совпа-

дение их в определенный исторический момент для многих индивидуумов приводит к войнам, смутам, революциям и прочим взрывообразным явлениям?

Но до последнего вопроса еще далеко – мы займёмся им в Третьей части, а пока обратимся вначале к двум первым.

Попробуем выделить основные моменты, которые должны иметь место в любом процессе осуществления свободы, на чистом примере его – на примере игры.

Первый момент – наша воля должна представляться нам свободною в данном своем проявлении. Условимся в дальнейшем называть этот момент **фактором свободы**.

Второй: относительно воли не-Я, подлежащей преодолению в процессе осуществления свободы, у нас не должно быть точной уверенности в победе, а лишь надежда на нее. Можно было бы назвать это фактором невероятности, но из некоторых соображений лучше так и оставить – **фактор надежды**.

Наконец, третий момент, сжимающийся в нестимулированной игре до ничтожно малых размеров, в жизни же известный под понятием цели, мотива, состоит в том, что как результат преодоления противостоящей нам воли не-Я мы должны видеть обретение нашей волей новых возможностей для дальнейшего расширения своей свободы. Для краткости обозначим этот третий момент как **фактор обретения**.

Весь же комплекс признаков, подразумеваемых нами, когда мы говорим, что человек упорен в данном устремлении, самоотвержен, готов все отдать, или наоборот, «никого не пожалеет», «ни перед чем не остановится», что он будет биться над этим дни и ночи, отказывать себе во всем, сносить насмешки и оскорбления, терпеть муки голода, боли и усталости, трудиться, не покладая рук, – все это мы объединим отныне под общим термином: **энергия осуществления свободы**.

Для индивидуального Я в этом понятии нет особой нужды – силу собственного устремления от несвободы к свободе каждый может оценить гораздо непосредственнее и точнее по степени испытываемого страдания или достигаемого удовлетворения. Однако, занимаясь научным обобщением, мы вынуждены найти нечто в мире явлений, что характеризовало бы нам эту силу устремления воли в других людях, наподобие того, как стрелка электрометра характеризует величину невидимого электрического заряда. А так как все понятия, объединенные нами под именем энергии осуществления свободы, относятся к поступкам людей, то есть к миру явлений, то мы вправе использовать это доступное наблюдению явление как стрелку конструируемого нами «прибора» (прибора весьма грубого,

способного показывать лишь «больше—меньше» – но на первых порах этого вполне довольно). (ПМ-76)

Что же покажет нам этот несовершенный, достойный жалостливого презрения поклонников точных наук, прибор, если мы попробуем с его помощью исследовать все взлеты и загибания человеческих порывов, известные нам из истории, литературы и собственной жизни? Он покажет удивительную закономерность: возрастание любого из трех выделенных нами факторов неизбежно приводит к возрастанию энергии осуществления, и наоборот.

Энергия осуществления чутко откликается на любые изменения трех метафизических факторов – свободы, надежды и обретения.

Возьмем для начала первый из них – фактор свободы. Говоря о возрастании его, как и двух прочих, мы всегда будем иметь в виду *возрастание уверенности*, то есть возрастание прочности представления человека – в данном случае представления о том, что в предстоящем действии его воля будет абсолютно свободной.

Самый разительный пример такого действия – игра. Ни воля другого человека, ни воля Мы не давят на нас, понуждая играть, – мы предаемся этому занятию настолько сами, что можно с уверенностью сказать: в игре фактор свободы присутствует в предельно возможной степени. Озорство детей и все бессмысленные преступления подростков также движимы прежде всего этим фактором. Ведь разбить окно, проткнуть шину автомобиля, облить кипятком кошку – как бы это ни было глупо и жестоко, в одном-то можно быть твердо уверенным: это совершаешь ты сам, а не кто-нибудь тобою. (ПМ-77)

Особенно упрочняется представление о свободе, благодаря запрещениям. Дети вообще кажутся нам такими непослушными, капризными, непостоянными именно потому, что они с гораздо большей отчаянностью и смелостью, чем мы, отстаивают важнейшее из дарованных нам сокровищ – сознание свободы, и гораздо более чутки к утрате его. Им абсолютно наплевать на уверения родителей и наставников, будто им приказывают и наказывают их «ради их же пользы»: они-то знают, что для их Я, для воли, нет другой пользы и другой цели, нежели осуществление своей свободы. Процесс воспитания поэтому всегда состоит в том, чтобы угрозами, наказаниями и уговорами ввести их волю в те границы, какие на данном этапе развития общества воля Мы ставит воле индивидуума, чтобы они перестали ощущать эти границы как мучительную несвободу. И так как наша воля ни против чего не восстает так решительно, как против подчинения воле чужого Я, то наставники и родители, как правило, стараются действовать не от своего имени, а от имени Закона, Обычая, Бога – в этом случае стена, ставящая предел воле воспитуемого,

получается гораздо прочней и долговечней, чем образованная простым «я так велю». (ПМ-78)

Карта владений я-могу хранится в нашей памяти, и для бодрствующей воли нет более увлекательного занятия, чем снова и снова проноситься мысленным взором-дозором вдоль своих границ, выискивая малейшую слабинку, малейшую возможность расширить свои владения. И там, где эта возможность обнаруживается, там, где пограничная воля не-Я, кажется, вот-вот готова поддаться нашим усилиям, там в нас вспыхивает *надежда*. То, что мы при исследовании игры называли долей невероятности, теперь получает вполне определенный метафизический смысл: уверенность – это представление о нашем я-могу, невероятность – представление о границе, за которой начинается не-могу, надежда – представление о непрочности этой границы.

Детство и юность так богаты надеждами именно потому, что в этот период жизни карта владений воли еще только составляется – еще слишком много вокруг нас всевозможных не-Я, с которыми мы не успели померяться силами и которые окрашены для нас неизвестностью и новизной в самый прекрасный цвет – цвет надежды. Но, постепенно приобретая жизненный опыт, то есть узнавая истинные границы своего я-могу через опыт страдания, через горечь поражений, когда вместо ожидаемого наслаждения осуществлением своей свободы к нам приходят одни терзания – обнаружение несвободы, мы смиряемся, становимся, что называется, умнее, перестаем кидаться из стороны в сторону, не хотим больше разбивать себе лоб об оказавшиеся несокрушимыми не-могу; составление карты в основе своей завершено, период бурных завоеваний окончен и начинается ровное течение жизни, главная задача которой, как правило, – отстоять то, что уже завоевано. (ПМ-79)

Для того чтобы охарактеризовать зависимость энергии осуществления от третьего фактора – фактора обретения, – облачим волю снова в наглядный и яркий костюм завоевателя. Представим себе тот случай, когда этот грозный захватчик, уже покоривший себе множество больших и малых царств, создавший внушительную державу я-могу, в своем неудержимом движении вперед дошел до границы чьих-то владений, столкнулся с новым и неизвестным дотоле не-Я. Привстав на стременах, он озирает расстилающиеся перед ним просторы, и могучая армия, слепо повинующаяся ему, ждет только знака, чтобы ринуться вперед на очередное преодоление. Власть полководца никем не ограничена, только от него зависит, идти сейчас в поход или нет – налицо фактор свободы в предельно возможной степени; земля, расстилающаяся перед ним, принадлежит могучему владыке, чьи полчища соизмеримы по силе и доблести с его собственными, – это снова та вожденная грань между надеждой и

невероятностью, которую он уже столько раз преодолевал с чувством охлаждающего сердце восторга; все застыло в трепетной готовности, все ждуг заветного знака, но его все нет и нет.

В мрачной задумчивости завоеватель обводит взглядом горизонт – песок и камни, песок и камни повсюду, куда ни посмотри; и дальше, за горизонтом (он знает это из донесений лазутчиков) безрадостная пустыня простирается на сотни километров, обрываясь где-то далеко в столь же безбрежный океан. «Ну, разобью я дикие орды, живущие здесь, ну, завуюю эти километры песка и камней – а дальше что?» «Ну, хорошо, у тебя будет 6 000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом? – спрашивает себя Лев Толстой в момент душевного кризиса. – ...Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире – ну и что ж?». ¹ И с затаенным вздохом, кляня своих не в меру ретивых лазутчиков, свой неосторожный ум, способный видеть так далеко, воля поворачивает вспять от этих границ и отправляется на поиски новых – таких, которые сулили бы ей возможности обретения новой, *бескрайней* свободы.

Воля пользуется способностью представления, как прожектором, освещающим подлежащую захвату область свободы. Поэтому глубокоому и серьезному уму столь часто кажется ничтожным и мелким то, что для душ заурядных представляется предметом страстного вожделения: их слабый ум, как слабый прожектор, просто не в силах достигнуть границ завоевываемого, отчего оно и кажется ему безграничным. Так, для ребенка обретением, сулящим ему невероятное счастье, будет игрушка, для подростка – велосипед, для модницы – новое платье, для чиновника – повышение по службе, и так далее. Но как бы ни отличались наши умственные способности по глубине и проницательности, представление об обретаемом всегда должно обладать одним свойством: бесконечностью, то есть оно не может упираться в несокрушимую стену, достигать границы, которая бы представлялась нашей воле непреодолимой. В противном случае наша воля не сдвинется с места точно так же, как не станет течь вода в канале, если где-то далеко впереди перекрыты шлюзы. Это свойство безграничности содержится в игрушке в виде возможности играть во что угодно, в велосипеде – мчаться куда хочу, в новом платье – красоваться перед множеством людей, в новом чине – достигнуть следующего, в существовании уходящей под облака лестницы чинов. (ПМ-81)

Еще большей безграничностью обладают такие распространенные формы обретения, как деньги и власть. Тримальхион, Плюшкин, Гобсек, Скупой рыцарь кажутся нам вполне правдоподобными фигурами именно потому, что мы и сами часто видим в

деньгах некое универсальное обретение – даже небольшая сумма таит в себе заветный привкус безграничности за счет того, что на нее можно купить и то, и другое, и третье, и десятое. Более сложным, но и более непосредственным образом проникает в наше сознание представление о безграничности обретения, даруемого властью. Ведь игрушка, деньги, велосипед принадлежат миру явлений, а значит, заведомо конечны; поэтому-то обладание ими радует нас не само по себе, а только благодаря возможностям, в них таящимся. Другое дело – власть: здесь наша воля покоряет нечто бесконечное по сути своей – волю другого человека.

Властолюбец всегда упивается властью как таковой, сколько бы он ни пытался оправдывать свои властолюбивые устремления какими-то благовидными целями. Перспективы же здесь поистине безграничны: власть можно распространять в ширину, то есть на максимально возможное число людей; если же обстоятельства поставят предел в этом направлении, немедленно начнется распространение как бы в глубину – усиление гнета, деспотизм семейный, феодально-помещичий или государственный. Крайне ограниченная способность представления мелкого или крупного тирана, требующая во что бы то ни стало наглядности обретаемого, вполне довольствуется зрелищем той свободы, которую он своей волей отнимает у угнетаемых – именно она представляется ему расширением его собственной свободы; а так как ничто не может быть нагляднее, чем физические страдания или смерть того, кто находится в нашей власти, всякий тиран, как правило, и кончает этим, если его не остановит страх наказания или не отвлечет на себя новая жертва.

Может показаться несправедливым, что ради терминологического единообразия мы и подобные деяния продолжаем именовать «осуществлением свободы», а не – хотя бы – «осуществлением произвола»; но ведь заставить жестокого и властного негодяя прекратить свои преступления так трудно именно потому, что он не видит для своей воли иного пути осуществить свободу, и из-за этого-то энергия, с которой он устремляется по этому пути, так часто превосходит энергию пытающихся его удержать – ведь для них, как бы они ни возмущались, это чаще всего скучный и неприятный долг. (ПМ-82)

Итак, мы видим, что из представлений, влияющих на энергию осуществления, оказалось возможным выделить три важнейших: представление о достигаемом (фактор обретения), представление о том, что «у меня может хватить сил достигнуть желанного» (фактор надежды) и представление о том, что, достигая этого, я буду действовать без всякого принуждения извне (фактор свободы).

Все эти представления так или иначе используют открытую нами человеческую способность различать явления по уровню свободы объективированной в них воли; а так как эта способность весьма груба и несовершенна, то ни одному из этих представлений не может быть свойственна аподиктичность (обязательность для всякого сознания), присущая большинству положений чистого разума. Но, как ни парадоксально, все же именно этим представлениям, а не логике разума, дано объединять миллионы людей в едином порыве, когда воля каждого, воспламененная надеждой, перестает слышать любые разумные увещания.

– Хочешь, я изменю твои представления в сторону большего соответствия с действительностью? – предлагает разум воле.

– Нет, – отвечает воля. – Я жажду только такого изменения моих представлений, которое даст мне максимальную возможность утолить главнейшее и единственное мое вожделение – осуществление моей свободы.

И кто знает – быть может, в конечном итоге, она тысячу раз более права, какой бы нелепостью это ни казалось тем, для чьей воли максимальным осуществлением свободы оказалась именно чистая деятельность разума по исправлению наших представлений о мире. (ПМ-85)

Глава 8. СЧАСТЬЕ ОПЬЯНЕНИЯ, РАДОСТЬ СМЕШНОГО

Что за наслаждение находим мы в вине? Откуда нисходит на нас то блаженное состояние освобождения, легкости, которое разливается по всему телу после первой же рюмки? И если освобождение – то от чего? Значит, что-то давило нас до этого, привычно-незаметное, тяжко-гнетущее? Но что – что именно?

Метафизика утверждает, что всякое чувство удовольствия есть знак расширения границы царства я-могу. На первый взгляд, может показаться, что удовольствие опьянения опровергает этот постулат – опьяневший человек *может* гораздо меньше, чем трезвый. Но при внимательном рассмотрении это опровержение оказывается лишь новым подтверждением истинности метафизических построений. Ведь карта царства я-могу хранится ни в чем ином как в памяти, в разуме. Человек может обладать очень слабым или очень мечтательным, или очень рассеянным разумом, но все равно, на большем своем протяжении эта граница очерчена весьма четко и о массе вещей говорит воле недвусмысленно и однозначно: этого ты не можешь.

В обычном состоянии воля не ощущает эту жесткость как несвободу – безнадежно, так безнадежно, не могу, так не могу. Но когда алкогольное или наркотическое опьянение нарушает правильность работы разума, расстраивает порядок, царящий в деятельности представления, граница царства я-могу утрачивает прежнюю ясность, расплывается, и воля испытывает неизъяснимое блаженство освобождения – освобождения от той несвободы, которая таится в самом даре разумного сознания. Человеку начинает казаться, будто он все может: всех полюбить или, наоборот, всех победить, будто он умеет петь, танцевать, летать, оковы страха, стыда и долга слетают с него, и вот он уже идет, распевая, посреди улицы, лезет к прохожим то с поцелуями, то с кулаками, пританцовывает, произносит речи и, наконец, падает обессиленный под забор; наутро он проснется снова в тех же стенах ясного сознания, но память о том, как он вырвался из этой тюрьмы, как «погулял», будет манить его, несмотря на головную боль и мерзкий вкус во рту, снова и снова пережить это блаженное освобождение. (ПМ-124)

Если жизнедеятельность человека ощущается его волей как осуществление свободы, он обычно не испытывает острой потребности в опьянении. Известны случаи, когда даже завязтые пьяницы бросали пить, найдя себе какое-нибудь дело по вкусу, то есть найдя исход томлению своей души. Наоборот, чем острее томится дух и

чем меньше он находит возможностей к осуществлению своей свободы, тем скорее прибегнет к опьянению как к единственному средству доставить своей воле блаженство хотя бы иллюзорного освобождения. Поэтому пьют не только от горя или от нужды, но и от полного безнадежного безделья, на самых вершинах обеспеченности. Ибо никакая степень благополучия сама по себе не гарантирует нашей воле того растянутого процесса осуществления свободы, который именуется счастливой жизнью. То, что мужчины пьют, как правило, больше, чем женщины, тоже находит здесь свое объяснение: врожденный уровень мужской воли в среднем выше (что видно из явного неравенства всех проявлений), а это значит, что дух мужчины томится гораздо острее и мучительнее переживает сознание несвободы. Любопытно также, что, как для сладострастника, так и для пьяницы, удовлетворение его страсти может сделаться обретением, подчиняющим себе все устремления: существование приобретает в его глазах подобие смысла, ибо теперь его свободная воля, обуреваемая трепетом и надеждой, тратит в течение дня массу энергии и изобретательности, чтобы достичь вождленного обретения – добыть вечернюю порцию выпивки или дозу наркотика (ну чем не осуществление свободы?).

Между прочим, интересные результаты могло бы дать сравнительное исследование двух состояний: сна и опьянения. И то, и другое характеризуется прекращением нормальной деятельности представления, но второе при этом сопровождается чувством удовольствия, первое же – нет; спокойный сон безразличен – он не несет ни радости, ни боли. Это наводит на мысль, что на время сна бытие нашей воли на ее обычном уровне прерывается, ибо в противном случае она должна была бы испытывать удовольствие от исчезновения границ я-могу. А так как потребность в сне присуща любому животному, мы можем заключить, что бытие воли на животном уровне имеет пульсирующий характер. Очевидно, состояние бодрствования является тем избытком энергии осуществления свободы воли растительного уровня в животном организме, который не может выдаться непрерывно: клетки нашего тела и, прежде всего, нервной системы должны восполнить растрчиваемую в процессе бодрствования энергию – поэтому-то мы и чувствуем после сна такой прилив бодрости и сил. Можно представить себе, что во сне уровень свободы нашей воли спадает так же, как спадает высота струи в фонтане, когда его выключают настолько, что остается лишь слабая струйка – чтобы не замерз ночью совсем. (ПМ-126)

Что же касается другой старинной загадки человеческого существования – загадки смешного, – то и здесь метафизика имеет дерзость предложить свое рациональное истолкование.

Удовольствие, доставляемое нам смешным, имеет ту же природу, что всякое другое удовольствие – обнаружение расширения свободы. Только в случае смеха оно имеет как бы обратный характер: мы радуемся обнаружению несвободы в другом человеке.

Наподобие того, как зависть мучает нас сознанием нашей сравнительной несвободы, так и смешное радует несвободой, открывшейся в ближнем. Исследуйте структуру любого впечатления, на смешившего вас, и вы непременно найдете в нем момент внезапного и непроизвольного обнаружения несвободы человеческой воли, несвободы, остававшейся дотоле скрытой, – момент разоблачения и доставляет вам мгновенное удовольствие. (Нечего и говорить, что после анализа впечатления ничего смешного в нем не останется.)

Простейший случай: человек спокойно идет по улице и вдруг, споткнувшись, начинает размахивать руками, выделывать нелепые прыжки, пытаюсь сохранить равновесие, – даже такое элементарное обнаружение несвободы от силы тяжести вызывает у нас невольную улыбку. Причем, чем важнее и напыщеннее держался человек, то есть чем величественнее (свободней) он пытался казаться, тем смешнее кажется нам его падение. Поводом для смеха может быть даже несвобода от боли, если она не опасна и смех не заглушается состраданием, – вспомните все комические сцены с зубными врачами.

Юмор любого балагана, любого шутовства очень часто строится на принципе пародирования, снижения всякого высокого образа, то есть всего, претендующего на высокий уровень свободы. Те нормы человеческого поведения, которые произрастают из чувства стыда, то есть из желания по возможности прикрыть врожденную несвободу от тела, таят в себе неисчерпаемый клад для всех второсортных шутников – для них не бывает ничего смешнее, чем свалившиеся штаны. Ведь одежда уже сама по себе есть попытка казаться более свободным, чем отпущено природой, а внезапное и невольное саморазоблачение всякой кажущейся свободы и есть основа смешного.

Именно саморазоблачение добавляет особую соль смешному, благодаря неожиданности. Вспомните хотя бы старинный анекдот о человеке, жаловавшемся, что из его окон видна слишком близко женская баня, а когда управляющий пришел к нему проверить жалобу и сказал, что моющихся женщин из окна не видно, жалобщик саркастически воскликнул: «Не видно? А вы на шкаф залезьте!» Попробуйте переделать анекдот таким образом, чтобы о шкафе догадывался сам управляющий («вы, наверно, на шкаф залезаете, чтобы их увидеть»), – и смешно будет сильно потеснено намеренной оскорбительностью высказывания, которую мы в принципе ожидаем заранее в ситуации любого конфликта, любой перепалки. (ПМ-127)

Кстати сказать, секс является такой благодарной почвой для смешного именно потому, что цивилизованный человек на публике ни от чего другого не отрешивается с таким старанием, как от своей несвободы от похоти. Что же касается до остальных его претензий и бесчисленных уловок казаться свободнее, то есть умнее, сильнее, смелее, добрее, образованнее и влиятельнее, чем он есть на самом деле, то совершенно ясно, что каждая из них, в свою очередь, оказывается источником бесчисленного количества анекдотов, шуток, басен, карикатур, притчей и комедийных сцен, которые если и не могут исправить вполне человеческую природу, все же в какой-то степени обуздывают нашу страсть казаться.

Хотя в большинстве своем люди весьма падки на все смешное, реакция их на юмор часто бывает неодинаковой. («Вам смешно? А мне вот нисколько».) Если фотографировать зрительный зал в моменты взрывов смеха, наверняка окажется, что хохот, который на слух кажется таким дружным, вовсе неоднороден. Фотография запечатлит нам хохочущих до слез, смеющихся от души, улыбающихся, абсолютно серьезных и даже возмущающихся людей. Причем, те, кто не смеется сейчас, могут искренне закатиться на следующую реплику, а прежние хохотуны будут только хлопать глазами.

«В нем нет чувства юмора», – говорим мы о ком-нибудь, но это всегда несправедливо: оно есть в каждом. «В нем нет нашего чувства юмора, – вот как должны бы мы были сказать. – Его уровень свободы так низок, что человеческие проявления, над которыми мы сейчас смеемся, то есть в чем открываем несвободу, кажутся ему безупречными или даже настолько возвышенными, что смеяться над ними – кощунство». «Есть вещи, над которыми, так сказать, не следует смеяться, которые, в некотором роде, уже святыня», – говорит один из персонажей у Гоголя в «Театральном разезде». И наоборот, – во время тонкой любовной сцены в зале может раздаться лошадиное реготание, которое будет коробить теперь уже нас.

Реакция человека на ту или иную остроту очень часто выдает нам его уровень свободы, вернее способность ее различения в других, и если эта способность кажется нам ниже нашей собственной, если человек не смеется, как мы, то есть не различает в осмеиваемом несвободы – он делается нам жалок и неинтересен. И напротив, если кто-то метко иронизирует над тем, что казалось нам до сих пор выше всяких насмешек, мы воспринимаем его уровень представлений о свободе выше нашего и либо пытаемся подняться до него, либо тихо ненавидим смелого шутника. Таким образом, врожденное неравенство воля проявляет себя даже в неравенстве юмора.

По отношению к высокому заурядный дух может вести себя двояким образом: либо высмеивать его, либо изображать себя причастным ему; либо смеяться над святыми и рассказывать анекдоты про попов, либо изображать ханжеское благочестие. И в этом втором случае оно будет особенно ожесточенно подавлять всякую иронию, грозящую ему разоблачением, – обнаружением его несвободы. Возвышенные сферы человеческой жизни, такие как религия или мораль, совершенно справедливо не допускают смеха во время проповеди или молитвы: это минуты, когда человек пытается сосредоточиться на сознании своей внутренней свободы, и всякое указание на присущую ему несвободу поистине мелко и неуместно. Но, с другой стороны, атмосфера, запрещающая смех, оказывается всегда очень притягательной для всякого духовного убожества, и оно устремляется под ее защиту с такой готовностью, что вскоре вытесняет из нее все искренние души и вынуждает их искать нового пристанища. В этом вытеснении часто кроются причины неверия глубоко религиозных умов или эпатирующей аморальности людей благородных. («Что угодно, только бы не быть похожими на вас!»)

Думается, глава эта не нуждается в подробном разьяснении той очевидной истины, что пьянство не поднимает нашу волю на более высокую ступень свободы, а метафизическое истолкование смешного, каким бы верным оно ни было, не может никого научить остроумию, ибо этот вид одаренности – такое же проявление врожденного уровня свободы, как и все прочие. (ПМ-128)

Глава 9. СТЫДНАЯ ТАЙНА НЕРАВЕНСТВА

«Самая трудная из всех проблем: почему при тождестве и метафизическом единстве воли как вещи в себе, характеры разнятся друг от друга, как небо от земли? Откуда берется коварная дьявольская злоба одного? тем ярче выступающая доброта другого?

...Может быть, кто-либо после меня осветит и прояснит эту бездну».¹

Артур Шопенгауэр

В предыдущих главах мы несколько раз позволяли себе говорить о врождённом неравенстве воли различных индивидуумов по уровню свободы, не испросив у метафизики разрешения на такую терминологическую вольность. Теперь пришла пора этим заняться.

Сколько бы мы ни призывали себя и своего читателя к максимальной научной беспристрастности, нет никакой надежды достигнуть вполне этого идеала в науке, посвященной изучению человека – нас самих. Даже усвоив себе метафизические понятия и признав зависимость энергии осуществления от вышеприведенных факторов общечеловеческим свойством, мы никогда не сможем отказаться от оценки людских устремлений; нам никогда не будет безразлично, видит ли данный индивидуум возможное обретение во власти над другими людьми или в служении им, в завоевании любви ближнего или в причинении ему страданий, в победе над низменными страстями или в их удовлетворении.

Однако, отнюдь не пытаясь заглушить в себе врожденный голос нравственного суждения, можно задаться вопросом: отчего же столь различные вещи могут представляться разным людям желанным обретением? *чем люди разные?* Ведь каждый человек – это только воля и представление; за волей всех людей мы признали свойство свободы (что языком религии выражено в виде тезиса «все равны перед Богом»), способность же представления, то есть формы чувственного восприятия и формы мышления, также идентичны в каждом нормальном человеке. (ПМ-86)

Откуда же берется столь вопиющая разноголосица убеждений, столь поразительное многообразие характеров, от гения самоотверженности до чудовища злобы, какое являет нам повседневная жизнь? Что такое таится в глубинах человеческого существа, что никакие воспитательные системы не могут отштамповать из своих питомцев хотя бы двух одинаковых образчиков? Почему мы так часто говорим о врожденных свойствах – благородстве или низости, уме

или глупости, смелости или робости, – подразумевая под врожденностью прежде всего неизменность, которая, как мы выяснили, может быть присуща только воле как таковой, а не какой-либо из форм ее объективации?

Эта цепь законных вопросов и недоумений, идущая из сферы опыта, направляется в каком-то смысле наперерез другой, вытекающей из самой системы установленных нами метафизических положений. Если мы допустили различный уровень свободы для различных классов явлений, значит ли это, что мы должны за каждым явлением данного класса мыслить одинаковый уровень свободы? Не имея для оценки воли никаких измерительных средств, наподобие тех, которые так помогают нам в систематизации явлений чувственного мира, можем ли мы утверждать что-либо определенное относительно уровня свободы воли того или другого человека? Можем ли мы сказать, что воля Сергея выше воли Алексея, или даже, что они находятся на одинаковом уровне свободы?

Теоретически мы не имеем права ни на отрицательное, ни на положительное суждение такого рода; практически – только и делаем, что вынашиваем про себя или высказываем вслух суждения о своем ближнем, причем всегда стремимся поскорее перейти от оценки его поступков к тому, что именуется «глубиной души», «свойствами натуры», то есть по существу своему – к воле. Также и в отношениях дружбы, приятельства и любви, когда они очищены от всяких корыстных целей, можно наблюдать поразительные вспышки симпатии и антипатии между людьми, настолько необъяснимые ни с какой разумной точки зрения, что на вопрос «чего ты с ним дружишь?» (с этим пьяницей, лгуном, лентяем) часто можно услышать вполне искреннее «не знаю».

– Он мне нравится – вот и все.

– Но что в нем может нравиться?

– Душа, – сказали бы в старину.

– Свобода его воли, являемая в тысяче неуловимых мелочей, – должен был бы сказать метафизик, хотя это прозвучало бы намного скучнее и суше.

– Но вы такие разные.

– Это и хорошо: значит, свобода нашей воли осуществляется в разных направлениях и нам не грозит соперничество. Однако что-то говорит мне, что по уровню самой свободы наши воли очень близки друг другу.

Эти необъяснимые и неконтролируемые отношения, так легко перерастающие из симпатий и антипатий в горячую дружбу или смертельную вражду, из восхищения в поклонение, из безотчетного пренебрежения в презрение, и так далее, создают уже третью группу

вопросов, тяготеющую к той же точке пересечения, что и первые две.

Итак, на интересующий нас вопрос теория познавательной деятельности отвечает: утверждение о том, что воли различных людей различны по уровню свободы, невозможно ни доказать, ни опровергнуть, ибо оно относится не к явлениям, а к вещи в себе.

Второй из опрашиваемых свидетелей, метафизика, говорит: коль скоро нами было допущено различие явлений по признаку свободы, нет никаких оснований отказаться от этого различия при сравнении явлений, именуемых человеческие индивидуальности.

Наконец, третий источник всякого знания, опыт, ясно показывает: только признав волю людей отличающейся друг от друга по уровню свободы, мы получаем надежду на обнаружение новой связи и смысла в разрозненности, являемой нам многообразием характеров и их взаимоотношений. (ПМ-87)

Нужно быть готовыми к буре протестов, которые вызовет этот постулат у идолопоклонников идеи тотального равенства, следующих заветам Руссо, Прудона, Кропоткина, Бакунина, Толстого и других. Сегодня политический раскол в демократических странах прошёл именно по этому критерию и только усугубляется с годами. В метафизических терминах этот раскол можно признать пятой антиномией, в которой тезисом является утверждение «люди от рождения неравны», антитезисом: «Все рождаются равными, неравенство возникает потом как результат жизненных обстоятельств». В дальнейшем сторонников тезиса будем называть «состязатели», их оппонентов – «уравнители».

Уже в античности философы уделяли огромное внимание врождённому неравенству людей.

Платон в своём проекте идеального государства делает эту проблему чуть ли не ключевой. Он делит всё население на четыре касты: железные, медные, серебряные, золотые. «Если порождение человека будет отчасти медное, либо отчасти железное, то никак они (начальствующие) не должны иметь к нему снисхождения, но, воздавая надлежащую честь природе, должны отсылать его к мастерским или к земледельцам; а кто, напротив, произошедши от этих последних, родился частью золотым, либо частью серебряным, того с честью возводили бы в стражи, или в помощники».²

Но как же определить это «порождение»? По каким признакам можно узнать в младенце, золотой он, серебряный, медный или железный? На это Платон не отвечает. Зато он ясно видит, что внедрение его теорий должно привести к уничтожению семьи. И не останавливается перед этим: «Все эти женщины [в касте золотых] должны быть общими всем мужчинам [своего разряда]; ни одна не должна жить частно ни с одним; также общими должны быть и дети, чтобы

и дитя не знало своего родителя и родитель дитяти... Взяв детей от золотых стражи будут относить их в огороженное место, к кормилицам, живущим отдельно... и употреблять всё искусство, чтобы ни одна из матерей не узнала своего дитяти».³

Легко заметить, однако, что решение, предлагаемое Платоном, не снимает проблемы. Он хочет учредить четыре касты – но закрывает глаза на то, что врождённое неравенство будет ощущаться людьми и внутри каждой касты, будет так же порождать ревность, соперничество, зависть, ненависть, раздор, как оно порождало их, допустим, три века спустя в римском обществе, расслоившемся как раз на четыре касты-сословия: рабов, свободных, всадников, сенаторов. (СТН-28)

В отличие от *уравнителей, состязатели*, как правило, не сочиняют модели идеальных государств. Они описывают те, что известны истории, и сравнивают их между собой, используя шкалу «лучше–хуже». Ученик Платона, Аристотель, так же хорошо знал о феномене врождённого неравенства людей. И в своей книге «Политика» он предложил кратчайшую формулу-рекомендацию, не утратившую своей заманчивой ясности и в наши дни:

«Кто может мыслить и предусматривать, тот естественно властитель и господин; а кто только своим телесным трудом в состоянии осуществлять его мысль на деле, тот стоит к нему в подчинённом положении».⁴

При этом Аристотель отнюдь не обольщался и знал, что в реальной жизни, сплошь и рядом, в повелевающие попадут люди, способные видеть только кратчайшие пути утоления собственных страстей. Ревность и зависть, порождаемые врождённым неравенством, он считал главным источником смут и мятежей. «Одни, стремясь к равенству, возмущаются, когда думают, что несмотря на своё равенство с людьми, которые изобилуют во всём, они имеют меньше их; другие, желая неравенства и превосходства, возмущаются тогда, когда замечают, что, при неравенстве своём с другими, они не имеют сравнительно с ними больших прав, но лишь равные или даже ещё меньшие».⁵

За два с лишним тысячелетия антиномия не истаяла, борьба между тезисом и антитезисом только ожесточилась.

Что характерно для взгляда уравнителей на природу человека?

Прежде всего, они верят в то, что человек по своей природе добр и разумен; что его способность к принятию правильных решений и к использованию своей свободы без ущерба для других – безгранична; что врождённое неравенство между людьми малосущественно и может быть легко компенсировано социальными программами помощи в образовании; и что все страдания и зло мира определя-

ются обстоятельствами – неправильной социальной системой, пред-
рассудками, отсутствием всеобщего образования, – а потому устра-
нимы.

В отличие от них, состязатели верят, что сложность социаль-
ного устройства общества намного превышает способность индиви-
дуального ума к принятию правильных политических решений, а по-
этому следует ценить традиции, веру, мораль как силы, связующие
людей в единое целое; что эгоизм остается неистребимым свойст-
вом человека, поэтому надо применяться к нему при формировании
общества, а не пытаться искоренить; что *неравенство человеческих
способностей исключает царство абсолютного равенства и даже
делает его в принципе несправедливым.* (СТН-24)

«Только разумное социалистическое планирование может спасти
нас от губительной неуправляемости рынка», – говорят одни. И мы
легко узнаём в них сторонников уравнилельного взгляда на челове-
ческие возможности. «Сложность и многообразие современной эконо-
мической жизни таковы, что никакой гений, никакой компьютер не в
силах овладеть информацией, необходимой для принятия оптималь-
ных решений, – отвечают им состязатели. – Только изучение зако-
нов рыночной экономики и подчинение им сможет избавить расту-
щее население мира от голода и нищеты.»

«Неравенство материальное, так же как неравенство интеллек-
туальное, причиняет людям огромные страдания и не имеет ника-
кого морального оправдания, ибо люди по природе равны, – считают
уравнители. – Если один имеет больше или знает больше, значит
нужно помочь другому обрести такие же материальные блага и такие
же знания. Нужно заставить богатых и образованных делиться со
всеми своими богатствами и знаниями.» «Люди неравны по своим спо-
собностям, талантам и энергии, – утверждают состязатели. – Уравнять
их можно только насильственно, ценой отнятия свободы и с катастро-
фическими последствиями для общества, которое лишится плодов
деятельности наиболее активных своих членов.»

«Человек по своей природе добр и полон любви к ближнему, –
считают уравнители. —Если он совершает жестокие поступки, если
нападает на других, значит он был чем-то доведен до отчаянья.
Нужно устранять социальные причины отчаяния, а не увеличивать
число тюрем и полицейских. Нужно устранять международные кон-
фликты путем переговоров, а не путем наращивания вооружений».
«Агрессивность является врожденным свойством человеческой натуры
и может прорваться сквозь любые наслоения цивилизованности, – ут-
верждают состязатели. – До тех пор пока существует государство,
оно будет состоять из управляющих и управляемых, в нём будет су-
ществовать социальное неравенство, которое наверняка будет приво-

дить кого-то в бешенство. Власть обязана вооруженной силой защищать подданных от индивидуальных вспышек агрессивности, то есть от преступников, и от массовых, то есть от бунтов и от нападений внешнего врага». (СТН-25-26)

Политические дебаты гремят в парламентах и конгрессах свободных стран, заполняют страницы газет и экраны телевизоров, перхлестывают в бары и гостиные частных домов, пролетают по пляжам и бульварам. Пока нет настоящей бури, мы только спорим – но спорим порой очень жесточно. И люди, не разделяющие наших политических убеждений, кажутся нам опасными недоумками.

«Каким идиотом надо быть, чтобы голосовать за Картера, Киннока, Дукакиса, Рабина, Клинтона, Гайдара!», – восклицают одни.

«Только одураченные болваны могут голосовать за Рейгана, Тэтчер, Буша, Бегина, Доула, Черномырдина!», – возражают другие.

Пока наш политический оппонент предстаёт перед нами лишь в виде безликих цифр избирательной статистики, нам легко объяснить его взгляды глупостью, бездушием, невежеством, корыстолюбием, коварством, продажностью, пассивностью. Хуже – когда мы обнаруживаем его в кругу близких друзей, родственников, сослуживцев. Мы смотрим на такого и впадаем в тоскливую растерянность. «Нет, не глуп, нет, знает историю и политику не хуже меня, нет, честен, нет, отзывчив, нет, энергичен и деятелен. В чём же дело? Почему все мои лучшие аргументы, все ярчайшие примеры, все логические построения не в силах пробить его упорства?»

Такие загадки ставят нас в тупик. Какое-то время мы пытаемся переубедить упрянца, навести мостики через расщелину. Но в конце концов устаем и оставляем попытки. Дружеские связи ослабевают, мы стараемся пореже встречаться за столом, пореже ходить в гости. А если несогласный с нами человек оказался нашим сослуживцем, при случае поспособствуем его увольнению.

Что действительно поражает – это устойчивость политических убеждений. Казалось бы, поток газетных новостей обрушивает на сознание каждого человека десятки и сотни событий, которые должны были бы в корне переворачивать наши представления, приводить к полной перемене взглядов – настолько порой они неожиданны и непредсказуемы. Но нет – каждый уверенно и спокойно сортирует их в отведенные ячейки, находит приемлемые истолкования, прицепляет друг к другу причинно-следственными крючками. Дайте одну и ту же кучу досок людям разного ремесла – и плотник выстроит вам из них сарай, столяр – буфет, а лодочник – шлюпку. Так и мы обращаемся с историческими фактами: строим из них привычную нам политическую интерпретацию.

Политическая история демократических стран во второй половине 20-го века тоже демонстрирует удивительную устойчивость

убеждений. Америка, Англия, Израиль независимо друг от друга пришли к разделу внутренних политических сил на две основные партии. В Германии, Италии, Франции, скандинавских странах число активных партий может быть больше, но и там очень редко можно видеть переход профессионального политика из одной партии в другую. Верховная власть достается то одной партии, то другой, но, как правило, за счет весьма небольшого перевеса в числе голосов. Израиль за 70 лет своего существования прошел через многие военные катаклизмы и потрясения, а распределение мест в Кнессете между Рабочей партией и Ликудом почти не менялось. Победа в политической борьбе часто даётся ничтожным перевесом голосов.

Как это может случиться? Откуда вырастает столь устойчивая система наших политических убеждений? Если ни логика, ни красноречие ораторов, ни язык фактов не могут поколебать её, не значит ли это, что корни её уходят куда-то очень глубоко? (СТН-22-23) Наличие двух устойчивых моделей политического мышления проявило себя на сегодняшний день настолько наглядно, что мы вправе задать себе ключевой вопрос:

ЧТО заставляет нас избрать ту или иную модель? КАКИЕ силы относят человека в лагерь уравнилелей? Какие – в лагерь состязателей? ГДЕ таится этот неизвестный науке ген, который определит характер наших политических пристрастий?

Если мы сумеем отыскать ответ на этот – казалось бы чисто теоретический – вопрос, результат может оказаться вполне ощутимым и практическим: ослабнет ожесточенность вражды между двумя лагерями. Честно и бескорыстно мыслящие люди в обоих станах смогут лучше понять природу своих разногласий. Многим будет нелегко расстаться с удобным объяснением: «мой противник – недалекий и корыстолюбивый идиот». Но если это произойдет, мы волей-неволей должны будем по-новому вслушиваться в аргументы наших оппонентов. И тогда, быть может, обратим внимание на пугающую историческую закономерность: пока ученики Руссо спорят с последователями Монтескье, к власти прорывается Робеспьер со своей гильотиной; чем ожесточеннее ведутся дебаты между сторонниками Столыпина и сторонниками Милюкова в Российской Думе, тем вернее и те, и другие приближают свой конец в подвалах большевистского Чека; чем красноречивее немецкие либералы разоблачают правительство Веймарской республики в Германии 1920-х, тем прочнее делается трамплин, с которого Гитлер прыгнет в кресло диктатора.

Разгадка этой зловещей повторяемости таится в том, что в аргументированных, артикулированных дебатах участие принимают только дальновзоркие. Только им свойственна способность к абстрактному мышлению, способность – по выражению Аристотеля – «пред-

видеть и предусматривать». Интеллектуальное возвышение над средним уровнем обычно воспринимается нами как знак принадлежности к дальновозрокому меньшинству. Однако, при всей остроте своего ума, при всей вооружённости знаниями, дальновозрокий человек не в силах понять страстей, которыми часто обуреваем близорукий. А Дантон, Сталин, Гитлер – понимают. Понимают – ибо они сами созревали в среде близорукого большинства. И знают, что легче всего в нём раздуть вечно глеющую, подозрительно-завистливую ненависть к дальновозроким.

Политические дебаты между людьми, искренне озабоченными судьбой своей страны, важны и полезны, но лишь до тех пор, пока мы сохраняем способность мгновенно прервать спор и встать плечом к плечу против оппонента, явившегося с такими «аргументами», как костер, топор, пуля, газовая камера. Американцы, конечно, могли не бояться, что к власти прорвется Луис Фаррахан, французы справедливо полагали, что Ле Пен никогда не доберётся до президентского кресла. Но демократии молодые, незрелые гораздо более уязвимы для возврата единоличной диктатуры или парткратии. Недавние победы коммунистов на выборах в странах бывшего коммунистического лагеря – яркое тому свидетельство.

Очень хотелось бы, чтобы дальновозрокие в демократических странах научились отличать честную убеждённость своих оппонентов от ловкой демагогии политических авантюристов. Будущий диктатор в период пролезания к власти через лазейки, оставленные конституцией, только *делает вид*, будто его оружие, как и у всех, – слово. На самом деле он презирает слова, логику, ораторское искусство, правила полемики. До тех пор пока политическая дискуссия ведётся по правилам, шансов на победу у него нет. Все вопиющие противоречия в его речах – не от глупости (как правило, он обладает хитрым, сильным и цепким умом), а именно от желания внести хаос, разрушить связь между словом и смыслом. Давать ему полное право на участие в политической жизни – это всё равно, что допустить к участию в боксёрском матче спортсмена, перчатки которого набиты не шерстью, а свинцовой картечью.

Большевики, нацисты, мусульманские фундаменталисты поначалу выглядели ничтожным меньшинством на политической арене. Главные партии видели опасность лишь друг в друге – и проглядели тех, кто взорвал незрелую демократию изнутри. Думается, если бы уравниатели и состязатели глубже осознавали онтологическую глубину своих расхождений, они не допустили бы подобной ошибки. Ведь по сути спор между двумя моделями политического мышления ведётся тысячелетия – значит он не может быть результатом случайности, злокозненности, неинформированности.

Только окинув мысленным взором *всю* историю философских споров, смог Иммануил Кант выдвинуть теорию четырёх антиномий – неразрешимых противоречий, свойственных любому человеческому разуму от рождения. Не исключено, что, взглядевшись в тысячелетия политических дебатов, мы обнаружим такой устойчивый раскол мнений, что объяснить его можно будет лишь наличием в нашем сознании пятой антиномии – политической. (СТН-26-28)

Глубинное противостояние между дальновзорким меньшинством и близоруким большинством будет подробно исследовано в Третьей части книги.

Глава 10. ЧЕТЫРЕ КОНТИНЕНТА ПЛАНЕТЫ ДУША

О Воле, составляющей сердцевину человеческой души, об этой вещи в себе, мы знаем так же мало, как о составе и внутренних процессах в планете Земля. Всё остаётся в сфере умозрительных догадок, не поддающихся проверке опытом. Но на поверхности, в сфере явлений, метафизическому телескопу удастся рассмотреть очертания четырёх континентов: разумное сознание, чувство красоты, чувство справедливости, устремлённость к сверхчувственному, то есть Божественному.

Разум, Красота, Справедливость, Вера – так будем впредь именовать эти континенты, таинственными нитями связанные с внутренней сущностью, с Волей.

На каждом из четырёх континентов царит свой компас, помогающий человеку ориентироваться в нём. На континенте Разум стрелка компаса скользит по шкале с пометками «верно, правильно, правдиво» и на противоположной стороне шкалы – «неверно, ошибка, ложь». Все невероятные достижения науки и техники, сельского хозяйства и космических исследований, медицины и электрификации произрастают именно на благодатной почве разумного сознания.

На континенте Красота шкала размечена указаниями «красиво, очаровательно, прекрасно», а с другой стороны – «некрасиво, уродливо, безобразно». В отличие от континента Разум, где все должны подчиняться указаниям стрелки компаса, здесь царит полный произвол, каждый человек готов поворачивать стрелку компаса рукой, чтобы она указывала на ту графу шкалы, которая отражает его отношение к увиденному или услышанному. Какое-то согласие ещё возможно по отношению к картинам природы, по отношению к внешности человека. Но там, где дело идёт о произведениях искусства, оценки варьируются бесконечно от восторга до презрения, и часто только время выносит свой окончательный приговор. На этом континенте взаимонепонимание между дальноруким и близоруким проявляет себя особенно наглядно. Множество прославленных художников, поэтов, композиторов получали признание только посмертно, а при жизни терпели равнодушие, нищету, поношения, изгнание. Но и сами они часто бывали нетерпимы друг к другу. Их взаимными поношениями можно заполнить тома.

Из чувства справедливости вырастают все формы государственного устройства, политическая борьба, учреждение письменных законов и написанных правил поведения. Стрелка компаса шатается между полюсами «Добро и зло». В городах этого континента были бы уместны статуи Юпитера, Марса, Фемиды. Но сегодня народы

предпочитают увековечивать в мраморе и бронзе своих политических и военных лидеров. Увы, следующие поколения часто утоляют свою жажду ниспровержения свергая эти статуи и распиливая их на куски.

Континент Веры уставлен храмами, церквями, статуями святых, иконами, колокольнями, минаретами. Соперничество между различными формами поклонения Божеству пронизывает всю историю цивилизации. Шкала компаса – от «высоко, Божественно» до «низко, происки дьявола». Религия дарует людям счастье сплочения, но и раздоры, порождаемые ею, могут быть самыми кровавыми.

Главная же проблема состоит в том, что большинство обитателей планеты Земля, не обладая телескопом метафизики, понятия не имеют о наличии четырёх континентов в собственной душе. Каждый с юных лет выбирает один из четырех компасов и, пристрастившись к нему, пытается обходиться им одним и применяет его там, где он утрачивает смысл. Рационалист с его шкалой «правильно-неправильно» будет отбрасывать всю символику религии и все произведения искусства, отклоняющиеся от реализма. Глубоко верующий человек откажется подчиняться государственным законам, противоречащим заветам пророков. Уверенность в компасе справедливости может привести к гражданской войне между людьми, по-разному видящими его шкалу. (Например, справедливо ли держать негров в рабстве или нет?)

Знаменитые философы прошлого, сочиняя проекты идеальных государств, предлагали весьма крутые способы преодоления хаоса, порождаемого различием компасов разных континентов. Платон был готов изгнать поэтов и драматургов, потому что в их произведениях богам Олимпа приписывалась готовность нарушать требования справедливости. В «Утопии» Томаса Мора была отменена частная собственность, запрещён выезд за границу, искусства ограничены десятками запретов, а общие трапезы граждан делались обязательными, совсем как в Камбодже под властью красных кхмеров. Многие черты коммунистических стран предвосхищены и в «Городе Солнца», сочинённом итальянским мыслителем Томмазо Кампанеллой.

Четырём континентам души нелегко поддерживать мир и согласие между собой. Каждый стремится навязать свой компас другим. И эти внутренние конфликты прорываются всемирными катаклизмами в истории человеческой цивилизации. С четвёртого века по девятнадцатый мы видим явное доминирование континента Веры, окрашенное бесчисленными войнами, бунтами и случаями массового террора. Ни одно государство не могло выстроить пирамиду власти, в которой церковь не оказывалась бы на самом верху. В ней

могли происходить внутренние расколы и смуты, но её главенствующая роль не подвергалась сомнению.

Начиная с века девятнадцатого континент Разум стал решительно теснить и ограничивать доминирование континента Веры. Сегодня оно остаётся не поколебленным только в мусульманских странах. Остальные тем или иным способом пытаются следовать критериям Разума и Справедливости. И у нас нет гарантии, что эти новые верховоды не дойдут в какой-то момент до новых крестовых походов и инквизиции. Буквально на днях американский министр иностранных дел заявил, что американские войска остаются в Ираке вопреки требованию иракского правительства вывести их, потому что они представляют там «силы добра». Хорошо вооружённые силы Разума и Добра – вот, оказывается, что необходимо для установления справедливого мира на Земле.

Всё сказанное в предыдущих главах о науке метафизике и её телескопе можно сформулировать в нескольких постулатах. Взяв за основу Кантовскую теорию познания, отделившую явление от являющегося, от вещи в себе, а также развивающее эту теорию учение Шопенгауэра о вещи в себе как воле, мы, путем тщательных наблюдений за хаосом человеческой жизни, приходим к убеждению, что новую внутреннюю связь и смысл этому хаосу придадут следующие положения:

1. На основании присущей каждому человеку способности суждения о добром и злом, нашу волю следует признать обладающей свойством свободы.
2. На основании внутреннего единства вещи в себе, свойство свободы следует мыслить присущим любой воле.
3. Воля в природе объективируется на различных уровнях свободы.
4. Наша воля обладает некоторой способностью различать уровень свободы воли не-Я по принципу выше-ниже.
5. С гораздо большей непосредственностью воля Я различает расширение или сужение границ собственной свободы: знаком сужения для нее всегда служит чувство неудовольствия, страдания, знаком расширения – чувство удовлетворения, блаженства.
6. Никакие достигнутые границы не могут удовлетворить и уничтожить главнейшего и единственного устремления нашей воли – осуществлять свою свободу в процессе преодоления воли не-Я, расширять границы царства я-могу.
7. Процесс осуществления свободы возможен в любом направлении, о котором представляющая способность скажет нашему Я, что оно само, действуя без всякого принуждения

извне, могло бы здесь, преодолев очередную волю не-Я, обрести новые возможности к расширению своей свободы.

8. Врожденный уровень свободы воли является неодинаковым для различных индивидуумов.
9. Доступные нашему наблюдению возрастания и затухания энергии осуществления свободы в жизни одного и того же индивидуума неразрывно связаны с упрочнением или ослаблением системы его представлений о собственной свободе в данном действии, о надежде на преодоление и о возможном обретении.
10. Неравенство энергий осуществления, наблюдаемое нами из неравенства результатов, достигаемых различными людьми в достижении одной и той же формы обретения (при равных обстоятельствах), оказывается объяснимым только из врожденного неравенства свободы их воли. (ПМ-91-92)

Часть вторая

ЯЗЫКОМ МЕТАФИЗИКИ – О СТРАСТЯХ ДУШИ

Глава 11. ГОРДОСТЬ И СТЫД, БЫТЬ И КАЗАТЬСЯ

Даже в наш безбожный век нет, кажется, человека, который не знал бы библейской легенды о грехопадении. Но спросите любого из нас, даже того, кто своими глазами прочел Книгу Бытия: что же произошло между Адамом и Евой под Древом познания? За что Бог так прогневался на них и изгнал из рая? И девять из десяти с уверенностью ответят: как «за что?» Ева поддалась искушению змия, соблазнила Адама и они согрешили, вкусили запретного плода, то есть совокупились. Причем даже искренне верующие люди очень удивляются, когда им говоришь, что подобную историю они могли вычитать разве что в пушкинской «Гавриилиаде», а в Библии нет ничего похожего. Там написано черным по белому:

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю...» (Быт. 1.27,28).

Размножаться же они могли лишь тем же способом, что и все прочие живые твари, и Бог не видел в этом ничего плохого. Нет, легенда, исполненная глубокого метафизического смысла, связывает появление собственно человека, его отделение от всех прочих созданий Божьих именно с тем моментом, когда он познал нечто неизвестное никому из животных – *стыд*, когда осознал себя, то есть свою волю, чем-то отличным от воли низших уровней своего тела.

«И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт. 3.7).

То, что человек, будучи с ног до головы созданием Бога, вкусил от Древа познания добра и зла *сам*, то есть явил свободу, то, что он в тот же момент испытал стыд и захотел прикрыть свою наготу, – все это в поэтической форме передает нам представление о неразрывной связи между свободой человека, его осознанием добра и зла и способностью испытывать стыд. Свобода, явленная человеком в непослушании, оказалась такова, что он смог приблизиться к Богу, ибо научился отличать добро от зла, то есть опять же – свободу от несвободы, и через это узнал, что материальная основа его существа, тело, есть главный источник несвободы, – и устыдился его. По внешним признакам появления стыда, по надетым «опоясаниям» Бог немедленно

узнал, что создания его поели плодов с запретного Древа и знают теперь разницу между добром и злом. Самовольство, проявление недоступной другим существам свободы – вот, что было первородным грехом, за который вынуждены расплачиваться все потомки Адама, но который и возвысил их, ибо оказалось, что свобода человека соизмерима свободе Божественной. («Стали как Боги, знающие добро и зло».) (ПМ-115-116)

История развития человеческой жизни от дикости к цивилизации показывает нам, что полудикая человек в разных частях света всегда начинал прикрывать свое тело в том месте, где животная воля представлялась ему самой мощной, а следовательно, его собственная – самой беспомощной; ибо здесь, в паху, обнаруживал он главный источник своей несвободы от тела. Путы, цепи и условности цивилизации (в том числе, даже обычай ходить одетыми) вызывали уже столько нареканий со стороны проповедников первобытной простоты, нудистских сект и буколических философов, что естественный (то есть голый) человек, казалось бы, давно должен был воцариться повсюду, ибо, с точки зрения разума и пользы, одежда в теплую погоду – это только лишняя обуза. Однако, вместо этого, мы видим, что цивилизирующееся человечество всюду, даже в жарких странах, поспешно и без лишних слов одевается. Почему? Да так – неловко как-то без «листвя смокового».

Как всякая боль, боль стыда связана с обнаружением нашей волей своей несвободы. В чем бы и на каком бы уровне она ни проявилась (струсил, сподличал, утратил любовь, забыл текст роли, попал впросак, не сдал экзамен, ударил мимо ворот), характер переживания будет один и тот же: стыд. Стыд наготы, несмотря на очевидный исторический приоритет, сейчас лишь частный случай. Развитие общественных форм жизни непременно включает в себя развитие представлений о том, что стыдно, то есть о некоем среднем уровне свободы, приличествующем человеку. Эти же представления приводят и к обнаружению неравенства между людьми: наиболее свободные от страха образуют военную знать, наиболее свободные от всех плотских начал – знать жреческую. Постепенно общество расслаивается все больше, и в каждой касте отстаиваются свои представления о постыдном, то есть о требуемом уровне свободы. Но какова бы ни была эта разница, суть стыда во всех слоях и классах одна и та же – открывшаяся несвобода, не-могу. Наслаждение же гордости – это всегда следствие неопровержимо доказанной свободы. (ПМ-116-117)

Соответственно стыду и гордости людское презрение или восхищение также относится только к обнаружениям свободы, поэтому они столь часто могут идти вразрез с установленными нормами или, по крайней мере, помимо них. Так, мы можем в душе рукопле-

скать смелости грабителя, ловкости пройдохи, искусности соблазнителя, достигших успеха; и в то же время считать ничтожеством человека абсолютно честного, порядочного, не совершившего ни одного дурного поступка, ибо нам сдается, что он блюдет все заповеди не из внутренней убежденности, а только из страха возмездия или неудачи, то есть по слабости, по несвободе. Один раскаявшийся грешник потому дороже Небесам, чем сто праведников, что уж в его-то свободе грешить сомневаться не приходится – он доказал ее всем своим бурным прошлым. Но, с другой стороны, ничто не вызывает в людях такого преклонения, как праведность, испытанная всеми соблазнами и преодолевшая их, – в ней всякий видит высочайший уровень свободы и либо, обливаясь слезами умиления, стремится приблизиться к нему, либо, скрежеща зубами от ненависти, пытается убить носителя его, чтобы не мучиться сознанием своей несвободы, которую он перед лицом праведного ощущает слишком ясно.

Способность к стыду, отделившую человека от животного, безусловно можно считать общечеловеческим свойством (даже отпетый негодяй может чего-то стыдиться – например, провала очередной подлости). Но существует одно очень важное различие в характере этого чувства, а именно: стыжусь я перед самим собой или перед другими. Множество людей обеспокоены только тем, чтобы об их гнусностях никто не знал, а то, что именуется голосом совести, звучит в них не громче комариного писка. Они вступают в негласный сговор поклядистости между собой, закрывают глаза на слабости друг друга и даже радуются им как собственному оправданию, и ведут более или менее сносную жизнь, не пропуская в свое сознание ничего, что могло бы разоблачить их, измучить стыдом, то есть открыть им их несвободу, неспособность достичь тех нравственных высот, которые они признают на словах. И есть другой способ внутреннего проживания, открытый каждому человеку, – непрерывный и беспристрастный суд над собой, «процесс», как называл его Кафка. Даже лучшие наставники и обличители пороков не могут поднять человека на такую высоту, на какую поднимает добровольное подчинение себя невыраженному, не сформулированному, и тем не менее неумолимому нравственному Закону.

«Если посмотреть на это как следует, то обвиняемые действительно прекрасны, – говорит адвокат, объясняя Иосифу К. пристрастие своей служанки ко всем, у кого есть Процесс. – Может быть, эта красота заключается в их поведении и оно накладывает на них печать красоты».¹ Оттого что Закон находится не снаружи, а внутри нас, он превращается в неусыпного стража, следящего за нами с утра до вечера, в «привратника», обмануть или укрыться от которого невозможно. В добровольном подчинении себя Закону следует усматривать наивысший акт свободы, открытый всякому человеку, каков бы

ни был врожденный уровень свободы его воли. То, что путь этот связан с непрерывными нравственными муками самообвинения и то, что он всегда бесконечен, и породило в свое время легенду о первородном грехе (должна же быть какая-то вина, за которую Бог так наказал нас), а затем – легенду об искуплении (должен же быть этому когда-нибудь конец).

Подытожив эти рассуждения, можно сказать, что испытываемые стыд и гордость, а соответственно этому, презрение или восхищение других, связаны только с проявленной свободой, в чем бы она ни выражалась и куда бы ни направлялась, – с ее *расширением* в мире явлений, в преодолении границ я-могу; та же разновидность стыда, которая названа угрызениями совести, которая формирует представление о безнравственном, грешном, всегда есть результат отклонения от того, что смутно угадывается нами как путь *возрастания* свободы, то есть от расширения я-могу вне мира явлений, в направлении трансцендентальном. (ПМ-118)

В жизни наша воля оказывается между мучительным выбором – расширения или возрастания, – и далеко не у всякого из нас достанет сил души предпочесть второе. Противоречие обнаруживается также и в том, что то, чем раньше гордился, вызывает теперь раскаяние, и наоборот, то, чего требует нравственность или закон Божий, начинает казаться мучительным и постыдным ограничением свободы. Поистине:

«Он рвется в бой и любит брать преграды,
И видит цель, манящую, вдали,
И век ему с душой не будет сладу,
Что б эти поиски ни принесли».²

Знаменитый чеховский афоризм, перечисляющий, что должно быть прекрасно у человека («и душа, и тело, и одежда, и мысли»), оказался таким популярным и затасканным скорее всего потому, что он вполне точно передает общее современное представление о красоте, уме и сердце как высших достоинствах человека.

Но то, что ценится среди людей, немедленно оказывается привлекательным и для нашей воли, ибо она видит здесь возможное обретение и в своей ненасытности спрашивает себя: а не могу ли я получить еще и *это*? А так как настоящие красота, ум и сердце ценятся не зря, ибо они – величайшая редкость, то наша воля, в своем безудержном стремлении обрести эти ценности, сплошь да рядом пускается окольными путями: красивая фигура создается не занятиями спортом и отказом от обжорства, а ватой в пиджаках и туго затянутыми корсетами; мы не тратим время на то, чтобы набираться ума-разума, но скоренько заучиваем две-три чужие мысли и щего-

ляем ими при случае; наконец, долгий труд нравственного самосовершенствования заменяем тем, что не забываем посылать поздравительные открытки родственникам или переводим через дорогу слепых старушек. Ведь *быть* так трудно, а *казаться* так легко, разница же между тем и другим не принципиальна для воли – ибо обретение, которого она жаждет, всего лишь представление, и что за беда, если оно будет не очень прочным?

Казалось бы, первое из перечисленных достоинств, *красота*, как врожденное свойство должно было бы меньше всего волновать нашу волю – ну, что можно поделывать, если родился уродом? На самом же деле ничто не является таким всеобщим человеческим устремлением, как забота о внешности. Бусы, уборы из перьев, раскраска лиц, татуировка – даже дикие племена уделяют этим вещам массу внимания. Цивилизация же породила целые отрасли промышленности, призванные удовлетворять общечеловеческую страсть изменять свой облик там, где это возможно: в одежде, обуви, прическе, цвете губ, длине ресниц и т.п. Однако самым примечательным и до сих пор не объясненным явлением следует признать Ее Величество Моду – поразительную власть ее над всеми, непостижимые капризы, метания то в одну, то в другую сторону, которые никому не под силу ни направлять, ни предвидеть, и наконец, огромную армию ее служителей, жрецов и жриц. (ПМ-119)

Почему тот новый фасон становится модным, а этот нет? Почему мода возникает, царит и затем уходит? Кто они, эти скрытые диктаторы моды, которые первыми надевают на себя нечто неслыханное, ни с чем несообразное, терпят даже насмешки и преследования, но через несколько лет непостижимым образом заставляют и насмешников, и преследователей надеть то же самое? Все перипетии борьбы в этой сфере, все, что мы видим своими глазами или слышим со стороны, приводит нас к убеждению, что массовая мода всегда следует за тем, в ком большинство признает наивысшую свободу, а это свободное меньшинство всегда стремится выделиться из общей массы любыми средствами, в том числе и самым наглядным – внешним обликом.

Особенно нетерпелива и непосредственна в этом стремлении юность. По тому, как выглядит молодежь, можно всегда безошибочно определить, кто в данный момент является ее кумиром, то есть воплощением свободы – эстрадно-экранная звезда, совершающая буквально революцию в парикмахерском деле («бабетты», «битлзлы»), стилизованный ковбой, вынуждающий швейную промышленность перестраивать производство для выпуска джинсов и клетчатых рубашек, или настоящий блатняга, заставивший всех мальчишек в России 1940 – 50-х мечтать о тельняшке, клешах, кепке-лондонке, татуировке и золотом зубе.

Инстинктивная неприязнь старшего поколения к модничающей молодежи, к «стилягам», кажется нелепой лишь при поверхностном взгляде; по сути же своей она вполне естественна, ибо родители абсолютно правильно ощущают в этом нежелании детей походить на них даже внешне знак неуважения – непризнания за ними свободы. И там, где права личности охраняются только до тех пор, пока она неотличима от всех прочих личностей, там эта неприязнь (суть которой все та же ненависть к проявлениям свободы, нам недоступным) выливается всегда в открытое насилие: Руссо забрасывали камнями за персидский костюм, в большевистской России могли избить за галстук или за узкие брюки, в Китае во время культурной революции девушкам на улице обрезали косы, и тому подобное.

Но как бы ни была остра неприязнь, страсть казаться не хуже других (то есть не менее свободным), дающая моде ее диктаторскую власть, так велика, что рано или поздно отец, когда-то поровний своего сына за «стиляжничество», сам скрепя сердце надевает ботинки с острым носком, короткое пальто, брюки-дудочки, стрижется вместо «полубокса» под «канадскую полку» и, несколько смущенный, но и довольный, выходит на улицу, и что же он видит? Сын его, уже в тупоносных ботинках, в какой-то кургузой шляпчонке почти без полей, из-под которой до плеч свисают волосы, а то и в бороде, по-прежнему стыдится идти с ним рядом – и все начинается сначала.

Человек может являть себя другим людям во внешнем облике, в слове или в поступке. Внешность, несмотря на общепризнанную второстепенность свою, так занимает нас потому, что в ней мы раскрываемся мгновенно множеству людей – любому встречному. Явление в слове требует уже времени для общения и каких-то усилий, но это не останавливает нас – лишь считанные оригиналы-молчалники отказываются от тех поистине безграничных возможностей казаться, которые таит в себе человеческая способность к словесному общению. Никакие достоинства не могут обеспечить человеку такого успеха в обществе, какой доставит хорошо подвешенный язык.

Правда, древние софисты, средневековые схоласты, современные политические демагоги и псевдоученые всех времен и народов протитуют словом так нагло и безудержно, что инстинктивное недоверие народа ко всякому красноречию следует признать вполне заслуженным и справедливым. Даже слово, отмеченное светом настоящего разума, пережившее всю злободневную трескотню, сохранившее свое значение для будущих поколений, делается впоследствии достоянием неугомонных болтунов и цитатчиков, ширмой и охранной грамотой для их ничтожеств, темой исследований и диссертаций, в которых великий дух поэта или философа будет выглядеть таким же куцым и заурядным, как дух самого исследователя. (ПМ-120-121)

Не только в сферах интеллектуальной деятельности – в быту, в частной жизни слово для нас остается незаменимым подспорьем в важнейшем из дел – в искусстве казаться. Заучив несколько шуток и анекдотов, можно прослыть заправским остряком, запомнив фамилии двух-трех писателей и артистов – культурным и образованным, во время выраженное сострадание к жертвам далеких войн создаст репутацию добросердечного человека, и так до бесконечности. Быть может, именно соблазнительная легкость этого способа порождает известное свойство изменчивости языка, ибо постепенно слова и обороты речи затираются, утрачивают свою первоначальную свежесть и обесцениваются. «Веки налились свинцом», «не чуёт под собою ног», – как прекрасно это было сказано когда-то в первый раз; сейчас же нам слышится здесь лишь расхожий оборот, в котором никто не усмотрит проявления художественной одаренности. Развитие и изменение любого языка происходит по законам аналогичным законам изменения моды: привередливое меньшинство, наиболее чуткое к эстетике и смыслу речи (как в моде – наиболее чуткое к цвету и линии одежды), стремится явить свою неповторимость в слове путем изобретения все новых образов, новых созвучий, наиболее удачные из них подхватываются окружающими, разносятся все шире и, наконец, делаются всеобщим достоянием.

Однако не следует думать, будто тем самым мода или язык диктуются толпе сверху; процесс здесь гораздо сложнее, он напоминает взаимосвязь актера и публики в театре. Только если в театре признание выражается аплодисментами, то здесь – самим актом принятия нового фасона, нового словосочетания в языке. Таким образом весь народ участвует в создании языка, как актер и публика – в создании спектакля. Как это ни парадоксально, но появление национальных литературных гениев часто приостанавливает развитие языка. Народное чувство как бы угадывает в Данте, Шекспире, Пушкине вершину возможной свободы, явленной в слове, и бережно охраняет языковые сокровища, таящиеся в их творчестве. Появляются новые слова, новые сочетания, но основа сохраняется, что видно хотя бы из того факта, что современный итальянец, англичанин или русский читает и понимает своих великих поэтов (а, например, Державина уже с трудом).

«Говорит, как пишет», «заслушаться можно», «разливается соловьем», – увы, каждой из этих одобрительных присказок, выражающих восхищение даром красноречия, можно подобрать противоположную, исполненную презрения к попыткам казаться при помощи слов: «смел только на словах», «мягко стелет, да жестко спать», «язык без костей» и пр. Поступок! – вот чего требуют все от человека. Доказать на деле!

Ну, что ж, поговорим и мы о делах и поступках, но заодно и об искусстве казаться при помощи них.

Честный поступок. Смелый. Добрый. Благородный. Оригинальный. Казалось бы, уж здесь-то царит полная ясность, дела человека являют нам его свободу предельно наглядным образом. Однако всякий знает, что это лишь иллюзия. «Он поступил смело, но бесчестно», – говорим мы. Или: «честно, но жестоко». Или: «добро, но неоригинально». Но и в таких двузначных оценках может быть ошибка до тех пор, пока мы судим только по самому поступку, без учета внутренних мотивов и побуждений. Человек истратил тысячу рублей на благотворительном базаре. Что это: доброта? рисовка? беспечность? Человек обличает себя перед другими. Может быть, ему ненавистна ложь как таковая, но может быть, он просто боится разоблачения, а может, недостаточно умен, чтобы складно соврать, а может, надеется на снисхождение за свою честность.

Вся беда в том, что с того момента, как люди признали в каком бы то ни было человеческом проявлении свидетельство о свободе, это проявление немедленно может сделаться предметом подражания и спекуляций для кого угодно. Поэтому над достойным поступком, совершенным на глазах у других людей, всегда тяготеет подозрение в неискренности, в стремлении казаться.

Требование скромности не всегда (как утверждает Шопенгауэр) является требованием ничтожеств к людям достойным замалчивать и скрывать свои заслуги; настоящая скромность действительно придает поступку особую ценность, ибо в ней мы видим доказательство того, что человек больше стремился к тому, чтобы осуществить свою свободу на деле, то есть быть, а не добивался лишь почестей и похвал, то есть не имел в виду казаться. (ПМ-122-123)

Скромность?! – но ведь и она может стать предметом тщеславия. Даже если поступок совершается втайне, если я выполняю евангельскую заповедь о делании добра так, чтобы моя «левая рука не знала, что делает правая» (Матф., 6.3), и молюсь не в храме, а наедине с собой, сам-то я знаю, **как я хорош**, – и снова начинаю подозревать себя в том, что я не таков, а лишь стараюсь казаться таковым хотя бы самому себе. Как заметил Ницше: «Стыдиться своей безнравственности – это первая ступень лестницы, на вершине которой будешь стыдиться своей нравственности».³

Получается какой-то замкнутый круг, дурная бесконечность, из которой поистине не видно никакого выхода: любая форма довольства собой, своими поступками, тут же обесценивает их, ибо возводит на них подозрение в неподлинности, лишает моральной ценности (какая же ценность может быть в том, что сделано для собственного довольства?) Пытаясь вырваться из этого заколдованного круга, человеческое сознание неизбежно приходит к идее непрерывного и безог-

лядного покаяния как единственной форме самого подлинного бытия, что весьма наглядно выражено как в идеях христианства, так и в экзистенциальной этике (в «Падении» Камю – кающийся судья). Осознание этой истины также, быть может, явилось переломным моментом в судьбах великих гордецов, которые в середине жизненного пути вдруг бросали все дела, дававшие пищу их гордости, и, как Боттичелли, Гоголь или Толстой, ступали на этот путь и каялись, отрекались от своих творений, проклинали себя, ибо только на этом пути им светила надежда перестать казаться и обрести, наконец, вожделенное бытие.

С другой стороны, это же самое требование подлинности, направленное не на себя, а на других, приводит к тому, что миллионы людей заурядных отдают предпочтение, то есть готовы поклоняться и подражать таким проявлениям свободы, которые никак нельзя назвать высокодуховными, но в которых зато притворяться, казаться нет никакой возможности: атлет не может *притворяться*, будто он бросает копье дальше всех в мире, так же как полководец – будто он выигрывает сражения, богач – будто покупает что угодно на свои деньги, политик – будто достигает власти. Их воля во всех этих случаях являет свою свободу так безусловно, что перед этой наглядностью бледнеют туманные вершины нравственного или эстетического совершенства, столь доступного всяческому притворству и профанации. Каждый человек на собственном опыте знает, как легко обмануть или быть обманутым кажущейся добротой или красотой, поэтому он и требует от праведника чуда, а от художника – успеха, то есть чего-то исключительного в мире явлений: это единственный мир, в котором его представляющая способность воображает себя умеющей отличать *кажущееся от подлинного*, в действительности же отличающая лишь *общедоступное от непостижимого*. (ПМ-124)

Глава 12. ВЛАСТОЛЮБИЕ

– Где таится богатейшее царство свободы, которое могла бы я завоевать? – спрашивает томящаяся воля и слышит в ответ дьявольский шепоток:

– Не за горами, не за морями, а совсем близко, в рядом живущем человеке – нет ничего свободнее его.

– Но могу ли я быть *уверена* в победе?

– В окончательной – никогда. Покуда человек жив, воля его останется свободной, а значит, всегда будет оставаться, что отнять, сколько бы свободы ты у него уже ни отняла.

– Буду ли я сама *свободна* в достижении власти над ним?

– Как ни в чем другом. Никому не придет в голову требовать от тебя завоевания власти, ибо все втайне стремятся к тому же.

Предельная степень *свободы, надежды и обретения* – вот основа властолюбия как страсти, обеспечивающая ей неиссякаемую энергию осуществления. Поэтому самые свирепые и жестокие сцены трагикомедии, именуемой история человечества, всегда связаны с борьбой за власть. (ПМ-111)

Властолюбец всегда упивается властью как таковой, сколько бы он ни пытался оправдывать свои властолюбивые устремления какими-то благовидными целями. Перспективы же здесь поистине безграничны: власть можно распространять в ширину, то есть на максимально возможное число людей; если же обстоятельства поставят предел в этом направлении, немедленно начнется распространение как бы в глубину – усиление гнета, деспотизм семейный, феодально-помещичий или государственный. Крайне ограниченная способность представления мелкого или крупного тирана, требующая во что бы то ни стало наглядности обретаемого, вполне довольствуется зрелищем той свободы, которую он своей волей отнимает у угнетаемых, – именно она представляется ему расширением его собственной свободы; а так как ничто не может быть нагляднее, чем физические страдания или смерть того, кто находится в нашей власти, всякий тиран, как правило, и кончает этим, если его не остановит страх наказания или не отвлечет на себя новая жертва. (ПМ-82)

Наслаждение повелевать другими так велико именно потому, что даже самая тираническая власть не бывает абсолютно уверена в подчинении – здесь всегда присутствует вожденная смесь надежды-невероятности. С другой стороны, путь, лежащий перед властолюбцем, практически безграничен – достигнув каких-то пределов, препятствующих дальнейшему расширению его власти на других людей, он всегда может начать углублять свою власть над теми, кто уже подчинен ему. Это и есть самый опасный момент для подвластных – на нем следует остановиться подробнее.

Без власти не может существовать никакое общество, никакая воля Мы. Даже самые демократические формы правления нуждаются в людях, которым бы народное собрание могло передавать власть на время между своими съездами, сходками, парламентскими сессиями. Профессии «правитель» не учат в институтах – профессиональный политик всегда занимается своим делом по призванию, по страсти. Борьба за власть, являющаяся для его воли самой упоительной формой осуществления свободы, заполняет его жизнь целиком, независимо от того, где и при помощи чего он добивается власти: деньгами ли, речами, политическими махинациями, карабкается ли он по церковной, партийной или сословной лестнице. И до тех пор, пока он в гуще борьбы, пока стремится перещеголять прочих претендентов, он может демонстрировать всевозможные достоинства, даже совершать подвиги, может изображать человеколюбие, патриотизм, верность принципам, скромность и даже сам верить во все это. Но горе подвластным ему, если его страсть к осуществлению такой свободы вдруг по какой-то причине не сможет дальше протекать обычным порядком.

Самый разительный и наглядный пример этого – достижение политиком в государстве власти неограниченной и абсолютной.

Прирожденный властитель здесь оказывается в положении человека, у которого весь смысл жизни состоял в карабкании на гору и который, достигнув вершины, испытывает мучительную опустошенность, ибо воля его не видит больше вокруг себя объектов, на которых она могла бы явить свою свободу, – дальше подниматься некуда. Тогда-то он и превращается в чудовище, наводящее ужас либо на своих подданных, либо на соседние народы, либо и на тех, и на других. Воля его мечется в поисках хотя бы одного я-не-могу, на котором можно было бы осуществить свою свободу – и не находит.

Сначала тиран отправляется на войну и завоевывает все, что может. Завоевав все или упершись в безнадежно сильные воли других Мы, он обращает взоры внутрь собственного государства, и начинаются казни. Он казнит первым делом ближайших друзей и соратников вовсе не потому, что они, как он утверждает, устраивали заговор, но потому лишь, что воля их как наиболее свободная, возвышающаяся над прочими, первой попадает ему на глаза, соблазняет возможностью преодоления. Все, что таит в себе хоть тень свободы, привлекает его ненасытный взор и манит уничтожить. Слой за слоем снимает он вокруг себя самых активных и энергичных, уничтожает цвет нации, но все ему мало. «О, если бы у римского народа была одна голова, чтобы я мог отсечь ее одним ударом!» –

воскликает Калигула.¹ Уничтожив вокруг себя все свободное, окруженный расплывающимся раболепием, он начинает попирать обычаи, заточает в монастырь жен, убивает собственных детей и родителей, ибо законы Божеские и человеческие – это единственное, в чем ему еще видится вожаемое не-могу, которое можно было бы присоединить к царству я-могу, осуществив тем самым свободу, утолив ненадолго томящийся дух.

Когда читаешь летопись злодеяний любого из тиранов, невозможно представить себе, что это был такой же человек, как и все прочие, с головой, глазами и сердцем, способный размышлять, испытывать боль, надежду, сострадание; гораздо удобнее было бы считать, что он так и родился кровавым вампиром и уже в возрасте двух лет рубил кошкам хвосты. Но нет – все они родились нормальными детьми: и Нерон, и Генрих VIII, и Иван Грозный, и Павел Первый. Причем, в юности Генрих VIII искренне тянулся к просвещению, Иван Грозный демонстрировал ясность ума, энергию и смелость, а Павел Первый – такое чувствительное и нежное сердце, что по письмам к жене и любовнице его можно принять за Эмиля или Вертера, но никак не за будущего кровопийцу. Нерон же, взойшедший на трон семнадцати лет, в первые годы своего правления отменил самые тяжкие налоги, запрещал смертные исходы в гладиаторских боях, обожал ту самую мать, которую впоследствии так избрательно убивал, а когда ему приносили на подпись смертный приговор, восклицал: «О, если б я не умел писать!»²

То, во что все они превращались, достигнув полноты власти, было обусловлено отнюдь не врожденной злобой, а повседневной потребностью утолять томящийся дух – потребностью, сметавшей все представления о сострадании, человечности, религиозном долге. «Похоть господствования» – называл это человеческое свойство Блаженный Августин. В этом тончайшем определении выражена двумя словами не только тождественность властолюбия сладострастию (ибо и то, и другое – формы осуществления свободы), но и невозможность видеть во врожденности властолюбия гарантию оправдания: ведь и обычная похоть является врожденной, но это ничуть не оправдывает человека, целиком подчинившего себя ей.

Усобицы внутри государства, борьба за власть многих честолюбцев, в чем бы она ни выражалась – в военных стычках, финансовой конкуренции или идеологической грызне, – в конце концов оказываются столь тягостными для народных масс, жаждущих покоя и определенности, что желание крепкой централизованной власти становится всеобщим. («Приидите и владейте нами!») Поэтому тоталитаризм на первых порах встречает самую горячую поддержку всех жаждущих «порядка», и народ не без злорадства наблюдает,

как воцарившийся тиран расправляется со своими бывшими противниками, а затем и соратниками. («Все они хороши, все одним миром мазаны».)

Увы, эта радость оказывается недолгой.

Новый властитель, именно в силу того, что он остается человеком и дух его продолжает томиться, вскоре непременно погонит народ на войну или создаст такую систему угнетения, по сравнению с которой прежняя неразбериха покажется райской жизнью с милыми домашними неурядицами.

В отличие от тиранов прошлого, часто достигавших абсолютной власти по праву престолонаследия, большинству тиранов XX века приходилось для этого проделать трудный и опасный путь. Выберем среди них пятерых самых заметных – Сталина, Муссолини, Гитлера, Мао Цзэдуна, Кастро – и попробуем высветить черты характеров и судеб, общие для всех пятерых.

Их всех в детстве окружала деревенская жизнь, не обременённая сложностями культуры. Разве что один Муссолини мог почерпнуть от отца, пописывавшего статьи, какие-то абстрактные научные или политические идеи. Всем остальным пришлось впоследствии докапываться до ценностей цивилизации самостоятельно. В их окружении не было людей, от которых они могли бы заразиться благоговейным отношением к миру искусства, они оставались в этой сфере прагматиками до конца жизни.

Насилие, пронизывавшее их жизнь, казалось естественным, как дождь и ветер, холод и жара. Их били родители, они дрались со сверстниками, уличные драки взрослых тоже случались не раз, иногда и с поножовщиной. В окружающих горах и лесах скрывались бандиты, и их налёты на жителей долины часто оканчивались кровопролитием. Сострадание казалось знаком слабости, пустить его в душу было всё равно, что разоружаться перед лицом врага, крадущегося за углом.

Они вышли из простонародья, поэтому никогда не могли чувствовать себя равными в культурной среде. Это рождало в них завистливое раздражение, порой переходившее в ненависть. Зато они получили возможность глубже узнать и прочувствовать страсти близорукого большинства. Благодаря этому они получили огромное преимущество в политической борьбе с более культурными соперниками. Те только воображали, что они знают народную массу, народные чаяния. «Конечно, народ хочет того же, что и мы, – больше свободы!». И никто из дальновзорких не посмел вслух спросить: «А не включает ли это и чаяния свободы от нас?». (ПФ-444)

Все пятеро выросли воинственными безбожниками. В конце XIX века атеизм набирал силу, сам превращался в своего рода рели-

гию. Матери всех пятерых оставались преданы церковным традициям, зову свыше, но их сыновья очень рано начали богохульствовать, кощунствовать, смеяться над верующими. Страсть ниспровержения клокотала во всех пятерых с пугающей силой. Примечательно, что ни выбранные нами персонажи, ни другие заметные диктаторы 20-го века не получили воспитания в протестантской или иудейской среде. Католицизм, православие, конфуцианство учат, главным образом, правилам поведения, на живое религиозное чувство смотрят с опаской.

Властолюбец относится к Богу как к сопернику, с которым приходится делить власть над душами подданных. В истории религий это много раз реализовалось драматическим противоборством между церковными лидерами и монархами. Иоанн Златоуст против византийского императора, Фома Кентерберийский (Томас Бекет) против Генриха Второго в Англии, Томас Мор против Генриха Восьмого, митрополит Филипп против Ивана Грозного, патриарх Никон против Алексея Романова – все эти примеры показывают, как опасно было оставлять двоевластие в этой сфере. Церковным лидерам пришлось дорого расплачиваться за попытки отстоять право человека «отдавать Богу Богово». (ПФ-446)

Моральные ценности больше не санкционировались небесами, плоды с Древа познания Добра и Зла не попадали на полки магазинов, появляясь только на чёрном рынке. Официально хорошим объявлялось то, что помогало пролетариату, революции или высшей расе. В СССР у литературных редакторов была придумана формула для отказа в публикации новой рукописи: «В ней слишком много абстрактного гуманизма».

Гуманизм допускался, но только тот, который соглашался служить революционным задачам. Мораль, как и всё остальное в духовном мире, была лишь «продуктом классовой борьбы». Недаром Мао в молодости так увлёкся немецким философом Паульсеном, утверждавшим, что абсолютных моральных ценностей не существует, что каждая эпоха и каждое общество вырабатывают свои.³ Заповедь «не укради» выглядела ненужной там, где собственность была отменена. Заповедь «не убий» казалась смешотворной рядом с призывами расправляться без жалости с классовыми врагами. Бессмертие сводилось к строительству пирамид или к гибели на поле брани.

Все пятеро были обделены богатством, знатностью, чинами. И вдруг они обнаружили, что есть всем доступные золотые россыпи, называемые **знания**. Завладев ими, человек получал неожиданные возможности подниматься наверх. Все пятеро жадно припали к книжному роднику. На школьные занятия они тратили хорошо если 10% умственной энергии, и при их способностях, этого оказывалось

достаточно. Остальная энергия шла на беспорядочное заглывание сотен томов, содержавших сведения по самым разным предметам.

Эта добыча расширяла их кругозор и одновременно приносила престиж. В глазах окружающих они приобретали атрибуты, обычно характеризующие правящие слои. Мао в детстве даже научился срывать собственного отца цитатами из Конфуция. В открытых диспутах они часто выходили победителями, и это добавляло им самоуверенности. В среде, окружавшей их, не могло быть сильных оппонентов, которые легко ловили бы их на передергиваниях и ставили на место. Преподавать дисциплину мышления им было некому. От этого самоуверенность только возрастала, а любая демагогия срабатывала и становилась лёгким и любимым оружием. Критерием успеха становилось не «приблизиться к истине», а «заставить оппонента умолкнуть». Хоть в чём-то признать его правоту было равносильно признанию его победы в споре. Отстаивая неопровержимость своих суждений, они к любому сомнению относились как к опасному микробу, прячущемуся в пробирке с надписью «объективность».

В молодые годы все пятеро будущих тиранов при всех их талантах и неуёмной энергии, ненавидели работу по найму и делали всё возможное, чтобы избежать её. (ПФ-448)

Они предпочитали голодать, лишь бы иметь возможность заниматься только тем, что их интересовало. Сталин заходил в этом так далеко, что довёл до полного истощения и смерти молодую жену. Муссолини в какой-то момент согласился на преподавательскую работу, но часто прогуливал и очень скоро бросил. В Швейцарии он должен был изголодаться всерьёз, если набросился на двух туристок и вырвал у них бутерброды, которыми они собирались закусить. Гитлер предпочитал жить в ночлежке на крохотную пенсию за отца и редкие продажи акварелей, чем наняться куда-то. Молодой Мао, попав в армию, жил впроголодь, но отказывался сам ходить за водой к дальнему колодцу, нанимал для этого других солдат. Кастро, закончив университет, год числился адвокатом в Гаване, но нет сведений, что он что-то заработал, – жил на чек, присылаемый отцом.⁴

У человека, как правило, есть два способа заполучить то, что ему нужно: трудом или насилем. Фараоны, возглавившие коммунистические страны, с молодых лет чувствовали свою солидарность с теми, кто выбирал насилие. Им легко было находить общий язык с уголовниками, погромщиками, лесными и горными бандитами, хунвейбинами, деревенской гольтьбой. Оставалось формировать из них продотряды, или комитеты деревенской бедноты, или одевать в форму штурмовиков, чтобы запустить процесс ограбления труженника на полную мощь. Те, кто считает любой труд рабством, верят, что работа заключённых будет такой же эффективной, как

труд свободных, и не колеблясь отправляют миллионы в лагеря. Сталин дошёл до того, что создавал трудовые тюрьмы даже для учёных и изобретателей. (ПФ-450)

При тирании правящий слой обычно составляют люди, главным свойством которых должна быть способность к подчинению, то есть обладающие очень низким уровнем свободы, попросту говоря – ничтожества. Такие люди, распластаваясь перед вышестоящим, с лихвой отыгрываются на подчиненных, ибо уверены: любое беззаконие, жестокость, вымогательство, разврат будут прощаться им до тех пор, пока они выполняют главное условие – беспрекословное подчинение тем, кто наверху. И бедный народ, томясь под их игом, снова начинает мечтать о какой-то законности, о добром царе, о справедливости, брожение умов нарастает медленно и неуклонно, пока не выльется в победоносный бунт и все не начнется сначала: свобода для каждого бороться за власть, разброд, неразбериха и, наконец, «приидите и володейте».

Невольно начинаешь склоняться к мысли, что человеческая натура по ненасытности своей не способна править спокойно и мудро, и прекратить метания истории от тоталитаризма к анархии сможет только воцарение бесстрастной электронно-вычислительной машины. Однако, тут же немедленно возникает вопрос: «а кто будет составлять для нее программу?» На это остается только развести руками, и послушно разойтись каждому под сень той власти, которая ему досталась. (ПМ-112-115)

Глава 13. ГНЕВ И ЗЛОБА

Зло, причиняемое человеком человеку так многообразно, люди так изобретательны в причинении друг другу страданий, что метод исследования неизбежно должен на первых порах ограничить себя какой-то одной разновидностью его. Выделим же из сферы интересующих нас явлений (человеческих злодеяний) самый наглядный и отвратительный акт – убийство, и в каждом конкретном примере рассмотрим его связь лишь с одним из множества сопутствующих признаков: с внутренним чувством убивающего, то есть с силой его ненависти и с сознанием свободы своего поступка. Естественная трудность будет заключаться в том, что о внутреннем чувстве мы сможем судить лишь по проявлениям его – постараемся же выбирать из них лишь самые непосредственные и достоверные. Перед метафизикой в этом исследовании ставится задача ответить на два вопроса: 1) что движет человеком, убивающим себе подобного без всякой ненависти? 2) что такое необъяснимая, немотивированная ненависть одного человека к другому?

Раскроем еще раз книгу великого писателя, умевшего как никто другой изумляться тем сторонам жизни, которые всем прочим людям в силу привычки казались нормальными и само собой разумеющимися. Вспомним, чем кончается перебранка русских и французских часовых накануне Шенграбенского сражения:

«Сидоров подмигнул и, обращаясь к французам, начал часто-часто лепетать непонятные слова:

– Кари, мала, тафа, сафи, мутер, каска, – лопотал он, стараясь придать выразительные интонации своему голосу.

– Го, го, го! Ха-ха-ха-ха! Ух! Ух! – раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно через цепь общившегося и французам, что после этого нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам.

Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперед, и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки».¹

Отсутствие настоящей вражды между «врагами» предстает перед нами и в других сценах романа: в том же расстреле поджигателей, в интимной беседе Пьера с капитаном Рамбалем, в спасении полузамерзшего Рамбаля и его денщика Мореля русскими солдатами и пр. Мы абсолютно верим этим сценам и вслед за Толстым испытываем глубокое изумление, суть которого очень проста: «как может случиться, что во время войны мы старательно и изощренно

уничтожаем друг друга, не испытывая при этом никакой ненависти к своим жертвам?»

Даже свирепые войны двадцатого века, в которых искусственная ненависть с обеих сторон разжигалась с поразительным мастерством, дают возможность наблюдать этот необъяснимый парадокс: два человека в окопах, разделенные сотней метров земли, напрягающие все силы в сторону единственной цели – убить друг друга, через час после атаки могут мирно сидеть рядом, и один (победитель) будет протягивать другому (пленному) котелок с похлебкой. (ПМ-94)

На это, конечно, можно возразить, что история знает и войны варварских времен, когда не брали в плен, а уничтожали всех противников поголовно, что любая война – это цепная реакция, где убийство рождает ненависть, а ненависть – новое убийство, что и сейчас в рядах сражающихся с любой стороны есть немало людей, готовых истребить всех, говорящих на языке врага, – немцев, русских, китайцев, израильтян. И все же представляется очевидным, что если бы армии набирались исключительно из людей, исполненных ненависти, обуянных жадой убивать, то чудовище современной войны немедленно выродилось бы в петушинные стычки между несколькими шайками негодяев – туда им и дорога. Практически, если б в войне можно было участвовать или нет, если б человек имел свободу выбора, наступил бы вожделенный мир. Но мир не наступает, ибо человек несвободен здесь в предельно возможной степени – им движет воля Мы.

Можно привести и другие примеры, когда убийцей движет не собственная воля, а какая-то другая – приказ господина (воля сверху) или собственный голод (воля снизу) – но они так редки в наше время, что их следует иметь в виду только для полноты картины. Воля Мы – вот главное действующее лицо всех драм наших дней. Характерно при этом, что хотя мы и очень склонны оправдать убийцу, действовавшего не по своей воле, что-то внутри мешает нам, и невольное осуждение, проистекающее от сознания «что бы там ни было, а воля его была свободной», всегда имеет четкие градации – оно тем слабее, чем выше представляется нам уровень свободы воли повелевавшей. Когда же мы пытаемся перенести наше осуждение или оправдание на саму эту властную волю, когда, как Пьер, пытаемся понять, кто же убивает нас (не солдаты, не офицер, даже не маршал Даву), и доходим до осознания, что здесь действует нечто непостижимое, *это*, то в нас чаще всего рождается фатальное чувство, говорящее, что «сделать ничего нельзя, остается только ждать и терпеть». И мы с вами, дорогой читатель, тоже будем ждать и терпеть, когда эта сила подступит к нам вплотную; но пока этот момент не настал, пока нам оставлено время и свобода исследова-

ния, есть прямой смысл попытаться понять, что из себя представляет этот грозный убийца миллионов людей – воля Мы; ей-то и будет посвящена Третья часть этой книги. Пока же вернемся к себе самим, к воле Я и рассмотрим, в каких же ситуациях она сама, действуя без всякого принуждения извне, решается на убийство другого Я, к которому она так же, как и в первом случае – случае несвободе, – не испытывает никакой ненависти. (ПМ-95)

Без ненависти убивает грабитель; у политического убийцы можно даже допустить сочувствие к жертве; религиозный фанатик порой убивает с любовью. Спрашивается: что толкает этих людей на столь ужасный шаг? Ответов можно услышать великое множество, с подробным разбором каждого конкретного случая, с тончайшим выявлением мотивов. Недостаток у всех ответов будет один – отсутствие какой бы то ни было обобщенности, из-за которой все немотивированные убийства останутся необъяснимыми.

Хорошо, пусть обычным преступником движет жажда наживы. А что двигало мужичком, упоминаемым Достоевским в «Записках из мертвого дома», который, зарезав кого-то за обиду, пошел дальше резать подряд всех встречных и потом сам явился в полицию? А тем абсолютно вменяемым американцем (да и не одним уже), который ни с того, ни с сего залез на чердак и из винтовки с оптическим прицелом перестрелял около дюжины горожан, не сделавших ему ничего плохого?

Да, политического убийцу подсылают, подкупают, натравливают, да, там кипят страсти, идет борьба за власть, да, там не останавливаются ни перед чем, там царят волчьи законы – все это так. Но послушайте, что говорит профессиональный политический убийца Борис Савинков, исчадие ада, не лишенное дара беспристрастного наблюдения, подробно описавший себя и своих подручных в книге «Конь бледный»: один из них убивал из простейшей ненависти к богатым, другой (Каляев) – из отчаяния, что «не может любить, как велел Христос» (?), сам же автор признает, что политические мотивы были для него чем-то второстепенным, по сравнению со сладко-томительным чувством выслеживания жертвы, упоения тайным могуществом вершителя судеб, несказанной гордыней разрушителя всех Божеских и человеческих законов, душевной радостью, доставляемой ему зрелищем кровавой развязки. (ПМ-95-96)

Наконец, нет, кажется, таких преступлений, на которые не толкал бы людей религиозный фанатизм. Но точно ли фанатизм сам по себе является главным движущим мотивом? Вот жители Сихема просили мира у Израиля и с готовностью приняли обрезание, а сыновья Иакова все равно обманом ворвались к ним и перебили всех (Быт. 34). Вот испанцы Писарро в Америке жгут индейцев как еретиков, а когда те соглашаются креститься, душат их гарротой. А все

ревнители Бога до Авраама, чьи руки не были остановлены ангелом и таки вонзили нож в тело чада своего? Первобытная темнота, пред-рассудки? Но слово «предрассудок» – это всегда лишь фиговый листок, прикрывающий наше непонимание порывов человеческой души; метафизика не может им пользоваться и поэтому должна представить здесь свой сухой, холодный, бездушный, но зато самый исчерпывающий ответ:

В любом злодеянии, совершаемом человеком без чувства ненависти и без принуждения со стороны, им всегда движет стремление реализовать свободу своей воли за счет подавления – вплоть до уничтожения – воли ближнего.

То, что принято называть мотивом злодеяния, метафизика именует фактором обретения, и там, где злодеяние совершается «бескорыстно», где обычный причинно-следственный ум, будучи не в силах отыскать понятный мотив, впадает в растерянность, метафизическое столкновение по-прежнему оказывается непоколебленным. Когда смиренный американец в здравом уме поднимается с винтовкой в руках на чердак своего дома, он ясно сознает, что кроме позорной смерти или пожизненного заключения «обрести» он ничего не сможет; но томление духа достигло в нем уже такой мучительной остроты, что чудовищный поступок кажется ему единственной возможностью явить свою свободу, – и он совершает его, не имея никакой надежды избежать возмездия. Пусть в этом преступлении фактор обретения практически отсутствует (если не считать жуткой славы), зато два остальных – свобода и надежда присутствуют в предельно возможной степени, и оказываются достаточными, чтобы бросить человека навстречу верной и бессмысленной гибели.

Да и зачем ему жить, если его воля не видит вокруг никакой возможности к осуществлению свободы?

Дело не в том, что сам акт злодеяния обладает для людей какой-то привлекательностью – волю влечет к себе любое не-могу, которое кажется ей преодолимым. Но предоставьте себе истомленный бездействием дух, лишенный всякой возможности осуществлять свою свободу, раздражаемый сенсациями, зрелищами, воплями молвы, борьбой самолюбий вокруг, начисто заглушающими голос внутреннего свидетельства о свободе, видящими ее только во внешнем осуществлении. А рядом движутся и живут – кто, люди? Нет, рядом движутся существа, обладающие предельной свободой, это то манящее место границы царства я-могу, которое так легко прорвать – достаточно лишь нажать на спусковой крючок. И что образует границу не-могу? Сострадание? Страх расплаты? Но страх расплаты способен удерживать лишь слабые души. На душу страстную, то есть томящуюся острее других, он действует совершенно иначе –

взвинчивает до предела представление о свободе поступка. Ведь когда я сам совершаю что-то, за что могу поплатиться жизнью, не может оставаться никаких сомнений, что моя воля действует здесь максимально свободно. А представление о преодолении? – можно ли преодолеть противостоящую живую волю более наглядно, нежели физическим уничтожением? И, наконец, если к этой цепи добавится еще и возможность обретения – деньги для грабителя, исполнение воли Мы для политического экстремиста или Божественной воли для фанатика, – тогда энергия свободы достигнет такой величины, что удержать ее не сможет ни голос совести, ни страх возмездия, ни полиция, ни телохранители.

«Убийцу натравили! Подкупили!» – вечно твердят расследователи политических убийств. Но достаточно представить, какими вершителями судеб мира казались себе убийцы Линкольна (Вашингтон, 1865), Александра Второго (Санкт-Петербург, 1881), премьер-министра Столыпина (Киев, 1911), эрцгерцога Фердинанда (Сараево, 1914), немецкого посла Мирбаха (Москва, 1918) или шведского премьер-министра Пальме (Стокгольм, 1986), чтобы понять – они могли решиться на это и в одиночку, ибо их воля была соблазнена совершенно сказочной возможностью явить свою свободу всему миру. (ПМ-98)

Общепотребительное уже понятие «сладострастие убийства» выражает ничто иное, как высокий уровень энергии осуществления, соответствующий этому акту. И какими бы высокими мотивами ни прикрывался убийца, пусть даже пошедший на верную смерть ради выполнения «своего долга», строгая этика не может принимать это в качестве смягчающих обстоятельств, ибо убийство, совершаемое добровольно, всегда в первую очередь – утоление сладострастия собственной воли за счет другого, поэтому ни о каком оправдании здесь не может быть и речи.

До сих пор мы говорили только о «беззлойной» вражде – теперь перейдем к тому, что в человеческих отношениях именуется ненавистью, презрением, гневом, и попробуем разобраться, что они такое, с точки зрения метафизики.

За что же один человек может ненавидеть другого?

О, за тысячу вещей: за обиду, за причиненный вред, за оказанную помощь, за доброе слово, из ревности, из мести, из предрассудка, за богатство, за славу, за талант, за цвет кожи, за рост, за веру, за то, что двор у него шире, здоровье крепче, жена красивее, корова удойнее, за то, что у него есть ружье, а у меня – нет, и наконец, совершенно неизвестно за что. Вот эти-то вспышки ненависти слепой, необъяснимой, безотчетной и должны заинтересовать нас в первую очередь.

Однако, откуда же брать примеры ее? Быть может, из литературы? Вспомнить ненависть Яго к Отелло, кисловодского общества – к Печорину, молчалиных и фамусовых – к Чацкому?

Скептики скажут, что все это вымысел. Вспомнить случаи из собственной жизни? Того потертого, задавленного человечка на автобусной остановке, который, глядя на двух веселых, беззаботно напевающих цыганок, прошедших мимо, прошепел: «Правильно Гитлер делал, что уничтожал их»; или того крутого паренька, который на второй неделе знакомства, напившись, признался мне, что в первые дни ненавидел меня до исступления – за что? за модную прическу и разрезы на пиджаке; или вообще все море разлитое той ни с чем несоразмерной ненависти, которую выплескивали в СССР на людей кондукторы, контролеры, продавцы, официанты, буфетчицы и пр.?

Однако, все это бытовые случаи, личная жизнь – где гарантия беспристрастности?

Тогда, может быть, история? Но она описывает только внешнее, поступки людей, ничего не говоря об их переживаниях. Мы не можем перенестись на много веков назад и заглянуть в души тех, кто судил Сократа, Бруно, Спинозу, Гуса, Галилея, – лишь обрывочные сведения заставляют нас думать, что безотчетная ненависть таки клокотала в этих судилищах. Не можем мы оказаться и на площади перед дворцом Пилата и спросить любого из толпы: «Зачем ты кричишь «распни его!»?» И братьев, бросающих в ров Иосифа, не можем схватить за руку и спросить: «За что? неужели за пеструю одежду и за сны?» (Быт. 37.23). Якобинский террор, самосуд деревенской толпы над колдуньей, чернь, растерзавшая Грибоедова, – во всех этих событиях ненавидящий скрыт от нашего взора, спрятан в сплошной стене перекошенных лиц, его живое и страстное чувство подменено абстрактными объяснениями типа «борьба классов», «предрассудки», «натравливание». (ПМ-99)

Не имея возможности построить рассуждение на наглядной цепи достоверных примеров, мы должны попытаться выделить из всех случаев необъяснимой ненависти, известных нам из истории, литературы и житейского опыта, общие черты, вернее одну черту, выделить которую, честно говоря, большого труда не составляет – настолько она бросается в глаза: *немотивированная, беспричинная ненависть одного человека к другому всегда направлена «снизу вверх», от худшего – к лучшему, от менее способного – к более, сверху же вниз может идти столь же немотивированное и беспричинное презрение.*

Причем, ненавидящий ни за что не захочет признать безмотивность своего чувства и с жадностью будет хвататься за всякое оп-

равдание ему, уверять всех и себя, что ненавидит он за ересь, за эксплуатацию, за идеологические ошибки и т.п. Понятия «верха и низа», «лучшего и худшего», расшифровываемые обыденной речью как ненависть за ум, за справедливость, за яркость чувства, метафизика может свести к обобщающему определению:

Воля нашего Я может испытывать страдание несвободы за счет сравнения с волей другого Я, явившей большую свободу в каком-то из своих проявлений, и, как следствие этого, желание уничтожить или подавить эту чуждую волю – причину своего страдания.

Когда более свободная воля обнаруживает себя в явлении – в богатстве, власти, успехе, таланте, мы готовы удовлетвориться уничтожением явления – отнять богатство, власть, славу, возможность творчества; когда же все это отнято и мы смутно угадываем ***врожденное*** неравенство волей, мы не видим другой возможности избавиться себя от терзаний сравнительной несвободы, кроме уничтожения того, кто кажется нам свободнее нас, и ждем только предлога. Любой внутрисударственный катаклизм дает нам такие предлоги в избытке – тогда-то мы и показываем свое истинное лицо. (ПМ-100)

Теория классовой борьбы даже в моменты своего расцвета имела множество уязвимых мест, как, например, необъяснимый феномен войн религиозных, распекавших все классы общества сверху донизу; теперь же, после страшных и кровавых событий, происшедших в «бесклассовых» обществах Советского Союза, Китая, Камбоджи, Вьетнама, ей будет еще труднее сводить концы с концами. Социальное неравенство – неизбежное условие существования развитого общества, в котором одному слою отводится трудовая функция, другому – распорядительная (с более широким социальным я-могу), третьему – функция государственного и административного управления. Классовое, сословное или кастовое неравенство – это попытки закрепить и отразить в неизбежном социальном неравенстве неравенство врожденное, попытки, как правило безнадежные, ибо они строятся на передаче по наследству того, что может быть дано только Богом, – высокого потенциала энергии осуществления свободы. (Примечательно, что Платон в своем проекте идеального государства утверждал, что «золотой» человек может родиться и среди «медных», и наоборот, и имел в виду разделение на уровни не по рождению, а по проявленным способностям.)

С того момента, когда неравенство социальное перестает соответствовать неравенству естественному, врожденному, все здание теряет устойчивость, шатается, трещит и, наконец, рушится под ударами революций. Но и в относительно спокойные периоды скрытая борьба не утихает. Истоки ее – различные представления каждого

уровня о том, какая степень свободы должна быть предоставлена индивидууму внутри Мы. Более свободные духом стремятся расширить свои царства я-могу, менее свободные – сравняться с ними или хотя бы обуздать их, чтобы не мучиться сознанием сравнительной несвободы. Власть в обществе всегда выражает некоторое осредненное представление, которое и стремится сохранить, поэтому она оказывается подверженной ударам как снизу, так и сверху, должна бороться как с Пугачевым, так и с декабристами. Классовая теория может объяснить Пугачева, но оказывается беспомощной перед Пестелем; с точки же зрения метафизики, выступления привилегированных верхов против власти, всеми силами поддерживающей их привилегии, оказываются вполне закономерными. «Среди рабов нет свободы даже для господ», – сказал Байрон и отправился воевать за освобождение угнетённых туда, где это было возможно. Однако, все социальные аспекты метафизического неравенства будут подробно рассмотрены ниже; сейчас же пора попытожить наши рассуждения о вражде как таковой. (ПМ-101)

Прием искусственного выделения одного вида злодеяний, примененный нами в начале этой главы, безусловно дал свои результаты, ибо благодаря ему мы смогли обнаружить три главнейших источника зла, царящего среди людей: волю Мы, жажду воли Я к осуществлению свободы любыми средствами и врожденное неравенство человеческих волей.

На первый взгляд, результаты эти представляются весьма неутешительными. Мы ясно увидели, что вражда не есть случайность или заблуждение, что корни ее уходят в глубину всего сущего – в волю. Вряд ли также нам удастся применить все эти понятия и выводы к уяснению или предотвращению хоть одного конкретного злодейства: ни одна из указанных нами сил не действует в жизни в чистом виде, но всегда в тесном и неразрывном переплетении с другими. Да, мы уяснили себе, что во всех актах вражды, продолжающей раздирать человечество вопреки всем увещаниям религии и этики, действуют силы идентичные по своей первичности и неуничтожимости силам природы. Но ведь никакая отрасль естествознания и не посягает на уничтожение самих этих сил, волей низших уровней: она лишь исследует их и находит способы направлять их в нужное для человека русло.

То же самое могли бы сделать на метафизической основе и науки о человеке.

История сможет, наконец, перестать быть только набором фактов, описанием, сможет превратиться в подлинную науку, которая, проанализировав войны, революции и нашествия как взрывообразные проявления воли Мы, найдет способы их предотвращения,

путем направления этих взрывных сил в безопасную для человека сторону.

Социология, педагогика, криминалистика должны будут покончить с тем жалким эмпиризмом, которым они до сих пор довольствовались, и, уяснив себе, что потребность осуществления свободы является главнейшим свойством человеческой воли, строить свои выводы и рекомендации с учетом необходимости удовлетворения этой потребности.

Наконец, *этика* получит возможность преодолеть как заблуждения нищезанятия с его «сверхчеловеком», воображающим, что можно быть свободным среди рабов, так и утопию поголовного равенства, сможет избавиться от этого вечного своего антиномического противоречия и объединить все достижения экзистенциализма в стройную, согласную с очищенным кантовской критикой разумом, теорию.

Все это и создаст тот первый практический результат, тот вожделенный плод, которого столь долго ждало все человечество от самого загадочного и манящего из растений, произрастающих на почве разума, – от метафизики. (ПМ-93-102)

Глава 14. ОБОЛЬЩЕНИЕ БОГАТСТВОМ

Самые свирепые споры и вражда вскипают между людьми вокруг вопроса: «Как, по каким правилам нам нужно уживаться на земле друг с другом?». Ответы на этот вопрос отливаются в религиозные заповеди, в политические программы, в философские теории. Нам пытаются навязать правила жизни, диктующие, как следует трудиться, одеваться, питаться, молиться, размножаться, развлекаться, лечиться. А по каким правилам следует обращаться с благами земными, с имуществом, с богатством? Допустимо ли, чтобы один человек владел чем-то, чего нет у другого?

«Нет, – отвечает француз Прудон. – Собственность – это воровство.»

«Нет, – отвечает немецкий еврей Маркс. – Собственник – это грабитель и обманщик.»

«Нет, – отвечает россиянин Ленин. – Смело грабьте награбленное и экспроприируйте экспроприаторов.»

Стольких миллионов людей погибло в XX веке, сражаясь за и против этих лозунгов, что просто страшно предстать перед читателем их защитником. Но в то же время невозможно оставить без объяснения загадку: «А почему эти лозунги вызывали и продолжают вызывать такое кипение страстей? Ради чего люди шли и идут на смерть за них? И так ли нова эта дилемма или она всплывала и в веках минувших?». (ПФ-186)

Перенесёмся в предысторию человеческой цивилизации. Вглядимся в зарождение первых форм человеческих сообществ – семьи, рода, племени. Кем предстанет в наших глазах охотник, первым поделившийся с сородичами мясом убитого оленя? Строитель вигвама, пустивший укрыться заблудившегося путника? Пастух, согласившийся охранять общее стадо? Они будут выглядеть смелыми бескорыстными пионерами прогресса, созидающими зародыши будущих социумов. Выжили и оставили след в истории только те племена, в которых восторжествовал принцип общего владения «земными благами», а принцип индивидуального владения осуждался и оттеснялся на задний план.

В Средние века европейские путешественники, сталкиваясь с коренными жителями Америки, Африки, Австралии, не раз изумлялись заботливости и бескорыстной взаимопомощи, оказываемой людьми друг другу внутри одного племени. У охотников и кочевников традиции гостеприимства служили, видимо, своего рода страхованием от несчастных случаев, от наводнений и пожаров, от падежа скота. Невозможной казалась ситуация, когда один будет умирать от голода, а у соплеменника будет полно припасов.

Чарльз Дарвин в «Путешествии на Бигле» описывает недоразумения, которые случались у белых при встречах с туземцами Южной Америки. Получив подарки от путешественников, те начинали указывать на разные предметы их одежды и произносить одно и то же слово, явно имевшее у них магический смысл: «яммершунер». Вскоре стало ясно, что слово означало «отдай». Когда путешественники отказывались расстаться со шляпой, галстуком, трубкой, очками, туземцы выражали изумление, возмущение, даже гнев. Один вдруг исчез и вернулся с камнем в руках, явно намереваясь проучить заезжих невеж.

Объявлять что-то своим явно считалось у первобытных народов недостойным. Подобные традиции сохранились у кочевых племён в России до советских времён. Туристов, посещавших Казахстан, Киргизию, Калмыкию, предупреждали, что в юртах нельзя похвалить какую-нибудь вещь – её немедленно начнут вручать вам и обижаться на отказ принять. Заветное слово «жаксы» мгновенно приводило к переходу предмета от одного соплеменника к другому.

С переходом к оседлому земледелию старинные обычаи не исчезали, а продолжали существовать внутри сельских общин, которые оставались хранителями моральных правил для многих поколений. Право индивидуальной собственности не только не было священным, но по возможности отрицалось, приоритет отдавался защите принципа равенства. Участки земли ежегодно подвергались передаче из рук в руки, чтобы ни у кого не было возможности пожаловаться на плохое качество доставшегося ему поля.

Уже в античности мы находим государства, многими чертами напоминающие воплощение идей Маркса-Ленина. Самым ярким примером является Спарта. Торговля и финансовая деятельность отменены, литература и искусства задавлены, выезд за границу запрещён, всё покрыто такой секретностью, что ближайшие соседи порой не знают, как и кем управляется страна. Афиняне и спартанцы говорили на одном языке, но их отношения были похожи на отношения между южными и северными корейцами сегодня. Холодная война между двумя государствами не раз переходила в горячую, и Спарта в конце концов оказалась победительницей.

Многие афинские интеллектуалы превозносили равенство, достигнутое спартанцами, с таким же жаром, с каким сегодня марксисты в свободном мире превозносят «достижения стран социализма». Знаменитый историк Плутарх не устал восхвалять реформатора Спарты, законодателя Ликурга. Тот застал государство, в котором «толпы неимущих и нуждающихся обременяли город, все богатства перешли в руки немногих...» Ликург уговорил сограждан разделить всю землю поровну, чем «изгнал наглость, зависть, злобу, роскошь...».¹

Христос учил, что «обольщение богатством заглушает Слово, и оно бывает бесплодным». (Матф. 13:22) Множество людей в христианских странах тяготились бременем собственности, осуждали её, пытались «раздать имение своё». Они ощущали владение землёй и имуществом как грех и искали спасения от этого греха, уходя в монастырь. Или устраивали коммуну, в которых общим был труд на земле и в мастерских, общие жилища, общие трапезы. В современном Израиле хозяйства кибуцев устроены по тем же принципам.

Мы не можем не верить Толстому, который описывает моральные мучения, испытанные им из-за привилегий барского статуса. Когда его жена покупала новое кресло для дома за какие-нибудь 30 рублей, он немедленно начинал высчитывать, сколько дней бедная крестьянская семья могла бы прожить на эту сумму, и приходил в ужас от творимой ими «несправедливости». Если двое в одной семье не могли прийти к согласию о том, что справедливо и что нет, как можно ждать единодушия по этому важнейшему вопросу среди миллионов?

Тем не менее развитие цивилизации производило свой отбор. Её прогресс оказывался возможным только у тех народов, которые предпочли охранять принцип личной, а затем и частной собственности граждан. Да, это неизбежно создавало имущественное неравенство и, следовательно, раздоры. Но только таким образом оказывалось возможно извлечь выгоду из врождённого неравенства людей. Только так прозорливый получал возможность контролировать производственные процессы и большие хозяйственные проекты с максимальной эффективностью и способствовать общему процветанию страны.

В реальной исторической жизни институт собственности сделался главным инструментом охраны прав дальнорочного, дававшим ему стимул прилагать максимальные усилия для приумножения своего – а значит и всеобщего – благосостояния. Правители охраняли собственника от зависти и ревности близорочного большинства, и для этого необязательно было вводить новые законы. Параллельно с рыночным регулированием действовали невидимые, но необычайно важные моральные рычаги. Их убедительно описал Адам Смит в своей книге «Богатство народов».

Он внимательно вглядывался в отношения между британскими землевладельцами и их арендаторами. Труд фермера не сводился к пахоте, посеву и уборке урожая. Любое улучшение участка требовало долгосрочных вложений труда и денег, которые лишь в будущем могли принести доход. Осушить заболоченный луг, проложить удобную дорогу, удобрить оскудевшую почву, построить амбар или скотный двор – всё это оказывалось возможным лишь в том случае,

если трудолюбивый арендатор был уверен, что хозяин земли не прогонит его, чтобы воспользоваться удорожанием земли. Знаменитый экономист вводит здесь совершенно ненаучное понятие: «чувство чести помещика». Именно оно, по его мнению, не позволяло сквайрам злоупотреблять своими правами и способствовало расцвету сельского хозяйства в Англии.²

Вглядываясь в ход мировой истории, мы получим множество подтверждений простому правилу:

Там, где государственный уклад охранял дальновзорких и энергичных от произвола и зависти близоруких, страна начинала богатеть и процветать, но при этом в ней неизбежно вскипали внутренние раздоры. Отмена или ограничение права собственности приглушала раздоры, но платить за это приходилось катастрофическим обеднением. (ПФ-188)

Мировая литература переполнена героями, подавшимися «обольщению богатством». Тримальхион, Гобсек, Скрудж, Плюшкин, Скупой рыцарь сделали именами нарицательными. Они кажутся нам вполне правдоподобными фигурами именно потому, что мы и сами часто видим в деньгах некое универсальное обретение – даже небольшая сумма таит в себе заветный привкус безграничности за счёт того, что на неё можно купить и то, и другое, и третье, и десятое. Но с наступлением индустриальной эры одинокий богач начал сходить со сцены. В демократических государствах источники обогащения подвергаются тщательной проверке, выпускаются законы, препятствующие открытому жульничеству и грабежу, и обойти их удастся лишь присоединившись к какой-нибудь могущественной корпорации, например, пробившись на пост администратора в крупный банк.

В Америке XX века правительство пыталось держать в рамках погоню за золотым тельцом, используя кнут и пряник. Пряник – это займы под льготные проценты, выдаваемые Федеральной резервной системой, кнут – возбуждение судебных дел против тех, кто слишком усердствовал в обходе рогаток, контролирующих финансовую деятельность.

Жульнические операции в банковском бизнесе имели место всегда. Они изобиловали во время краха 1929 года. В 1981 году были разоблачены руководители сети сберегательных банков «Сейвингс энд Лоунс», присваивавшие себе крупные суммы, на которые строили роскошные дома, покупали яхты и дорогие автомобили. За махинации с секретной банковской информацией угодили в тюрьму богатейшие финансисты Айвен Баесски и Майкл Милкен. Но бывают финансовые провалы, причиной которых оказывается просто

неуёмная жадность банкиров, вырвавшаяся из-под контроля. Именно это случилось в 2008 году.

В конце 1990-х правительство начало кампанию «за дешёвое жильё для бедных». Участие Федерального резерва заключалось в том, что он выдавал банкам кредиты под искусственно заниженный процент. Именно это стимулировало безответственность финансистов, выдававших займы на покупку домов людям, явно не имевшим возможности расплатиться с долгом в оговоренные сроки. Кроме того, число потенциальных покупателей росло так быстро, что строительные компании не успевали удовлетворять спрос, и цены на дома стремительно росли.

Директорам компаний было разрешено покупать акции банков, находящихся в их подчинении, за фиксированную цену и потом продавать их на рынке, если цена повышалась. Считалось, что это должно было стимулировать активность и изобретательность директоров. На деле это только толкало их любыми путями вздуть репутацию банка, чтобы его акции росли в цене.

Ипотечные обязательства индивидуальных покупателей банкам было разрешено продавать двум финансовым гигантам: Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредита (Freddie Mac) и Федеральной национальной ипотечной ассоциации (Fannie Mae). Freddie Mac и Fannie Mae – искусственные полурыночные, полугосударственные учреждения – имели право объединять полученные договоры в некие пакеты и продавать их на международных и домашних биржах как реальные ценности (джанк-бондс). При этом цена финансового документа определялась не стоимостью купленного дома, допустим 100 тысяч, а полной суммой выплат, которые покупатель обещал произвести в течение тридцати лет, то есть 400 тысяч. Банки же, получив плату от Freddie Mac и Fannie Mae, могли снова пускать её в оборот, то есть кредитовать всё новые и новые ненадёжные покупки домов. Торговля реальными ценностями подменялась *торговлей обещаниями*.

Первые тревожные звонки начали раздаваться в 2007 году. Крупнейшие биржи мира начали догадываться, что рынок наводнён финансовыми обязательствами, реальная стоимость которых намного ниже указанной цены. Акции крупнейших банков Америки стали быстро падать. Один за другим на грани банкротства оказывались такие гиганты, как «Беар Стернс», «Лиман Бразерс», «Мерилл Линч», «Банк оф Америка», «Голдман Сакс», «Морган Стенли».

Известный журналист Эндрю Росс Соркин в своей книге «Слишком большие, чтобы рухнуть»³ очень красочно описал личные драмы отдельных участников этой гигантской катастрофы. Позднее за ней укрепилось название «финансовое одиннадцатое сентября». Воротилы Уолл-Стрита, привыкшие жить в роскоши,

упиваться властью и могуществом, вдруг оказывались в ситуации, когда они не знали, что принесёт им завтрашний день, какой новый оскал покажет непредсказуемый дракон по имени Биржа. Многолетние дружеские и родственные связи рвались, ибо каждый должен был думать прежде всего о собственном спасении. Десятки тысяч сотрудников в отделениях банков по всему миру теряли работу. Журналисты с теле- и фотокамерами толпились у подъездов домов главных заправил, устраивали засады в вестибюлях Министерства финансов и Федерального резерва. Спасаясь от них, участникам противоборства приходилось устраивать тайные встречи и собрания, использовать условный язык в телефонных переговорах. (CA-115)

Между тем приближались выборы 2008 года. Чтобы поднять шансы республиканских кандидатов по всей стране, администрация Буша-младшего в октябре провела беспрецедентную меру: создала спасательный фонд TARP (так называемую «программу выкупа проблемных активов»). Казначейство и Федеральный резерв внезапно призвали в Министерство финансов директоров девяти крупнейших банков и предъявили им ультиматум: принять участие в этой программе или объявить о полном банкротстве. Один из присутствовавших испуганно произнёс: «Но ведь это социализм». Однако, недолго поколебавшись, все девять покорились неизбежному.

В общей сложности на выкуп обесценившихся бумаг финансовым гигантом было выделено 700 миллиардов долларов. Погоня за этим спасительным финансовым кислородом растянулась на многие месяцы. Но в ноябре 2008 года американский избиратель не оценил щедрости правительства республиканцев и избрал на пост президента демократа Обаму.

Как это всегда бывает, к образовавшейся денежной реке стали стекаться новоявленные золотоискатели. А там, где протекает ловля в мутной воде, необходимо учредить новую охрану, этакое подразделение «финансовых рейнджеров». Специальный прокурор, возглавивший их, докладывал Конгрессу о том, что практически невозможно проследить, как и на что расходуют деньги банки, получившие помощь по программе TARP. К октябрю 2011 года этот прокурор вёл уже 150 расследований, 19 виновных в нарушениях получили тюремные сроки, число вчинённых гражданских исков перевалило за пятьдесят.⁴ (CA-117)

Чтобы охарактеризовать психологическое состояние банкиров, политиков и государственных чиновников, описанных в книге Соркина «Слишком большие, чтобы рухнуть», достаточно будет двух слов: растерянность и отчаяние. В своих переговорах они прибегают к мольбам, заклинаниям, угрозам, обвинениям, нередко срываются на мат. Похоже, никто из них не понимает, как они могли свалиться

в такую яму и что нужно сделать, чтобы это не повторилось. (СА-118)

Разрыв между бедными и богатыми в США быстро увеличился в течение последних двух десятилетий. Корреспондент газеты «Уолл Стрит Джорнел», Роберт Фрэнк, взгляделся в этот феномен и описал его в книге «Страна богачей» или «Ричистан» (rich – богатый).⁵

По оценкам автора, население Ричистана – больше десяти миллионов семей, если начинать отсчёт с тех, чьё состояние превышает миллион долларов. Это больше, чем население Швеции или Австрии. По данным 2004 года, 1% самых богатых ричистанцев зарабатывал в год 1,35 *триллиона* долларов. Это больше, чем годовой доход Франции, или Италии, или Канады. При этом, население Ричистана стремительно растёт. Но дело не столько в количестве, сколько в автономности. В Ричистане своя экономика, своя социальная структура (нижний Ричистан, средний и верхний), свой язык (во всяком случае, терминология), своя система образования, своя небольшая авиация и флот, своя индустрия развлечений и даже свой уровень инфляции – вдвое выше, чем в остальной Америке.

Ричистанцы живут в особняках площадью в тысячи квадратных метров, в которых работают десятки если не сотни слуг. Правда, в демократической Америке они называются не слугами, а *менеджерами домашнего хозяйства*. Яхты ричистанцев достигают 200 метров в длину, трёх этажей в высоту, и за таким судном идёт ещё «теневая яхта», несущая вертолёт, автомобили, батискаф. (СА-327)

Попытки строгого регулирования пожертвований на предвыборные кампании приводят лишь к тому, что выборы превращаются не в противоборство политических идей, а в состязание «миллионер против миллионера». Достигнув экономического господства в стране, ричистанцы теперь захватывают и командные политические высоты. У них мощное лобби в Конгрессе, и теперь уже очень трудно провести законы, которые их не устраивают.

Не только беднеющий и тающий средний класс беспокоится сейчас за финансовую безопасность своего будущего. Вот что рассказал Роберт Фрэнк в интервью журналистам Национального радио:

«Миллионеры очень боятся нищей старости. В Америке для них есть много групп психиатрической помощи. Я был на занятиях одной такой группы – для людей с годовым доходом не менее десяти миллионов долларов. Они встречаются раз в месяц в Нью-Йорке. И все они жаловались на страх перед бедностью. Их страх был искренним. Когда их спрашивали, “сколько вам нужно денег, чтобы ощутить финансовую безопасность?”, каждый называл сумму вдвое превосходящую то, чем он владел в тот момент.»⁶ (СА-330)

Неужели в разговоре о такой всепоглощающей страсти человеческой души метафизике нечего добавить к народной мудрости «не в деньгах счастье»?

Похоже что так.

Глава 15. ЖАЖДА СПЛОЧЕНИЯ

Она живёт в душах людей так же глубоко и неодолимо, как в рыбах, сливающихся в косяк, птицах, выстраивающихся в стаю, оленях, антилопах, зебрах, огромными стадами пересекающих снежные и степные пространства, пингвинах, сжавшихся в многосотенный живой круг под ветром Антарктики.

Вот бурная демонстрация течёт по улице под морем плакатов и знамён.

Концертный зал, заполненный вопящими и раскачивающимися зрителями, вторящими своим кумирам с гитарами на сцене.

Горящие глаза телевизионной аудитории, собравшейся послушать откровения новомодного проповедника.

Длинные ряды лбов, упёршихся в пол мечети, и заданных к Аллаху задов.

Миллион паломников на площади перед собором Святого Петра в Ватикане.

Рёв стадиона, встречающего воплями болельщиков забитый гол.

Церковный хор, славящий Господа и дар жизни.

Карнавальные процессии в Рио-де-Жанейро, Новом Орлеане, Нью-Йорке.

Кавалькады мотоциклистов-байкеров, с серьёзными лицами разрезжающих по американским шоссе без всякой видимой цели, совершая ритуальное служение культу сплочения.

Какое это счастье – вырваться из тюрьмы своего одиночества, слиться с тысячами единомышленников, единоверцев, просто соплеменников!

Жажда сплочения может довести толпу до самоубийственного экстаза. Вспомнить только трагедию на Ходынском поле (1896), или всех погибших в давке на похоронах Сталина (1953), или те истории, когда спортивные болельщики обрушивают трибуны и умирают под развалинами. На ежегодном поклонении в Мекке экстаз паломников оборачивается сотнями жертв.

Вся история мировой цивилизации может быть представлена как цепь расширяющихся слияний. Сначала возникла семья, семьи сливались в роды, кланы, фратрии (у греков), курии (у римлян). Затем несколько фратрий образовывали филу, несколько курий – трибу. Венчало этот процесс возникновение племени, а союз племён создавал фундамент для того, что мы сегодня именуем государством.

«В сплочённости – сила». В терминах метафизики то же самое будет звучать длиннее – невероятное расширение царства я-могу за счёт присоединения к Мы. Эту истину люди знали и исповедовали с

начала веков. Слаженные усилия строителей каналов и пирамид, непобедимость греческой фаланги или римской когорты, стойкость наполеоновских каре, сокрушительные атаки казачьей конной лавы, грозная вереница многопушечных фрегатов символизируют в нашем сознании важность и победную эффективность высоких уровней сплочённости. Но эти уровни так часто достигаются внешними приёмами – строевой муштрой, трудовой дисциплиной, угрозой наказаний, лишением пайка, – что мы склонны забывать – не замечать – внутреннего импульса человека к сплочённости и солидарности с другими.

Между тем импульс этот обладает необычайной силой. Жажда свободного самоутверждения и жажда сплочения вечно противостоят друг другу в душе человека. Чтобы вступить в тесный союз с единоверцами, соплеменниками, идейными соратниками, я должен отказаться от многих дорогих мне свобод. И наоборот, следуя порыву к реализации индивидуальной свободы, я навлекаю на себя гнев и отчуждение тех, кто ждёт от меня подчинения клановым правилам и нормам.

Неужели нет выхода из этой вечной дилеммы?

Оказывается, есть. Если жизнь столкнёт меня с каким-то союзом людей, не получившим ещё одобрения моего клана, рода, государства, моё присоединение к нему, грозящее мне всякими карами, будет переживаться мною как акт свободного самоутверждения.

Человек, устремляющийся под чёрные знамёна Нового Халифата, утоляет одновременно все три главных порыва: к самоутверждению, к слиянию, к бессмертию. Но то же самое происходило во многих других эпизодах мировой истории. Сражаться за независимость американских штатов в конце 18-го века примчались француз Лафайет, немец фон Штойбен, поляк Костюшко, британец Томас Пейн и множество других европейцев. Долгая борьба славян против турок в 19-веке привлекала на Балканы тысячи энтузиастов от лорда Байрона до русского генерала Черняева, уехавшего воевать за сербов в начале 1870-х вопреки запрету царского двора. В гражданской войне 1936-39 годов в Испании республиканское правительство смогло сформировать интернациональные бригады из приехавших в страну антифашистов. Сегодня в вооружённых подразделениях Донбасса можно увидеть не только добровольцев из России, но также кавказцев, прибалтов, казахов, даже сербов, испанцев и чилийцев.

Счастье слияния остро переживал и ярко описал Маяковский:

...Если в партию сгрудились малые –
сдайся, враг, замри и ляг!
Партия – это рука миллионопалая,
Сжатая в один громающий кулак...

Я счастлив, что я этой силы частица,
Что общие даже слёзы из глаз.
Сильнее и чище нельзя причаститься
Великому чувству по имени – класс!¹

Заметим, что для полноты этих чувств поэту необходимо наличие врага, на которого обрушится «миллионопалый кулак». (ФВ-25)

Жажда слияния давала энергию многим массовым перемещениям народов в мировой истории. Исход евреев из Египта – просто первый из известных нам эпизодов. Английские пуритане в начале 17-го века увидели Землю обетованную за Атлантическим океаном и смогли так сплотиться, что успешно обосновались в Массачусетсе. Следуя их примеру, в следующем веке баптисты выбрали на ту же роль Пенсильванию. До своей обетованной земли мормоны должны были покрыть в 1840-е годы более 3 тыс. километров от штата Нью-Йорк до Солёного Озера в Юте. Для российских духоборов землёй обетованной оказалась Канада. Джим Джонс уговорил своих последователей переехать из «прогнившей» Америки в девственные джунгли Гайаны (1970-е).

И в прошлом, и в настоящем у всех народов с необычайной лёгкостью возникали – там, где власти это позволяли, – религиозные и псевдорелигиозные культы. На первый взгляд, это явление опровергает наш тезис об универсальности жажды самоутверждения. Ведь человек, вступающий в культ, должен отказать от многих свобод, полностью подчиниться воле лидера культа. В действительности же, сам акт свободного отказа от всех прав может переживаться неофитом как апофеоз свободного волеизъявления. Недаром в буддизме и индуизме так часто всплывает тезис: «Самое высокое свершение – победить собственную волю, перестать хотеть, достичь нирваны».

Конечно, может наступить момент, когда человек пожалеет о сделанном выборе и попытается вырваться из наложенной им на себя неволи. Именно поэтому религиозные культы так яростно преследуют и карают отступников. Все, кому удалось покинуть Церковь сайентологии, рассказывают, какие опасности и препятствия пришлось преодолевать, какое давление было оказано на них. Недавно всплыла трагическая история о молодом человеке, вступившем в маленький культ в Коннектикуте и вскоре забитом до смерти своими единоверцами за отказ каяться по их правилам. Подобным же образом запрет выезда за границу – неизменная черта любого тоталитарного государства, от древней Спарты и средневековой Японии до Кубы и Северной Кореи наших дней.

Власть лидера культа над своими последователями может превзойти даже власть абсолютного тирана над подданными. Сталин мог безнаказанно убить любого жителя СССР, но даже он не смог бы

заставить его отравлять собственных детей перед смертью, как это сделал Джим Джонс в Гайане. (ФВ-26-27)

Если страсть к самоутверждению может привести человека на путь *индивидуальных* преступлений, то страсть к сплочению скорее подтолкнёт его к добровольному вступлению в банду, уличную шайку, мафиозный клан. Тому, кто равнодушен к политическим или религиозным идеям и схваткам, нет нужды отправляться в далёкие и опасные путешествия, чтобы слиться там с той или иной армией сражающихся. В соседнем квартале или даже в собственном жилом комплексе он легко найдёт местного главаря, атамана, босса, который объяснит ему, что нужно сделать. Да, потребуется в качестве «вступительного взноса», инициации, ограбить кого-то или даже убить, или хотя бы сбить с ног ударом кулака случайного прохожего. Да, ты вступаешь на всю жизнь, измена карается смертью (традиционная формула: «кровь на входе, кровь на выходе»). Но какое волшебное сознание силы и грозности ты получаешь взамен, каким почтительным страхом соседей и знакомых ты будешь окружён! Ещё один вариант декартовой формулы: «Пугаю – значит существую!».

Вступление в религиозный культ или уличную банду подразумевает разрыв с привычным жизненным укладом. Но мечта о слиянии утоляется гораздо легче, если во всей стране произойдут политические перемены, нацеленные на полное подчинение человека государству. Тоталитарный деспотизм идеально утоляет жажду человека к сплочению, среди «счастливых» подданных должно царить полное единодушие. Тяга к бессмертию тоже получает некоторое утоление: каждый человек ощущает себя частицей того, что было до него и пребудет после.

Ну, а как же утолить страсть к самоутверждению, если внешняя война по каким-то причинам (силёнок маловато) невозможна? Тогда-то и возникает внутренний террор по отношению к какому-то религиозному, национальному или социальному меньшинству.

Сжигание еретиков было любимым развлечением средневековой Европы, и старушка, подложившая ветку в костёр Яна Гуса, явно видела в этом акт самоутверждения.

По свидетельству историков, вся Испания ликовала, когда в 1492 году из неё изгоняли евреев, а в 1609 – морисков.

И французские католики были в восторге, когда Людовик Четырнадцатый начал изгонять и казнить гугенотов (1685).

Парижские «вязальщицы» сходились на площадь как в театр, чтобы любоваться работой гильотины (1790-1794).

Избиение армян в Турции (1915) до сих пор не признаётся в этой стране преступлением геноцида.

Погромы еврейских магазинов и синагог в Гитлеровской Германии вызывали открытый энтузиазм у рядовых немцев (1930-е).

Всякий деревенский босяк и бездельник в Сталинской России с удовольствием участвовал в «раскулачивании», а когда террор перекинулся на «шпионов, вредителей, космополитов, убийц в белых халатах», городской обыватель, глядя вслед «чёрной марусе», увозящей очередную жертву в подвалы НКВД, ронял с злорадством и торжеством: «Там разберутся!» (1949-1953).

И конечно, хунвейбины, забивающие палками учителей, журналистов, профессоров и других интеллигентов, видели в этом великолепную возможность потешить свою страсть к самоутверждению, одновременно сливаясь «с великим народом, строящим коммунизм» (1960-е). (ФВ-28-29)

Вспышки внутреннего террора в мировой истории, как правило, принято связывать с именем деспота, находившегося в тот момент у власти: Сулла, Нерон, Домициан, Филипп Красивый Французский, Торквемада, Иван Грозный, Бирон и так далее. Но, думается, что ни один из них не мог бы осуществлять свои злодеяния без молчаливого – а порой и громогласного – «Смерть шпионам! Размозжим головы!» – сочувствия и соучастия народных масс. Даже те, в ком ещё звучал голос сострадания, глушили его, интерпретируя происходившее как некие неизбежные человеческие жертвоприношения на алтарь всеобщего единства.

Люди, пережившие сталинские и хрущёвские времена, помнят, с каким подозрением и недоброжелательством прохожие на улицах относились к попыткам отличаться от толпы хотя бы в одежде, причёсках, косметике. В СССР позорили так называемых «стиляг», за слишком узкие брюки и иностранный шарфик дружинники могли отвести в милицию. В маоистском Китае девушкам могли прямо на улице отрезать косы, если они превосходили положенную длину. Сегодняшнему лидеру Северной Кореи мало того, что весь народ одет в такие же чёрные френчи, как у него. Недавно он потребовал, чтобы мужчины подражали ему и в причёске, состригая волосы с висков.

Равенство, единообразие, сплочённость были гораздо легче достижимы на племенной ступени цивилизации. Но с возникновением государства совместное существование людей усложнилось десятикратно. Разделение обязанностей приводило к тому, что кто-то должен был трудиться на полях и стройках, кто-то – распоряжаться работами и распределением продукта труда, кто-то – повелевать, судить и отражать внешних врагов, кто-то – познавать мироздание и хранить накопленную информацию. Неизбежно возникало неравенство, а вместе с ним и мучительный вопрос: «Почему ты наверху, а я – внизу? Почему не наоборот?».

Почти во все земледельческие империи проблема эта была решена путём деления населения на сословия. Рабы, плебеи, всадники, патриции, сенаторы в Древнем Риме; вайшьи, шудры, кшатрии,

брахманы в Индии; крепостные, вольные горожане, дворяне, духовенство – в Европе и России. Человеку легче было смириться со своим положением на нижних ступенях государственной пирамиды, когда ему внушалось, что оно предопределено ему самим фактом рождения в нижнем сословии. Пути перехода в более высокие слои за счёт собственных талантов и энергии всячески затруднялись, порой перекрывались наглухо.

Однако там и тут возникали национальные образования, которые отказывались от кастовой системы, давали каждому человеку возможность проявить себя на том поприще и в той мере, которые соответствовали его природной одарённости. Такие образования очень скоро достигали невероятных успехов в экономической и военной сферах. Маленькая Финикийская республика господствовала в Восточном Средиземноморье, сумела отразить непобедимого вавилонского царя Навуходоносора (шестой век до Р. Х.), создала могучий Карфаген. Афинская республика отразила нашествие огромной армии персов, рассыпала свои процветающие колонии по берегам Эгейского и Чёрного морей (5-4 век до Р.Х.). И в Средние века мощь и процветание таких республик, как Флорентийская, Генуэзская, Венецианская, Новгородская показали всему миру, что сплочённости можно добиться и не подавляя страсти человека к самоутверждению. (ФВ-30-31)

Уникальный вариант победной сплочённости демонстрируют нам три тысячи лет истории иудеев. Многократно изгоняемые из мест проживания, они ухитрялись сохранять цельность своего племени исключительно религиозными и языковыми скрепами. Вражда антисемитов к ним часто была окрашена чертами зависти. Казалось бы: как можно завидовать бедным и бесправным евреям, запертым в гетто или за чертой оседлости? Завидовали именно их феноменальной сплочённости, преданности друг другу, готовности помогать, спасать, утешать, лечить. Когда зависть делалась нестерпимой, евреев изгоняли. Гитлеру было нетрудно раздуть миф о мировом еврейском заговоре: именно так их сплочённость могла быть интерпретирована в сознании простонародья.

Инструментом сплочения племени была устная речь. Возникновение земледельческого государства повсюду сопровождалось появлением нового средства коммуникаций: письменности. Теперь писанные своды законов и летописи могли связывать в единое целое не только всех живущих, но также и разные поколения. Предпосылкой индустриальной эры можно считать скачкообразное расширение информационного обмена, внесённое изобретением печатного станка. Все европейские революции, все политические и религиозные движения 17-19 веков были бы немыслимы без газет, журналов, памфле-

тов, листовок, распространявшихся многотысячными тиражами. Наконец, в XX веке технический прогресс одарил нас обоюдоострым инструментом сплочения, способным преодолевать огромные расстояния и вовлекать миллионы: радиотрансляцией и кинохроникой. (ФВ-32)

После разгрома Германии и Японии мир распался на два лагеря: свободной демократии и коммунистического тоталитаризма. Анализ и описание этого противоборства находится в руках политологов, историков, социологов, то есть людей образованного слоя, которые, в подавляющем большинстве, выбирают счастье самоутверждения, а к счастью сплочения относятся с высокомерным пренебрежением. Интеллектуал будет применять своё искусство «словесной виртуозности» (термин американского философа Томаса Соуэлла), чтобы объяснить невероятные успехи коммунизма во второй половине XX века исключительно применением обмана и грубой силы.

На самом деле идеи коммунизма манят к себе миллионы людей именно потому, что в них заложена мечта о небывалом сплочении, которое может принести освобождение от частной собственности. Эта мечта звучит и в проповеди Христа, и в устройстве монастырей, и всевозможных коммун, и в израильских киббуцах. Владеть чем-то, чего не имеет мой ближний, всегда смутно ощущается как грех, проклятья богачам неслись и будут нести из уст проповедников всех времён и народов. То, что в реальной истории попытки осуществить эту мечту оборачивались морями крови и страданий, забывается, и толпы вооружённых последователей Маркса, Ленина, Мао, Кастро снова и снова выходят на бой во всех концах планеты.

В посткоммунистической России все государственные акции, направленные на утоление человеческой страсти к сплочению, истолковываются интеллектуалом как корыстные манипуляции кремлёвских заправил, стремящихся только к укреплению собственной власти. Ему кажется диким, что люди могут с ностальгией вспоминать страшные годы войны или правление Сталина. Пока он отрицает право человека на утоление страсти к сплочению, он будет оставаться отщепенцем, высоколобым бунтарём, изгоем.

Интеллектуал больше всего ценит талант, самобытность, смелость в разрушении канонов и штампов. Он не хочет видеть, что в глазах народной массы все эти замечательные качества попадают в разряд угроз для радости сплочения. Он клеймит тягу к сплочению словами «стадное чувство», «торжество серости», «моральная слепота», «разгул толпы» или даже «быдла».

Однако в реальной жизни он и сам ищет и находит счастье сплочения. Только в его случае это оказывается «сплочением высоколобых бунтарей». Особенно в российской истории сей феномен являет

себя с поразительным упорством. Как только страна достигала стабильности после очередного революционного катаклизма, в верхних слоях общества возникали группы оппозиционеров, стремившихся к разрушению государственного порядка. Они могли кардинально отличаться друг от друга по идейным устремлениям, по методам борьбы, по объявленным целям, но все эти различия отступали перед их единодушной ненавистью к властям предрежащим.

Так, в веке XIX к свержению царизма призывали революционные демократы во главе с Герценом и Чернышевским, народо-вольцы, ведомые Желябовым и Перовской, анархисты, вдохновляемые Бакуниным и Кропоткиным, эсеры, подхватившие у народо-вольцев знамя террора, христианский непротивленец Лев Толстой и «несгибаемый большевик» Ульянов-Ленин, ухитрившийся разглядеть в Толстом «зеркало русской революции».

В эпоху постсталинского диссидентства во второй половине века XX христианин Солженицын и коммунист Лев Копелев могли сделаться друзьями и единомышленниками, генерал Григоренко мог выступать в защиту противников вторжения в Чехословакию (1968), борцы за еврейскую эмиграцию могли находить общий язык с русскими националистами, сидевшими с ними в одном лагерном бараке.

Когда же ветры истории выносили ниспровергателей в эмиграцию, их сплочённость тут же улетучивалась. Страшные раздоры и вражда были характерными чертами жизни русской политической эмиграции первой волны (1920-1941). Диссиденты, выпущенные на Запад в 1970-е, тут же насмерть перессорились друг с другом. Оказалось, что Владимир Максимов и Андрей Синявский, Василий Аксёнов и Иосиф Бродский, Эдуард Кузнецов и Натан Щаранский могли ощущать себя союзниками только перед врагами по имени Политбюро и КГБ. (ФВ-41)

Сегодня фактором сплочения для высоколобых российских бунтарей сделался президент Путин. Кто только не слал проклятья в его адрес! Можно предвидеть, что, кто бы ни сменил Путина у государственного кормила, ему так же достанется роль источника единения для вечного российского бунтаря. Но если смена нынешнего режима произойдёт в результате революционного взрыва, тогда единодушие испарится стремительно. Произойдёт то, о чём писал в своём 16-м веке ещё Монтень: «Те, кто расшатывают государственный строй, первыми, чаще всего, и гибнут при его разрушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто её вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие».²

И сколько уже раз история демонстрировала справедливость этого наблюдения!

Не проходит и трёх лет со дня взятия Бастилии в Париже (1789), как революционеры переходят от казней аристократов и священников к казням бывших соратников, якобинцы казнят жирондистов, потом сами гибнут после Термидорианского переворота (июль 1794).

После Февральской революции 1917 года в России не проходит и года, как большевики начинают расправляться с ниспровергателями монархии – кадетами, эсерами, анархистами и прочими.

Точно так же после свержения германского императора в 1918 году в стране начинается политическое противоборство, завершающееся диктатурой Гитлера, отправлявшего в лагеря всех антимонархистов без разбора, а вскоре и физически уничтожившего бывших союзников – штурмовиков.

Даже после революции августа 1991 года в России, в октябре 1993 танки, посланные президентом Ельциным, стреляют по зданию Верховного совета (Белому дому), в котором укрылись его бывшие соратники Хасбулатов, Руцкой и другие.

Но никакие исторические примеры не охлаждают пыла высоколобного бунтаря. Не действуют на него и призывы умеренных политиков, указывающих ему на то, что народная масса в данной стране, в данный исторический момент ещё не готова терпеть и поддерживать государственную власть, которая позволяет оппозиции обзывать себя «сборищем воров, палачей и тюремщиков». Интеллектуал смотрит на народную массу свысока и верит, что он предназначен вести её для её же блага. Выслушивать её невнятный «глас народа» он не хочет и не способен. Всё что ему остаётся – быть вечным ниспровергателем, колеблющим устои государственной постройки. Тщетно призывать его угомониться... Ибо такой призыв означал бы: «Откажись от утоления двух главных устремлений твоей души – страсти к самоутверждению и страсти к сплочению». Кто же согласится на такие жертвы?

Политические бури второй половины XX века привели к расколу многих народов на две части: Северная и Южная Корея, Северный и Южный Вьетнам, Китай и Тайвань, Восточная Германия и Западная. В одной части восторжествовали идеи, нацеленные на укрепление позиций свободного самоутверждения, в другой – нацеленные на усиление сплочённости. И процессы подобного размежевания продолжают бурлить и сегодня в Азии, Африке, Южной Америке. (ФВ-42)

Глава 16. ЖАЖДА МЕСТИ

С чего начинается история человечества в библейских сказаниях после изгнания Адама и Евы из рая?

С братоубийства.

За что Каин убил Авеля?

Мы этого не знаем, Книга Бытия безмолвствует. Сам всевидящий Господь не ведал о готовившемся преступлении, не предвидел, не знал, что оно случилось.

«Где Авель, брат твой?», спрашивает Он у Каина. (Бытие, 4:9) И только когда голос крови убитого возопил от земли, преступление раскрылось. Но ещё до этого Господь заметил, как поникло лицо Каина, когда Он «не призрел на дар его», не принял жертвоприношения.

В этой короткой истории каждая деталь, каждая строчка заслуживают внимания, истолкования, расшифровки.

Библейская легенда созрела в народе иудейском, когда он был ещё кочевником-пастухом. А рядом существовал процветающий земледельческий Египет – могучий, сверкающий, изобильный, манящий, ненавистный. Всё злое должно было исходить только оттуда. Поэтому Каин – земледелец, а добрый Авель – пастух овец.

Чем земледелец негоден Богу? Он приносит в виде жертвы «плоды земли». Разве могут они порадовать Господа? То ли дело – жертвы, приносимые Авелем: ягнёнок, бараний жир. Обьединение!

Но, отвергая жертвоприношение, Бог самого Каина не отверг. Он полон заботы о нём. «Отчего ты огорчился? Почему поникло лицо твоё?» (Бытие, 4:6) Далее следует поучение: делай доброе. А если будешь делать злое, грех уляжется у дверей души твоей. И он будет манить тебя неудержимо.

Первородный грех Адама и Евы состоял вовсе не в плотском совокуплении, как верят многие христиане, не читавшие Библию своими глазами. Там первым людям, как и всем живым творениям, предписано ясно: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». (Бытие, 9:7) Грех состоял в непослушании. Нарушив запрет Господа, Адам и Ева поели плодов с древа познания Добра и Зла и тем поднялись над другими тварями земными. Только человеку дано знать разницу между Добром и Злом и дарована свобода выбирать: делать доброе или злое. То есть «господствовать над грехом». Каин поддался греху, совершил злое. За это Бог наказал его изгнанием, отправил в скитания, но при этом пригрозил страшными карами тому, кто попытается отомстить Каину за содеянное им зло. (Бытие, 4:15)

Тема вражды между братьями всплывает в библейской легенде снова и снова. Даже близнецы Исав и Иаков не могут ужиться друг

с другом. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его; и сказал Исав в сердце своём: ...я убью Иакова, брата моего». (Бытие, 27:41)

Иаков бежит в чужие края, трудится у дяди своего, Лавана, берёт в жёны дочерей его, Лию и Рахиль, рождает обильное потомство – и что же? Одного из сыновей своих, Иосифа, полюбил он больше других, и стал Иосиф объектом ненависти для братьев своих: за разноцветную одежду, подаренную отцом, за рассказы о дурацких сновидениях, в которых видел себя Иосиф окружённым всеобщим поклонением. Хорошо ещё, что не убили, а только продали в рабство за 20 сребреников. Отцу же принесли изорванную и окровавленную одежду – вот, мол, дикий зверь растерзал твоего любимца. (Бытие, 37:3-33)

Что мы находим общего во всех этих легендах о вражде между братьями? Какое горючее вещество питает пожар ненависти? Не види ли мы вокруг себя тысячекратные повторения похожих драм? В которых многообразно и многолико вскипает одно и то же чувство: ***жажда мести за собственную обделённость.***

В терминологии нашего исследования это явление может быть описано так: ***каждый раз, когда близорукий в жизненном противоборстве сталкивается с дальнорюким и переживает очередное поражение, он испытывает вспышку неодолимой вражды.***

Постепенно жизненный опыт учит его не ввязываться в борьбу с дальнорюким по установленным правилам, а искать обходные обманные пути или применять грубое насилие. Создание государства оказалось возможным только там, где верховная власть обладала достаточной силой и авторитетом, чтобы охранять дальнорюких от вечно тлеющей враждебности близоруких. Но многие тираны XX века перевернули задачу с ног на голову. Они сделали то, об опасности чего предупреждал Аристотель уже двадцать три века назад: поставили свой корыстный интерес выше интересов государства.¹ В погоне за бескрайним расширением личной власти они изменили своей роли арбитра, перешли целиком на сторону близоруких и использовали энергию их вражды к дальнорюким для вознесения себя на орбиту абсолютной диктатуры.

Нельзя забывать о том, что не существует чёткой границы между дальнорюкими и близорукими. Если бы их различия поддавались математическому измерению и оценке по какому-то выбранному параметру, графический результат обследования, скорее всего, выразился бы кривой Гаусса.² Причём импульс ревнивой враждебности к обогнавшему, более одарённому мы обнаружим на любом участке этой кривой. Сальери не отравил Моцарта, но чувства, приписанные ему Пушкиным, нам понятны и узнаваемы. Даже успешный писатель, учёный, врач может в глубине души позавидовать

лауреату Нобелевской или какой-то другой престижной премии. И точно так же, на нижних участках кривой, нерадивый крестьянин будет смотреть со злобой на смышлёного и энергичного соседа и порадует политическому катаклизму, который объявит соперника «кулаком», подлежащим «раскулачиванию».

Многие тираны от рождения были наделены разнообразными талантами и энергией. Эти дары безусловно обещали им достойное место в верхней части шкалы неравенства. Внутри устойчивой государственной системы они все рано или поздно пробились бы наверх. Но в XX веке им досталась эпоха гигантских социальных сдвигов и потрясений. Своё положение в нижних слоях общества они переживали как величайшее несчастье и несправедливость. «Как я ненавижу богатых!», – восклицал Муссолини. Каинова страсть разгоралась в их душах неудержимо. Под её давлением они совершали много недоброго, и грех, описанный в Книге Бытия, захватывал их души. Оставалось только найти красивое оправдание злобе, клококтавшей в сердце. А что может быть лучше жажды «справедливого возмездия»?

В наши дни на жажду мести не принято смотреть с почтением или восхищением. Наоборот, ей принято искать оправдания. Чаще всего оправданием служит непомерность злодеяния, кару за которое осуществляет смелый мститель. Но в далёком прошлом всё было не так. Кровная месть была священным долгом каждого члена племени. Только страх неизбежного возмездия часто удерживал руку обиженного, потянувшуюся в импульсивном порыве к ножу.

В племенных сообществах долг мести играл ту же роль, которую в государстве играют уголовные суды, тюрьмы и казни. Традиции эти живы у многих народов и до сих пор. Когда вчитываешься в описания обычаев кровной мести, многие дикие поступки лидеров тоталитарных государств вдруг получают если не смысл, то находят своё место в ткани воззрений людей на примитивных ступенях цивилизации. Да, вот так повёл бы себя «дикий друг степей» или член клана, племени, рода, только что спустившийся с гор, покинувший кочевье, переселившийся из вигвама в каменный дом.

Современные этнографы, изучавшие кровную месть у народов, застрявших на земледельческой стадии, обнаружили много интересных особенностей, ранее остававшихся в тени. Например, выяснилось, что смертельная вражда между семьями или кланами не обязательно начинается с пролития крови. Нанесённое оскорбление или обида тоже могут послужить яблоком раздора. Причём обиженный не обязан кому-то доказывать или объяснять, почему он посчитал обиду смертельной, требующей кровавого возмездия. Он так воспринял её – и этого достаточно.

С другой стороны, обида, нанесённая публично и оставленная без возмездия, покроет обиженного позором до конца жизни. Его семья может отвернуться от него, ему будет запрещено выступать на собраниях клана. Для многих такая ситуация выглядит страшнее смерти. Если человек умирает, не осуществив возмездия, его родичи обязаны взять на себя выполнение священного долга.

Кровавый раздор может тянуться десятилетиями, потому что каждое убийство рождает необходимость и неизбежность ответного убийства. Известный югославский политик и диссидент Милован Джилас описывал, как это происходило в его родной Черногории. В каждом поколении его предков были убийства, осуществлённые мстителями. Так погиб дед его отца, оба его деда, его отец и дядя. Страх перед мстительными врагами из собственного племени был сильнее страха перед иноверцами-турками, в империю которых входила Черногория.³ Не этот ли разгул родовой мести привёл к тому, что черногорцы до сих пор остаются самым малочисленным из Балканских народов?

Где-то в незапамятные времена кровная месть укрепилась в верхних слоях общества в виде культа дуэлей. Правительства всех стран пытались запрещать дуэли и карать за них – тщетно. Александр Гамильтон, даже будучи христианином и осудив этот обычай, не посмел уклониться от дуэли с Аароном Берром и погиб. Муссолини в какой-то момент сделался неуёмным дуэлянтом, и у него не было недостатка в противниках, столь же уверенных в правомочности кровавой схватки.

Убийство женщины враждебного клана не считалось «искуплением». Если мужчинам приходилось порой, спасаясь от мстителей, запирались в доме на месяцы и годы, женщины продолжали трудиться в поле, отправлялись на базар продавать урожай и закупать необходимое. Но вот убийство сторожевой собаки требовало возмездия. Собака приравнивалась к воину, охранявшему дом.⁴

Здесь уместно вспомнить жутковатый и показательный эпизод из жизни Сталина. В конце 1920-х годов он отдыхал на Кавказе и ночью был разбужен собачьим лаем. В раздражении разбуженный отдал приказ найти и пристрелить собаку. Утром спросил, выполнен ли приказ. Смущённый начальник охраны сказал:

– Собака вместе с хозяином увезена далеко, товарищ Сталин. Вы её никогда больше не услышите.

– Почему не выполнен приказ? – гневно спросил генсек.

– Мы пожалели хозяина. Он слепой, и это его собака-поводырь.

– Мне жалостливая охрана не нужна. Поезжайте, пристрелите собаку и доложите о выполнении.⁵

В этом эпизоде проявились два важнейших свойства диктатора. Первое – абсолютная безжалостность. Второе – уверенность в

том, что раз отданный приказ никогда не может быть отменён. Каждый подчинённый должен знать, что никакие обстоятельства не послужат оправданием невыполнения приказа и последуют суровые кары.

Традиции кавказских горцев, среди которых рос маленький Сосо, ставили долг мести необычайно высоко. Недаром он с детства зачитывался историями о мстителе Кобе. В революционной пропаганде подпольщик Сталин, готовя теракты, призывал рабочих «мстить за товарищей, погибших при разгоне демонстраций». ⁶ В какой-то момент акт мести превратился для него из исполнения долга в главное наслаждение жизни. И из воспоминаний Каменева мы узнаём, что он не скрывал этого.

Случайно ли, что беспартийный большевик Маяковский рос, как и Сталин, вблизи города Гори и впитывал с детства мстительный дух Кавказа, который потом прорывался в его искренних строчках:

Горы злобы аж ноги гнут,
Даже шея вспухает зобом,
Лезет в рот, в глаза и внутрь,
Оседая, влезает злоба.

Итак, мы видим, что жажда мести вскипает в каиновой душе ещё до встречи с тем, на кого месть изольётся. Серийные убийцы и террористы не затрудняют себя выбором жертв. Годятся любые – кто подвернётся, кто беззащитен, к кому легко подобраться. Когда ты мстишь за мрак в собственной душе, неважно, кто окажется в перекрестье ружейного прицела, кто летит во взрываемом самолёте, кто попадёт под колёса твоего мчащегося грузовика.

Однако в массовых убийствах, прокатившихся по странам, попавшим под власть новых фараонов, явно проступает какой-то рефрен, какой-то принцип отбора жертв. Особенно шокирующим он выглядит в странах победившего коммунизма, где миллионами гибли лояльные подданные, уже не имевшие никакой собственности, ни словом, ни делом не покушавшиеся на установившийся режим. Кого убивали в СССР, Китае, Кубе, Вьетнаме, Камбодже? За что? Что нужно было сделать, чтобы избежать гибели?

Рациональный ум дальнозоркого честно вглядывается в исторические катаклизмы, пытается разглядеть скрытые силы, движущие ими. Но он остаётся глух и слеп к страстям близорукого большинства, потому что не испытывает их в адекватной степени. Одарённый не может понять, что испытывает обделённый. Он не может поверить, что всенародное обожание тирана есть искреннее выражение любви к тому, кто дал большинству бесценное благо: *счастье сплочения в равенстве и непогрешимости.*

К этому благу дальноркий остаётся слеп и равнодушен. Он клеймит его «стадным чувством». Иногда душа его может приоткрыться счастью сплочения, если его занесёт в карнавальное шествие. Или в толпу, празднующую Новый год на площади Таймс Сквер в Нью-Йорке. Или начало белых ночей на Дворцовой площади в С.-Петербурге. Или на концерт рок-певца, где можно слиться с ликованием зрителей, ритмично раскачивающихся в такт барабану. Но пехотный парад, чеканящий шаг по мостовой? Ряды гитлерюгенда, застывшие в салюте с протянутой рукой? Колонны китайцев с портретами Мао и красными цитатниками, взнесёнными над головами? Ах, оставьте! Всё это делается исключительно из страха, под давлением тоталитарной власти.

Близоруким сплотиться легко, потому что они смотрят только на день, неделю, месяц вперёд. Дальноркие вглядываются в грядущее на год, десятилетие, век, вечность. Они даже между собой не могут найти общего языка, а уж с близорукими – тем более. Они пытаются рассказывать соплеменникам о бедах, которые видятся им впереди, которых можно было бы избежать, если бы приложить усилия в правильном направлении. Но инертное большинство не хочет мучить себя лишними усилиями, не верит пророчествам дальнорких, накапливает раздражением против них.

Дальноркий, как правило, переполнен желанием помочь близорукому. Но чтобы помогать, нужно получить право и возможность управлять. Если близорукий сопротивляется этому, нужно силой заставить его подчиниться. Такова была логика всех дальнорких тиранов, дававшая им уверенность в своей правоте. Маркс доказал, что счастье народа невозможно без свержения капитализма, остаётся только осуществить его программу. Даже Муссолини и Гитлер оставались в глубине души социалистами, всегда готовыми поставить интересы государства выше интересов отдельного свободного предпринимателя.

К чему дальноркий оказывается совершенно неспособным – это к обожествлению тирана. Как он может поклоняться смертному человеку? А что будет, когда повелитель умрёт? Я останусь без божества? То, что остаётся лежать под пирамидой или в мавзолее, не может утолить мою жажду бессмертия. Дальноркому приходится насиловать себя, идя в первомайской демонстрации с портретом Сталина, восклицая «хайль Гитлер!», расклеивая дацзыбао. Но только очень хорошие актёры могут убедительно сыграть эту роль. Остальные рано или поздно выдадут себя нехваткой энтузиазма.

Дальнорким, погибавшим в сталинском терроре, казалось совершенно диким, что их объявляли «врагами народа», «шпионами», «изменниками родины». Но на глубинном экзистенциальном

уровне эти ярлыки имели свой смысл. Если счастье народа заключается в единстве «здесь и сейчас», всякий, кто пытается жить «везде и всегда», изменяет своим современникам. Своим выпадением из сплочённых рядов он ставит под сомнение истинность и неотменимость догматов, скрепляющих марширующие колонны. Разве такое можно простить?

Большевик Маяковский грозно вопрошал: «Кто там шагает правой?! Левой, левой, левой!». «Правые уклонисты» были объявлены достойными расправы и в СССР, и в Китае. Правда, вскоре за ними последовали и «левые». Любые уклонисты достойны расстрела – вот чему учила эпоха.

Всё вышесказанное отнюдь не следует истолковывать как простую схему: дескать, близорукие кайны набросились на невинных дальнорюких авелей. Человек, находящийся на любой ступени шкалы врождённого неравенства, на любом – верхнем или нижнем – участке кривой Гаусса (Bell Curve), может поддаться «греху, лежащему у сердца» и сделаться Каином. Но импульс к такому душевному перевороту будет реже возникать среди одарённых. Поэтому они часто не понимают, с какой силой и искренностью он пульсирует в душе обделённых. Ощущая вражду близоруких, дальнорюкие спешат истолковать её как результат невежества, науськивания, искусственного подогревания.

А кто может заниматься таким злостным нагнетанием вражды? Ну, конечно, властолюбцы, прорвавшиеся к трону или только рвущиеся к нему. Это для них важно сбить народ с правильного понимания того, кто его враги и кто друзья. Допустить, что народ – этот новый идол благонамеренного рационалиста – может ощущать его, дальнорюкого умника, опасным разрушителем счастья покоя, счастья уверенности, счастья невинности одарённый просто не в силах. Он будет упрямо повторять свои любимые лозунги: «Больше свободы! Услышьте голос народа! Все мнения имеют право быть оглашёнными!».

И XX век показал, как быстро свобода оглашения мнений может превратиться во всеобщую оглашённость. Авель снова не понимал, почему ему нужно остерегаться Каина, Иаков – за что его ненавидит Исаи, Иосиф с доверием шёл к братьям, замышлявшим его убийство. (ПФ-325-337)

Глава 17. ЖАЖДА ЛЮБВИ

Претендуя на полноту постулата «страдание есть обнаружение несвободы, а блаженство – знак расширения я-могу», метафизик обязан быть готовым к ответу на вполне естественный вопрос: «каким же образом связаны с расширением или сужением царства я-могу страдания и восторги любви?» Попыткой предвосхищающего ответа и должна явиться данная глава – не более того.

То, что любовные отношения между людьми могут служить как источником величайшей радости, так и причиной глубочайшей скорби, то, что в них непостижимым образом соединяются самые низменные животные инстинкты с самыми возвышенными проявлениями духа, во все века порождало великую сумятицу мнений относительно того, что же они такое – добро или зло?

Человек не знает более острого физического наслаждения, чем утоление сладострастия. Поведение всех животных ясно показывает нам, что и для них этот акт является настолько вожделенным, что стремление к нему может побеждать даже голод и страх смерти. Но что такое наслаждение, с точки зрения метафизики? Это момент, когда воля осуществляет свою свободу в предельно возможной степени. Противоречит ли это метафизическое утверждение нашей интуитивной убежденности в том, что самое большее, на что способно животное, самое важное из его я-могу – родить себе подобного? Ничуть не противоречит, наоборот, совпадает. Принять участие в сохранении и продолжении вида – это поистине самое значительное, что может исполнить отдельная особь. Поэтому-то природа и дарует ей здесь самое острое наслаждение, манит ее волю неслыханным обретением, за которое некоторые виды вынуждены даже немедленно расплачиваться гибелью.

Половой инстинкт, так же как и инстинкт голода, – важнейшее условие существования всякого вида, бытие которого по сути своей является неосознанным фактором обретения в акте осуществления животной волей своей свободы. А так как воля нашего Я неразрывно связана с животной волей внутри нас, этот фактор обретения сохраняет и для человеческой воли всю свою привлекательность; однако представление об обретаемом содержится здесь не в разуме, а в инстинкте, оно задано изначально, снизу, как условие существования той разновидности животного царства, которая именуется род человеческий. Здесь нам как бы гарантировано неслыханное обретение – оттого-то все, связанное с любовью, так волнует. Но человеческую волю привлекает всегда не обретение само по себе, а лишь возможность осуществлять свою свободу, для чего ей необходимы высокие значения и двух других факторов – свободы и надежды. Отсюда

проистекает вся неохватная сложность и многообразие любовных отношений.

Глубокая внутренняя тождественность полового акта с любым другим видом осуществления свободы – творчеством, борьбой за власть, игрой – была гениально уловлена Фрейдом и заставила его потратить всю жизнь на создание единой теории, связывающей эти явления между собой через понятия сублимации, вытеснения, под-сознательного Я и пр., то есть на безнадежные попытки решить средствами причинно-следственного мышления то, что по силам только метафизике. Именно она может осветить некоторые свойства любовного влечения, а именно: избирательность, непостоянство, ревность, склонность к извращениям. (ПМ-102-103)

Как мы выбираем друг друга? Как отыскиваем в толпе проносящихся мимо лиц и душ ту единственную, которая становится вдруг важнее всех прочих? Почему другие порой не видят, как прекрасен предмет нашей любви?

«То упоительное восхищение, – пишет Шопенгауэр, – какое объемлет мужчину при виде женщины соответствующей ему красоты, суля ему в соединении с нею высшее счастье, – это именно и есть тот дух рода, который, узнавая на челе этой женщины явный отпечаток рода, хотел бы именно с нею продолжать последний. На этом могучем тяготении к красоте и зиждется сохранение родового типа, – вот почему и столь велико это тяготение».¹

Вряд ли что-нибудь можно было добавить к этой цитате или возразить, если бы речь шла только о тяготении, о том мгновенном импульсе, который вспыхивает в нас при виде прекрасного существа другого пола. Но вот это существо открыло рот, засмеялось, что-то сказала, поднесло к губам чашку, подняло и опустило глаза – и все колдовство пропадает; наш порыв угасает, мы испытываем глубокое и безотчетное разочарование, любовь умирает в самом зародыше. Или, наоборот: некрасивая женщина вдруг оказывается в центре всеобщего любовного внимания, ее добиваются наперебой, ревнуют, стреляются, и никто не в силах объяснить себе, в чем же кроется причина ее манящей привлекательности. И те, и другие ситуации поставляются жизнью в неограниченном количестве и ясно свидетельствуют: какая-то часть человеческого существа является для нас в выборе объекта любви не менее важной, чем физическая красота. Ум или простодушие, сердечность или холодность, дерзость или робость, строгость или доступность – ни одно из этих или им подобных качеств не может быть признано определяющим, ибо всегда найдется опровергающий пример. Метафизическое же объяснение, несмотря на свою расплывчатость, как всегда, будет обладать заманчивой всеобщностью и неуязвимостью:

Самым привлекательным и манящим в возлюбленном существе для нас оказывается являемая им свобода – чем выше она нам кажется, тем сильнее наши порывы. (ПМ-104)

Отчего же нам так дорога именно свобода? Да потому, что истинно влюбленный тем и отличается от заурядного соблазнителя, что его манит не столько обретение, кроющееся в физическом обладании, сколько обретение через любовь целого царства свободы – воли другого Я, и чем выше свобода, тем шире кажется ему это царство. По каким-то неуловимым приметам легкости, раскованности, душевной глубины и твердости, так же как по явным проявлениям одаренности или доблести узнаём мы среди окружающих эти незаурядные души и всем сердцем устремляемся к ним. В то же время нашу волю продолжают манить к себе и те, «на чьем прекрасном челе мы узнаём отпечаток рода»; и когда оба этих возможных обретения, высокое и низкое, духовное и природное, соединяются в одном существе прекрасном телом и свободном душою, тогда наша воля оказывается увлеченной любовным порывом такой силы, каковая и обеспечивает любви славу самой непобедимой и всепокрушающей страсти.

Если все это так, могут возразить скептики, то дело должно было бы кончиться тем, что вскоре все бы оказались влюбленными в самую прекрасную и возвышенную женщину и в самого совершенного мужчину. Но этого не происходит по двум причинам. Во-первых, потому что мы способны оценить лишь такие проявления свободы, которые лежат на уровне наших собственных устремлений; все, что намного превосходит наши представления о свободе, кажется нам часто нелепым, отталкивающим, вредным, опасным. Во-вторых, (и это самое главное) в любви, как и в любом другом акте осуществления свободы, огромную роль играет Надежда. Встречаясь со многими женщинами, я могу ясно сознавать, что любовь М. была бы для меня самым большим счастьем, но если я при этом чувствую, что у меня нет никаких шансов завоевать ее, я, скорее всего, не стану и пытаться, предчувствуя всю боль неудачи, то есть обнаружения ужасной несвободы.

Даже истории долгой, преданной и, так называемой, безнадежной влюбленности таят в себе, на самом деле, крохотный огонек надежды, именуемый – «когда-нибудь», «быть может» ... Когда же я вижу женщину не столь совершенную и прекрасную, как М., но чья свобода кажется мне соизмеримой с моей собственной, чьи слова, улыбки и взгляды даруют мне надежду (не уверенность, нет – а именно надежду), тогда моя свободная воля неудержимо устремляется через открывшиеся врата надежды к этому желанному обретению: я влюблен, я добиваюсь ответной любви и делаю это всегда единственным способом – стремлюсь явить предмету любви свою

свободу. Какими бы разнообразными ухищрениями я ни являл свою свободу, будь то житейский успех, героический поступок, острое словцо, ходьба на руках или добровольные лишения ради возвышенной цели, суть их всегда остается одна и та же и, наверно, определяется тем же законом, что и весенние поединки лосей, волков, тетеревов, бегемотов, моржей: род должен быть продолжен сильнейшим, то есть самым свободным. (ПМ-105)

«...Обыкновенное половое влечение пошло, – пишет Шопенгауэр, – так как, чуждое индивидуализации, оно направлено на всех и стремится к сохранению рода только в количественном отношении, без достаточного внимания к его качеству. Индивидуализация же, а с нею и интенсивность влюбленности, действует как бы по специальному поручению рода... и влечение получает более возвышенный и благородный характер».²

Жажда сохранить свободу выбора в любви так велика, что нет, кажется, более обычного сюжета любовной драмы (песни, поэмы, легенды), чем брак по принуждению. Родителям, женившим детей без их согласия, любой протест со стороны их чада казался, видимо, просто капризом (мы нашли ему такую пару!), недопустимым своеволием. Но вполне возможно, что миллионы этих непокорных чад, решавшихся на открытое возмущение, убежавших из дома, рисковавших лишением прав и наследства ради свободы выбора, подсознательно отстаивали нечто более высокое, чем просто свой каприз, – сохранение вида не только в «количественном», но и в «качественном» отношении. Недаром же исторические замедления в развитии у того или иного народа почти всегда связаны с семейной несвободой, возведенной в ранг строжайшего, ненарушимого обычая (крепостная Россия, мусульманские страны, Китай).

Формы, в которых выражается любовное томление, у воль различного уровня весьма несхожи между собой. Высокий уровень, как правило, тяготеет к тому трепещущему, робко вздыхающему, преклоненному перед «гением чистой красоты» тону любовной мольбы, который доминирует в поэзии, песнях менестрелей, оперных ариях, к «ты видишь, я у ног твоих, у ног твоих молю тебя...»; на низких же уровнях преобладают брутальные формы понимания любви как торжествующего и всепобеждающего порыва жизненной силы, выливающегося в народной жизни в те или иные фаллические культы, лихие частушки, сочный юмор и тому подобное. Разница эта определяется тем, что возвышенный дух, более чуткий к утратам и обретениям свободы, острее сознает, что он теряет при крушении любовных надежд, поэтому любовь его всегда исполнена страха и трепета; воля же более низкого уровня меряет обычно чужую сво-

боду своей собственной меркой, не сознавая своей, не сознает и чужой и вполне готова довольствоваться физическим обладанием, а обожествление объекта любви склонна рассматривать как постыдную слабость, заслуживающую лишь насмешки и презрения. (ПМ-106)

Метафизическая природа наслаждений любви связана с тем же самым, с чем и все прочие формы наслаждений, – с энергией осуществления свободы. Энергия же эта, как мы говорили, зависит лишь от свободы, надежды и обретения. Фактор обретения, как правило, задан хотя бы самой животной природой нашего существа, а помноженный на жажду духовного слияния, возрастает необычайно. Фактор свободы также очень высок, особенно там, где браки совершаются не по выбору родителей или помещиков. Остается лишь третий – *надежда-невероятность*.

Отсутствие надежды для любви смертельно; но точно так же опасен для любви и переход надежды в уверенность. Когда то, что раньше было мечтой, отзывавшейся в сердце горячим трепетом, – завоевать Ее любовь, овладеть Ею, – остается позади, становится частью владений я-могу, тогда энергия осуществления свободы, а с нею и восторги любви резко идут на убыль. Абсолютно покорная и всепрощающая любовь, супружество – как часто они гасят даже самое горячее чувство. («Я сколько ни любил бы вас, привыкнув – разлюблю тотчас».³) В жажде вернуть этот привкус несбыточности, возродить в сердце сладкий трепет, поставить между свободой (выбора) и обретением (объятий) еще и плотину надежды-невероятности, поднимающую энергию осуществления, и кроется причина извечного *непостоянства* любви, бесчисленных ее драм, измен и разрывов.

Этот порыв к непостоянству так силен, что любое общество, любая воля Мы должны класть в основу своего устройства именно институт брака в той или иной форме – без него их существование было бы немислимо так же, как существование организма без клеток. И хотя подавляющее большинство людей вынуждены подчиняться этим формам, хотя миллиарды пар всех времен и народов прожили свою жизнь, не нарушив брачных уз, а многие были даже и счастливы при этом, извечное общечеловеческое сочувствие к любви свободной, не признающей никаких преград и ограничений, ясно выражено в бесчисленных произведениях любовной лирики всех народов.

Ведь что несет с собой долгая совместная жизнь? Постепенное угасание не только надежды-невероятности, но и двух прочих факторов. Все жесты, интонации, улыбки, все вспышки чувства и мысли, которые раньше казались столь неповторимыми, столь ярко

свидетельствующими о свободе избранной нами души, теперь стали привычными, рутинными, многие мы научились уже предсказывать заранее, а в том, что можно предсказать, разве мыслимо разглядеть хоть проблеск свободы? Мы разочарованы, нам скучно – свобода другого существа уже не кажется нам столь высокой, представление об обретаемом тускнеет, утрачивает необходимое свойство бесконечности – повторение убивает его. С другой стороны, весь груз обязанностей, накладываемых браком, чувство долга перед семьей или угроза общественного мнения придавливают и наше сознание собственной свободы – столь гордое и несомненное в период ухаживания. Долг вместо свободы, скучная уверенность вместо трепетной надежды, привычность внешнего облика во всей несвободе явления вместо необъятности обретения, таящегося в незнакомой красоте... О каком наслаждении, о каком осуществлении свободы может идти речь?

Воля Мы, формирующаяся под натиском многих волей Я, изыскивает сейчас различные средства борьбы с этим затуханием, ибо ей нежелательно ослабление брачных связей, которым оно чревато. Так, узаконенный развод в какой-то мере сберегает фактор свободы (хочу – живу с тобой, захочу – уйду; свобода!); равноправие супругов не позволяет надежде на физическое и духовное обладание превратиться в абсолютную уверенность; улучшение жилищных условий дает возможность не мозолить глаза друг другу с утра и до вечера и тем самым сохранять при каждой встрече долю новизны и очарования.

Однако не на этих мерах и не на любви-страсти держится прочность брака. Семья и, особенно, дети – это всегда то желанное обретение, которое дает возможность каждому человеку превратить даже скучный повседневный труд в процесс осуществления свободы. Бесмысленность завертывания одних и тех же трех гаек в течение рабочего дня казалась бы ему преступной растратой дара жизни, если бы не существование близких, зависящее от его труда. Над эгоистом, живущим только для себя, для расширения исключительно своего царства я-могу, всегда висит угроза осознать конечность обретаемого на этом пути – собственной смерти. Дети же и дети наших детей – это такая уходящая в бесконечность река свободы, в которую энергия нашей деятельности может впадать естественно и ровно, нигде не достигая предела впереди, даруя этим нашей воле самое главное – возможность осуществлять свою свободу. (ПМ-107-108)

Метафизическая сущность всякой любви (в широком смысле этого слова) в том, что она дарует нам обретаемое. Любовь к семье и близким – самая наглядная форма, а потому и самая распространенная. Не менее наглядны здесь и воли не-Я, которые нам следует

одолевать в процессе осуществления свободы на этом пути: силы природы, воля других людей, даже воля Мы. Находить обретаемое в любви к Мы – к народу, к политической партии, религиозной секте – несколько труднее (не так наглядно), зато и обретаемое по признаку свободы кажется намного выше, и то, что требуется преодолеть, тоже вполне понятно – воля других Мы. Наконец, любовь к человеческому роду или к Богу хотя и признается всеми весьма возвышенной, очень редка потому, что представляющая способность человека строится целиком на умении отличать *что-то от чего-то*; поэтому он всегда не столько любил своего Бога, сколько ненавидел чужих богов или дьявола, человечество же сумеет полюбить, видимо, лишь столкнувшись с марсианами или сатурнианами. Кроме того, эти две формы любви требуют от нашей воли преодоления не каких-то внешних воль, а, как правило, собственных внутренних воль нашего тела – таких близких, родных и понятных – во имя совершенно расплывчатых идеалов гуманности, справедливости, праведности. Поэтому-то, хотя свобода нашей воли осуществляется всегда по многим руслам, основной ее поток направлен у современного человека в русло семьи – здесь явно ощущается некий оптимум. Но как бы ни была прочна семья, мечта о любви свободной, новой, готовой вспыхнуть вот сейчас, выйти навстречу из-за поворота, всегда будет висеть над ней сверкающей угрозой, будет питать собою сны, стихи, романы, кинофильмы – бороться с этим бессмысленно. (ПМ-109)

То, что любовь и разврат при всей своей похожести очень отличаются друг от друга, – ходячая истина; попробуем истолковать сущность этого различия с метафизической точки зрения.

И то, и другое дарует наслаждение, и то, и другое переживается нашей волей как осуществление свободы. Но если в любви воля того, к кому нас влечет, является обретаемым, то в разврате она всегда то, что *преодолевается*; обретаемое же – лишь утоленная похоть. В этом и состоит их коренное отличие. «Он сломил ее сопротивление», «любовные победы», «игра любви», – сам лексикон волюкитства пронизан терминами, отражающими его спортивно-игровую сущность. Соблазнять настолько легче, веселее и безопаснее, чем добиваться любви, что очень многие с готовностью предаются этому занятию, вопреки всем моралям, запретам и проповедям. Дон-Жуанская ненасытность, однако, заслуживает не только осуждения, но и сочувствия – ведь ни одну женщину нельзя соблазнить *дважды*. Это можно было бы сравнить с судьбой страстного игрока в шахматы, которого почему-то приговорили к вечному наказанию – искать для каждой партии нового противника.

Профессиональный соблазнитель всегда с такой поспешностью покидает очередную партнершу (партнера) и устремляется к

новой, что совершенно ясно: само по себе обладание не могло быть его целью. Доля невероятности необходима ему в этой игре, как и во всякой другой, – только тогда он способен испытать сполна наслаждение, сопутствующее осуществлению свободы. Кстати сказать, невероятность он порою ищет и находит не только в соблазнении новой женщины, но и в побуждении прежней любовницы к каким-нибудь изощренным ласкам, к новым бесстыдствам. Однако, как бы ни была изобретательна его фантазия, все эти приемы окажутся действительны один-два раза – повторение лишит их всякой цены для его томящейся и ненасытной воли, ввергнет их в безразличную пучину я-могу. И снова он кинется на поиски новых женщин, благодаря в глубине подсознания небеса за то, что их так много и все хоть в чем-то да неповторимы – то есть свободны; свободны настолько, что даже могут сказать ему «нет».

Здесь уместно будет упомянуть и о той стороне любовного влечения, которая приводит к так называемым извращениям. Зарождаются они, конечно, в детстве и зависят от того, с каким из впечатлений внешнего мира в детском сознании связалась первая вспышка острого сексуального возбуждения: раскрытая постель родителей (Фрейд?), обнаженное тело товарища по играм (Оскар Уайльд?), девочка-подросток (Достоевский? Набоков?), телесное наказание (Руссо, Захер-Мазох). Дальше ребенок, чьи мысли – единственное, чем он может распоряжаться безнадзорно, начинает сам вызывать эту волнующую картину в воображении, чем доводит мимолетную ассоциацию до прочности условного рефлекса. (ПМ-110-111)

Но если сексуальные вкусы, зароненные в нас с детства, – случайность, то все начинающее манить нас в зрелости связано с потребностью острее ощутить наслаждение, то есть увеличить энергию осуществления. Для этого наша воля часто прибегает к искусственному приему: воздвигает между своей свободой и любовным обретением не невероятность-надежду, а лишь ощущение трепетного и сладостного страха, которое всегда сопутствует ей. Это упоительное волнение легче всего вызывается в нас стыдом или болью – своей или чужой. В предельном случае такой путь приводит к Захер-Мазоху или де Саду и к соответствующим отраслям порнографической промышленности, в повседневной же жизни обнаруживает себя, с одной стороны, в том, как ценится всеми сладострастниками стыдливая невинность, с другой – в изобретении любовной парой новых и новых ласк, в том числе и таких, которые оставляют на теле долго незаживающие следы, в радостях взаимного мучительства («крепче бьет – крепче любит»).

Так как наша воля всегда переживает любовное влечение как одно из главнейших проявлений своей свободы, то и всякая неудача здесь переживается как величайшее несчастье. Страдания *ревности*

– это обнаружение ужасной несвободы через сравнение со свободой, явленной счастливым соперником. Причем, как правило, мы легче переживаем свое поражение, когда воля-свобода соперника кажется нам явно ниже нашей, и мы можем утешиться презрением к нему и к нашей неразборчивой возлюбленной, не сумевшей отличить «орла от павлина» (орел – это, конечно, мы). Когда же подсознательное чувство говорит нам, что она была права в своем выборе, – о, тогда наши мучения достигают нестерпимой остроты. И если в первом случае, решившись на месть, ревнивец убивает ее (Дездемону, Земфиру, Кармен), то во втором – либо его, либо обоих (Дон-Карлоса, Паоло и Франческу). Ибо убийство кажется ему единственным, чем он может восторжествовать над волей, более свободной, чем его собственная.

Даже любовь к домашним животным, которая у некоторых одиноких людей доходит до уровня всепожирающей страсти, приоткрывает нам тот же самый метафизический феномен любви: ведь какая-нибудь кошка Мурка или болонка Джерри именно тем, может быть, и дорога своей сварливой, никем не любимой хозяйке, что она единственная приоткрывает ей выход из тюрьмы собственного Я, смутно напоминая о трансцендентальной близости всего сущего.

Да, воля человека неустанно стремится раздвинуть границы царства своего я-могу.

Предельная сосредоточенность на деятельности этого расширения любой ценой есть то, что обыденный язык именуется эгоизмом, а метафизика могла бы назвать «забвением своей трансцендентальной сущности». Феноменальность любви состоит именно в том, что она, быть может, – единственная из страстей, способная пробить скорлупу эгоизма, отвлечь человека от вечного метания в мире явлений, где проходят границы я-могу, и даровать ему блаженные минуты соприкосновения, слияния с трансцендентальной бесконечностью другого существа. Это блаженство и является сердцевинной всякой счастливой любви. (ПМ-111)

Жажда любви может порой утоляться и бескорыстным обожанием издалека. Если предмет нашей влюбленности слишком удалён от нас на лестнице социального неравенства, мы смиряемся с его недостижимостью, но продолжаем лелеять в душе нежные чувства. Многие известные поэты оставили нам свидетельства такого чувства. Данте издалека обожал Беатриче, Петрарка – Лауру, Ростан описал любовь Сирано к Роксане. В средневековом Провансе возникла целая школа поэтов-трубадуров, воспевавших поклонение Прекрасной даме. Александр Блок именно так выражал в письмах свою любовь к Менделеевой и даже когда она откликнулась на неё и вышла за него замуж, пытался затолкать её обратно на пьедестал.

Такой вид любовного томления не является уделом одних лишь поэтов. Люди влюбляются в знаменитых актёров, певцов, спортсменов, писателей, пишут им письма, фотографируют тайком, собирают их автографы и связанные с ними сувениры. В сегодняшней Америке такие люди получили название «стокеров», и статистика говорит, что их число перевалило за три миллиона. Иногда их назойливость переходит границы, но защиты от них нет, потому что нет соответствующих законов. Нельзя же арестовать человека за то, что он попросил автограф у знаменитости. А ведь именно под таким предлогом Марк Чепмен приблизился к певцу Леннону и через минуту застрелил его. Уже многие актрисы и телеведущие оказались жертвами стокеров, потерявших контроль над собой.

Как щедро, безоглядно, настойчиво, а порой и безалаберно русский язык пускает в дело слово «любовь»!

Я люблю свою жену.

Он любит картошку.

Мы любим рыбалку.

Все любят деньги.

«Она любила Ричардсона».

Как можно не любить цветы, звёздное небо, морской простор?!

Мастер словесного эпатажа, Владимир Маяковский, объявлял, что он любит «смотреть, как умирают дети».

И в этом сумбуре легко исчезает, теряется важнейшее различие между тем, что следовало бы именовать «любовь-страсть», «влюблённость» и «любовь-доброта».

Разница между ними – как разница между огнём костра и огнём в печи.

Огонь костра ярче, жарче, виден дальше, раздвигает ночной мрак на вёрсты кругом. Но он не может гореть вечно, рано или поздно потухнет.

Огонь в печи прорывается короткими проблесками в прорезях печной дверцы, вокруг него не станешь водить хоровод, им нельзя украсить фотоснимок. Но на нём можно сварить обед, он наполнит печь жаром, который разгонит окружающий холод, позволит выжить в доме, окружённом морозом и мраком.

В отстаивании права молодых людей на любовь-страсть, чуткие и чувствительные люди вошли в такой азарт, что наложили на неё непосильную обязанность: быть строительной площадкой, фундаментом для постройки семейного здания. Наоборот, любовь-доброта была отодвинута на задний план, приравнивалась к скучным, бытовым заботам. А что случится, когда любовь-страсть истает, улетучится, когда её вытеснит новая? О, тогда мы разрешаем вам раз-

вестись и строить новую семью на новом фундаменте! То, что позади останутся развалины нескольких жизней в учёт не принималось.

Любовь-доброта, на которой только и можно строить семью, была объявлена второсортной, «ненастоящей», неотделимой от детских пелёнок, горшков, клистиров. Молодые люди, замороженные раздуваемым культом любви-страсти, после вступления в брак впадали в отчаяние. Яркий пример такого горестного разочарования мы находим в дневниковых записях Льва Толстого, датированных 1863 годом:

«До женитьбы я был игрок и пьяница. Но за прошедшие десять месяцев я впал в запой хозяйством и в этом запое стал маленьким и ничтожным, вверг себя в пошлость жизни, ненавистную мне с юности. Чего мне надо? Жить счастливо, то есть быть любимым женой и собой, а я ненавижу себя за это время. Даже когда пишу в дневнике, спрашиваю себя: а не фальшь ли? Не для неё ли, которая читает из-за плеча, я всё это пишу? Разве за эти месяцы не стал ты самым ничтожным, слабым, бессмысленным и пошлым человеком?»⁴
(ПФ-237)

Об опасностях культа любви-страсти предупреждал уже юный мудрец Лермонтов:

Страшись любви: она пройдет,
Она мечтой твой ум встревожит,
Тоска по ней тебя убьет,
Ничто воскреснуть не поможет.⁵

Но кто станет слушать мудрецов, когда из миллионов репродукторов несётся сладкое пение сирен, посылаемых таинственной богиней Красоты?

Глава 18. ЖАЖДА КРАСОТЫ

Эстетическое чувство присуще в той или иной степени каждому человеку и, пожалуй, остается до сих пор одним из самых загадочных свойств его. Будучи пробуждаемо всегда внешним впечатлением, то есть относясь всецело к миру явлений, оно, в то же время, абсолютно не подчинено закону причинности, царящему в этом мире. Лишь самый ограниченный и тупой схоласт может спросить меня, почему-то кажется мне красивым, а это – безобразным. Вопрос «почему» здесь выглядит принципиально невозможным – метафизика и не будет пытаться отвечать на него. Зато ей не уйти от другого вопроса, а именно: «если удовольствие – всегда знак обнаружения нашей волей большей свободы, то как совместить с этим постулатом наслаждение прекрасным, испытываемое нашей волей отнюдь не в процессе осуществления свободы, а как раз в состоянии пассивного созерцания?»

Обычно все явления окружающего мира занимают нашу волю лишь постольку, поскольку они годятся к осуществлению ею своей свободы. Всадник, спасающийся от погони, останется безразличным ко всем красотам природы, проносящимся по обе стороны дороги; генерал будет смотреть на расстилающийся перед ним ландшафт только с точки зрения устройства позиций своей армии; охотник, сжимающий ружье, не заметит красоты оленя; промышленник, не задумываясь, прикажет вырубить прелестную рощу или сад, если это будет сулить ему выгоду. Но и тот, и другой, и третий, и четвертый в минуту покоя, когда вечное вождление воли утратит на некоторое время свою остроту, могут застыть в восхищении перед открывшейся им картиной и пережить несколько чистых минут загадочного и бескорыстного наслаждения.

Суть этого наслаждения – обнаружение своей слитности с необъятным царством свободы, заключенном в гармонии природы.

Воли низших уровней предстают перед нами в пейзаже, в живом существе не в противоборстве своем, которого мы не замечаем, а в такой гармонии и единстве, что наши обычные страсти начинают казаться нам мелкими и преходящими перед картиной этого вечного, тихо струящегося покоя. Мы забываем на время свою отдельность от мира, то есть от всех прочих волей, и начинаем ощущать глубокую внутреннюю слитность с ним – это и есть момент обнаружения новой свободы, дарующий нам неизъяснимое наслаждение. Плотины, отделяющая крошечную гавань нашей воли от океана других волей, как бы прорывается ненадолго и мы чувствуем в себе отголосок его безбрежности – величественной и прекрасной.

Картины природы принято различать по степени красоты, но каждый знает по себе, что изящнейший южный ландшафт может оставить нас равнодушными, если воля возбуждена каким-то желанием, и наоборот, в состоянии покоя и отрешенности самый невзрачный кустик, травинка, розовая шелуха на стволе сосны могут наполнить нашу душу чувством сладкого умиления. («Но я люблю, за что – не знаю сам – её степей холодное молчанье...».¹)

Мы так же отделены и так же слиты с окружающей природой, как лист отделен и слитен с деревом; и для того, чтобы ощутить свою слитность, нам необходимо не только увидеть что-то прекрасное, но, прежде всего, забыть о своей отдельности, удалить из сферы являющегося все, что может стать объектом нашего хотения. Поэтому-то ничто не кажется нам таким прекрасным, ни в чем бытие мировой воли не предстает перед нами в таком очищенном, исключаящем корыстное вождление виде, как в произведениях искусства. (ПМ-132-133)

«Идеи существ, – говорит Шопенгауэр, – легче постигаются нами из художественных произведений, чем из действительности. Ибо то, что мы созерцаем только на картине или в поэтическом творении, стоит вне всякой возможности какого бы то ни было отношения к нашей воле, так как уже по своему характеру оно существует только для познания и непосредственно обращается только к нему. Наоборот, восприятие идей из действительности до некоторой степени предполагает отвлечение от собственной воли, возвышение над ее интересами, которое требует особой центробежной силы интеллекта. А последняя в своей высокой степени и с некоторой продолжительностью является достоянием одного только гения...».² То же самое, только другими словами выражал и не читавший Шопенгауэра Белинский: «Какое же значение и какая цель искусства? Изображать, воспроизводить в слове, в звуке, в чертах и красках идею всеобщей жизни природы: вот единая и вечная тема искусства... Чем выше гений поэта, тем глубже и обширнее обнимает он природу и тем с большим успехом представляет нам ее в ее высшей связи и жизни».³ Только с этой точки зрения оказывается возможным объяснить себе феномен того глубокого впечатления, которое производят на нас творения истинных художников, поэтов, композиторов, архитекторов, независимо от того, где и когда они были созданы.

Что касается музыки, то по справедливости метафизик должен был бы ограничиться цитатами все из того же Шопенгауэра. В музыке мировая воля является нам в самом чистом виде, как вещь в себе, поэтому-то содержание ее понятно каждому и, в то же время, непереводаемо на язык слов и понятий – честь этого открытия навсегда должна остаться за философом воли и представления. «Все возможные стремления, волнения и проявления воли, все сокровенные

движения человека, которые разум слагает в широкие отрицательные понятия чувства, – все это поддается выражению в бесконечном множестве возможных мелодий; но выражается это непременно в себе, а не в явлении, – как бы в сокровенной душе своей, без тела. Из этого интимного отношения, которое связывает музыку с истинной сущностью всех вещей, объясняется и тот факт, что если при какой-нибудь сцене, поступке, событии, известной ситуации прозвучит соответственная музыка, то она как бы раскрывает нам их таинственный смысл и является их верным и лучшим комментарием». ⁴ (ПМ-134)

Совершенно особый интерес для метафизического анализа представляют те виды искусства, в которых бытие воли предстает перед нами на самых высших, человеческих уровнях, а именно *драматические* искусства – пьеса, роман, фильм.

Долговечность самых прославленных произведений этого жанра обусловлена отнюдь не отказом героя от воли, но тем, что за внешним ходом явлений, за борьбой смертных героев проступает увиденное гениальным художником противоборство вечных и неуничтожимых волей, – потому-то они и продолжают волновать нас, что это противоборство присутствует и в нашей жизни. Мы давно не верим в важность обрядов, совершавшихся над мертвыми в языческом мире, и знаем, насколько непрочной оказалась та форма Мы, которая была воплощена в греческом полисе, но тем не менее трагедия Антигоны и Креона до сих пор исторгает у нас слезы из глаз, ибо мы видим за их частным столкновением нечто большее: столкновение воли, стремящейся обрести высшую свободу в исполнении Божественного закона, с волей, стремящейся к исполнению закона человеческого Мы. И та, и другая воля устремлены вверх, и та, и другая дорого платят за свой порыв, и то, и другое устремление продолжают жить в сердцах людей, и противоречие, заложенное в них, продолжает угрожать каждому из нас трагедией, могущей разразиться в любой день.

Противоречие между высоким и низким – это тема тысяч заурыдных произведений; по-настоящему же трагично только противоречие между высоким и высочайшим. Владимир Соловьев совершенно неправ, когда говорит, что «столкновение Антигоны с Креоном не есть коллизия двух нравственных сил – личной и общественной, это есть столкновение нравственной силы, как таковой, с силой противонравственной». ⁵ Если б дело обстояло так, то и трагедии никакой бы не было. В этом высказывании, как в капле воды, отражена неспособность определенного склада мышления к трагическому мироощущению, желание придать всему ужасному характер времен-

ного, случайного и преходящего. Тем, кто до глубины души проникнут иллюзией, что можно устроить свою жизнь или жизнь будущих поколений таким образом, чтобы ничто ужасное не достигало человека, трагедия ни к чему – они ничего не поймут в ней; но те, кто знают, что зерно трагического заключено в самом даре жизни, как некая цена дарованной нам свободы, не станут суетиться в поисках какой-нибудь лазейки, но будут думать лишь о том, где взять сил, чтобы встретить ужасное достойно, – и для них всякая высокая драма навсегда сохранит свое значение как источник, очищающий и укрепляющий душу в этом главнейшем из ее устремлений.

Любая великая трагедия сохраняет свою впечатляющую силу лишь постольку, поскольку она показывает нам самые глубокие и неуничтожимые противоречия бытия нашей воли.

Так, в большинстве фильмов о Жанне д'Арк героиня борется с врагами, с англичанами, то есть с чем-то преходящим, так что победа или поражение одинаково являются концом ее борьбы; и лишь в гениальном фильме Дрейера перед нами в очищенном виде предстает борьба чего-то вечного и неуничтожимого – Божественной воли, давшей силы для подвига, для чуда, и воли церковного Мы, требующей отречься от этой веры и обещающей за это прощение, борьба, ареной которой является душа героини, возносящейся в момент своей добровольной гибели на необычайную высоту свободы.

Отчего гибнет Ромео – не тот балетный, тысячи раз сыгранный, вздыхающий и коленопреклоненный у балкона красавец в трико, а Ромео Шекспира – раздавленный отчаянием человек, катающийся по полу в келье Лоренцо? Оттого что злая судьба столкнула два самых высоких порыва его души, сделала взаимоисключающими обретение любви и обретение выполненного долга – а это может случиться с каждым.

Отчего Гамлет медлит с возмездием за отца? Не из трусости, не из слабости, не из низменных мотивов, но из-за необычайно высокой способности представления, из-за того, что его духовный взор слишком глубоко проникает в суть вещей и провидит конечность обретаемого им в убийстве Клавдия, бессмысленность этого поступка, не имеющего никакого выхода из дурной бесконечности убийств, а следовательно и невозможность осуществления свободы на этом пути; противоречие между глубиной знания и способностью действовать, то есть *быть* («быть или не быть?») – оно также вечно и неуничтожимо.

А вот другой герой – Раскольников, – попытавшийся действовать и немедленно обнаруживший реальность существования Божественной воли, накладывающей незримые запреты на наш томящийся дух, запрещающей ему осуществлять свободу ценой преступления.

Но, пожалуй, самым высоким примером трагедии до сих пор остается трилогия Эдипа. «Герой должен был биться против рока, – писал об Эдипе Шеллинг, – иначе вообще не было бы борьбы, не было бы обнаружения свободы; герой должен был оказаться побежденным в том, что подчинено необходимости; но, не желая допустить, чтобы необходимость (то есть рок) оказалась победительницей, не будучи вместе с тем побежденной (человеком), герой должен был добровольно искупить и эту predetermined судьбой вину. В этом заключается величайшая мысль и высшая победа свободы – добровольно нести также наказание за неизбежное преступление, чтобы самой утратой своей свободы доказать именно эту свободу и погибнуть, заявляя свою свободную волю».⁶

У Шеллинга же мы находим необычайно тонкое замечание о роли хора в греческой трагедии. Хор, по его мнению, был призван смягчать переживания зрителя, то есть ослаблять тот способ воздействия, которым пользуется всякое зрелище – в известной мере низменный способ возбуждения нашей воли через сопереживание происходящему на сцене. «Назначение хора стало заключаться в том, чтобы отнять у зрителя его переживания – движения души, участие, думы, не предоставлять его самому себе даже в этом отношении и, таким образом, при помощи искусства всего его приковать к драме... Как свободное созерцание ужасного и скорбного уже само по себе возвышает над первым потрясением ужаса и скорби, так и хор в трагедии был как бы неизменным средством смягчения и примирения, с помощью чего зритель приводился к более спокойному созерцанию и получал облегчение от ощущения боли как бы тем, что она вкладывалась в объект (зрелище) и в нем представлялась уже в ослабленном виде».⁷ Увы, современный зритель потребовал бы немедленно разогнать античный хор; ведь он хочет, чтобы его волю возбуждали и заставляли трепетать любыми возможными способами, жизнь его слишком пресна, он жаждет в зрелище хотя бы иллюзии того, чего лишен в жизни, – предельной энергии осуществления понятой ему свободы. (ПМ-137)

Следует оговориться, однако, что произведению для того, чтобы стать глубоким, вовсе не обязательно быть жестоким и мрачным. Все дело лишь в том, насколько чутко проследивает автор за внешним ходом событий утраты и обретения свободы, приближения к священному Нечто и удаления от него. Путей – миллион: через любовь, через отчаяние, через созерцание природы, мироздания или собственного пупа, через смутную надежду, через самопожертвование и все прочие виды отказа от самого себя, через смертельную схватку, через преступление, даже через пьянство. И в то же время герои могут ежедневно влюбляться, пьянствовать, драться, совершать подвиги, но не сдвигаться ни в ту, ни в другую сторону прочь

из мира явлений, скользить по пелене Майи, как это чаще всего бывает у посредственных авторов. Священное Нечто, горние области свободы недостижимы для человека, но и человек, пока жив, неотторжим от них – в этом убеждении и кроется объяснение того парадокса, что мы с одинаковым доверием воспринимаем и трагическое, и жизнерадостное в искусстве. Да, это правда, вечная правда, чувствуем мы, когда погибает Эзоп в пьесе Фигейредо, только что добившийся свободы: нам никогда не достигнуть этого желанного света, мы умираем на пути к нему; да, снова говорим мы, и это правда, то, что Мазина-Кабирия в финале фильма Феллини, пережив крах всех жизненных надежд, выходит на дорогу и идет по ней счастливая, как идиотка, среди веселящейся толпы – это правда, потому что ничто не может нас отторгнуть от этого насовсем, какие бы несчастья ни обрушивались на нас в жизни-явлении.

Человек так устроен, что для него понять – это уже всегда до некоторой степени преодолеть-возвыситься-закрепить-умертвить-оставить-позади. Разум, пытающийся толковать о любом чуде, – в том числе, и о чуде любви, и о чуде искусства, – напоминает часто самоуверенного чиновника, которому было бы поручено провести опись в реквизированном музее и который, повесив повсюду бирки с печатями и записав названия в ведомость, решительно не знает, что ему еще делать с этими бесполезными предметами. Чудо, заключенное в нескольких нотах моцартовской мелодии, в складках платья, написанных Леонардо, в пушкинской строке «я вас люблю, к чему лукавить?», навсегда останется непостижимым, сколь бы долго и как бы умно мы о нем ни толковали. Эстетическим рассуждениям отнюдь не дано подменить собой искусства, они для разума скорее играют роль переводчика, пытающегося перевести на доступный ему язык песни неведомого мира, того мира, где наша воля слышит голос других волей непосредственно, помимо явлений. И если разум, прослушав перевод, вообразит, что он все усвоил, то это нелепейшая претензия – он усвоил не больше того, что ему было доступно. Поэтому метафизик, хотя и находится всецело в рядах тех, кто завоевывает для разума новые области знания, должен чувствовать себя в эстетике наподобие того образованного офицера при штабе варварской армии, который при движении войск через страну высокой культуры отмечает на карте, какие дворцы не следует бомбить, через какие парки – прорубать просеки, какие церкви не отдавать под конюшни. Но, будучи всего лишь скромным охранителем и спасителем, да не возомнит он себя тем самым выше создателей прекрасного.

До сих пор речь шла только о метафизическом истолковании природы различных искусств. Однако метафизика может пролить

некоторый свет и на другую сторону проблемы, а именно: на закономерности, наблюдаемые в исторических судьбах художников и их творений. Взлет какого-то вида искусства, неизбежно сменяющийся упадком, непризнание художника, сменяющееся признанием, и наоборот, – вот любопытнейшие моменты в истории искусств, до сих пор не имевшие никакого удовлетворительного истолкования.

Можно задать простой до наивности вопрос: что заставляет нас восхищаться тем или иным художником? Нетленная красота его творений? Но если бы мы умели различать ее, разве умирали бы они так часто в нищете и безвестности? Если бы предметом восхищения была только красота, то любое удачное подражание могло бы претендовать на некоторую долю признания. Могут возразить, что подражатель никогда не достигает совершенства мастера, – но многие ли из нас сумеют отличить копию от подлинника? Например, история живописи богата рассказами о судьбах подделок и копий, почти неотличимых от оригиналов. Голландский художник, изготовлявший во время Второй мировой войны подделки под Вермеера Дельфтского и продававший их немцам, впоследствии с трудом мог отбиться на суде от целой комиссии экспертов, утверждавших, что картины подлинные и художника следует судить за распродажу национальных сокровищ. А пресловутая красота старинных вещей, украшений и росписей, подделать которые оказывается столь несложно, что в странах древней культуры возникают целые подпольные производства, выпускающие все эти псевдодревности для продажи туристам?

С другой стороны, если считать, что существуют некие эталоны и вершины красоты, то почему бы Франческо Пармиджанино не писать под Рафаэля, Рембрандту не остановиться на той технике живописи, которая приносила ему славу и деньги, Пикассо не прекратить метаться от одного «периода» к другому? Почему большие мастера скорее предпочитали умирать с голоду, но не делать чего-то проверенного и пользующегося спросом, почему всякое подражание, несамостоятельность выглядели в их глазах недопустимым позором?

Ответ на все эти вопросы может быть только один: потому что художественное творчество мы сознаем как одну из высших форм осуществления свободы, и наше восхищение гениальным художником есть восхищение явленной им свободой, о которой мы порой узнаем не сами, но через признание других, через славу. Провидя за внешней и преходящей оболочкой явлений вечные идеи, чистое бытие на возрастающих уровнях свободы, то есть видя дальше и глубже других, художник не останавливается на этом моменте созерцания, но пытается закрепить отблеск увиденного им в слове,

камне, линии, звуке, цвете, он пытается унести из сказочного царства, в котором побывал, осколок сокровища, увиденного там, – и мы благоговейно почитаем его, если ему это удастся. Подозрение же в подражательстве – это подозрение в краже сокровищ, добытых другими. (ПМ-138-139)

Конечно, восхищаться и почитать глубоко и искренне может только тот, кто и сам побывал в этом сказочном мире сверхчувственных озарений, то есть человек, приближающийся по врожденному уровню свободы к художнику и лишь не обладающий его талантом и упорством. Но хотя таких и относительно немного, самозабвенная их страсть к сокровищам прекрасного сквозь века спасает непризнанное от забвения и уничтожения, придает ему цену в глазах толпы, которая с важным видом заполняет затем музеи, библиотеки и концертные залы, увы, чаще всего находя в этом лишь новый и довольно легкий способ казаться.

Высокий врожденный уровень свободы художника – вот, в чем следует искать объяснения многих закономерностей, проглядывающих в общности их судеб. Непризнанность, отверженность, нищета и гонения, но тут же и непримиримость, и неспособность уживаться, и презрение к покою и благополучию – сколько прославленных имен можно вспомнить, если начать подбирать примеры ко всему этому! Но неверно было бы думать, что периоды взлетов искусства связаны просто-напросто с рождением на свет большого числа гениально одаренных людей. Как зерну для того, чтобы прорасти, необходима благоприятная почва, свет и тепло, так и художнику для того, чтобы созреть, требуется атмосфера свободы; и не только свободы творчества, но и некий дух свободы, царящий в окружающей его жизни. Трудно поверить, чтобы талантливые греки рождались исключительно в демократических Афинах, а в соседней тоталитарной Спарте – ни одного; Италия эпохи Возрождения представляла из себя не государство, а настоящее лоскутное одеяло, но при этом великие мастера, как правило, созревали только в республиках, а тирании лишь нанимали их или заманивали на службу; голландская школа живописи в XVII веке расцвела в вырвавшихся на свободу Северных Штатах и захирела во Фландрии, оставшейся под гнетом Испании; немецкая музыка, философия и поэзия, вознесшиеся на такие высоты в конце XVIII века, переживают резкий спад с воцарением прусского абсолютизма; русская иконопись существует на высоком уровне лишь в Новгородской и Псковской республиках до их подчинения жестокому самовластью Москвы; и так далее.

Отдельная гениальная личность иногда ухитряется выжить и исполнить свое назначение даже в условиях тяжелейшего духовного гнета; но создание целой культурной эпохи неразрывно связано с наличием атмосферы индивидуальной свободы, пусть хотя бы части

общества, как это было в России в век дворянской культуры. Индивидуальная же свобода стоит дорого: она не только чревата внутренними раздорами, но и дает возможность проявиться врожденному неравенству воли, что для менее свободного большинства связано с непрерывным мучением. (ПМ-140-141)

Высокое искусство способны ценить главным образом дальноручные. Близоручное большинство вполне готово довольствоваться любым суррогатом. Требование древнеримской толпы «хлеба и зрелищ!» вполне можно перенести и в наши дни, сделав маленькую поправку: «чтива и зрелищ!». Бесчисленные издательства, журналы, теле- и киностудии, театры и стадионы едва справляются с удовлетворением этой массовой потребности. Совсем не касаясь здесь вопроса о сравнительных достоинствах различных книг, фильмов или спектаклей, метафизик должен лишь выделить те основные черты, которые обеспечивают зрелищу или чтиву успех у толпы, и, наоборот, отсутствие которых резко снижает тираж книги или сумму кассового сбора.

Содержание любой книги, любого спектакля, фильма или состязания дается нам в представлении. Воля наша при этом остается в очевидном бездействии, и, тем не менее, мы можем горячо переживать все происходящее перед нами, то есть испытывать стремительную смену чувств радости и тревоги, надежды и разочарования. Это оказывается возможным благодаря нашей способности посредством воображения отождествлять свою волю с волей другого существа в ее главном свойстве – в томлении духа, в стремлении осуществить свою свободу. С того момента, как такое отождествление произошло, все законосообразности бытия нашей воли оказываются действительными для ее иллюзорного бытия в зрелище: взлеты и затухания нашего сопереживания неразрывно связаны с надеждой, свободой и обретением той воли, которая осуществляет свою свободу на наших глазах, будь то воля персонажа, спортсмена или матадора. В соответствии с этими законосообразностями и выстраиваются каноны любого зрелища.

Обычные термины – завязка, действие и развязка – могут переводиться на язык метафизики так: завязка – столкновение свободных устремлений двух или нескольких волей, соизмеримых по уровню свободы; действие – противоборство этих волей, насыщенное взлетами и затуханиями надежды-невероятности; развязка – обретение или утрата борющейся волей какой-то доли своего я-могу.

Любая попытка объяснить массовый успех или провал того или иного зрелища (книги) помимо метафизических постулатов будет иметь частный и неполный характер, но ошибочнее всего полагать, будто успех может зависеть от глубины содержания. Великие произведения продолжают пользоваться успехом в течение веков лишь

в том случае, если человеческая воля предстает в них в самых вечных, неуничтожимых своих устремлениях, а история ее борьбы за обретение свободы характеризуется высокой энергией осуществления. Но никто не будет спорить с тем, что любая детективная пьеска, написанная на современном материале, может собрать больше зрителей, чем «Гамлет», а приключения Одиссея покажутся пресными рядом с Шерлоком Холмсом или Джеймсом Бондом. Зрелище живет по своим законам – быть может, таким же диким и бессмысленным на первый взгляд, как и порывы самой воли, но все же поддающимся некоторому исследованию.

Спортивные зрелища, гонки, бой быков и прочее нет надобности рассматривать подробно: они всегда в чистом виде игра, то есть чистое осуществление свободы и, как таковое, способны волновать любого нормального человека. Ведь здесь человеческая воля предстает перед нами в простейших, доступных каждому проявлениях – физических, – поэтому отождествление не представляет никакого труда. (ПМ-129-130)

Иное дело спектакль, фильм, книга. Подавляющему большинству людей гораздо легче отождествить себя с современным персонажем, чем с героем прошлого. Если герой устремляется к тем формам обретения, борется против тех видов ограничения свободы, которые знакомы нам по собственному опыту, это тоже волнует гораздо острее, чем, например, борьба Фауста с дьяволом. Сенсационный успех в свое время пьес Бомарше, в которых безродный восстает против знатного, кажется нам сейчас не совсем понятным, зато популярность какой-нибудь современной поделки, описывающей склоку хорошего героя с плохим начальством, представляется вполне естественной. Таким образом, условие отождествления оказывается выполнимым только в том случае, если герой устремляется к известной нам форме обретения. Такой формой для всех людей всех времен и народов является любовь – оттого-то без нее не обходится ни одно произведение. Деньги, власть, борьба за собственную жизнь и физическую свободу тоже достаточно доступны сопереживанию, но не в такой мере, как любовь. Торжество справедливости или исполнение долга могут послужить обретением лишь на худой конец – здесь каждый имеет свои представления о том, в чем заключается справедливость и какой долг следует исполнять, поэтому такие произведения если и имеют успех, то, чаще всего, не объединяющий, а раскалывающий толпу, скандальный.

Если потенциальная возможность зрительно-читательского отождествления с героем обеспечена, можно приступать к самому главному – к действию. Искусство держать зрителя в неослабном напряжении, терзать его душу то страхом, то надеждой, заставлять забыть его, «что все не на самом деле», – совершенно особый дар,

могущий не совпадать с глубоким художественным пониманием человеческого сердца. Правда жизни значит здесь очень мало. Эжен Сю, Агата Кристи, Сименон, Хичкок довольствуются лишь внешним правдоподобием, но зато внимательнейшим образом следят за тем, чтобы столкновения человеческой воли с волей не-Я, тающие в себе предельное напряжение невероятности-надежды, чередовались в своеобразном ритме, вытекали одно из другого, давая человеку лишь краткую передышку для того, чтобы в следующей сцене взвинтить это сопереживание еще сильнее.

Самые невероятные приключения, идущие сплошным потоком, могут наскучить почти так же быстро, как и отсутствие их. Правильность чередования взлетов и затуханий – вот, в чем проявляется мастерство создателя зрелища или читива. То, что это по сути своей игра, игра представления, очень наглядно видно в массе пародий на детективный жанр, появившихся за последнее время. Нелепо думать, будто пародия ставит здесь своей целью осмеяние. Пародия лишь улавливает законы игры, сделавшиеся весьма наглядными в процессе массового производства приключенческих фильмов и романов, и начинает играть в открытую, не претендуя на серьезность. Пусть она теряет при этом в силе производимого впечатления, зато, вырвавшись из границ, поставленных требованиями правдоподобия, получает совершенно безграничную свободу изобретения самых невероятных ситуаций и столкновений – играть так играть!

Пародия всегда возникает в тот момент, когда жанр не может более скрывать искусственность и игрообразность своих форм и, в то же время, сознает эти формы идеально отработанными для воздействия на современного ему потребителя. Причем, это не обязательно упадок искусства. Великие пародии Рабле, Сервантеса, Свифта, Твена используют готовые формы историко-философского трактата, рыцарского романа или путевых заметок, как бы посмеиваясь, иронизируя, но, в действительности признавая некоторое обнаружившееся в литературном процессе их времени совершенство этих форм.

Угадывание, нащупывание, вырабатывание наиболее эффективных форм воздействия для своего времени, правил этой игры представлений и составляет специфическое занятие всех поставщиков *увлекательного*, имя же им – легион. Однако и настоящий художник, если он жаждет немедленного успеха, вынужден будет строить свое произведение таким образом, чтобы воля героя осуществляла свою свободу при самых высоких уровнях Свободы, Надежды-Невероятности и Обретения, понятных каждому человеку. (ПМ-131)

Как достоинство человека во многом определяется тем, какую свободу он может вытерпеть в своем ближнем, так и величие народа

в значительной мере определяется тем, какую гениальность в своем художнике он готов выносить, не изгоняя и не убивая его. Вообразить же, будто это для всех легко и вполне естественно, могут лишь люди, которые сами одарены высоким уровнем свободы. Они убеждены, что «гений и злодейство – две вещи несовместные», и не желают взглянуть на дело с точки зрения посредственного большинства. Ведь искусство – это великий и опасный искуситель, ибо, безразличное к добру и злу, оно способно и в душе каждого человека посеять смуту и неуверенность в отношении того, что есть добро, как его учит понимать данное Мы. Недаром Платон изгоняет из своего идеального государства художников и поэтов, Савонарола жжет холсты и книги. Толстой осуждает музыку, стихи, да и собственные романы как пустую и опасную забаву. Поэтому всякий народ вправе разделять славу своих великих художников: он не только поднялся на тот высокий уровень свободы, без которого невозможно было бы их творчество, но и сохранил перед лицом этих разрушителей соединявшие его в единое целое представления о добром и злом, то есть выдержал искус. (ПМ-141)

Глава 19. ЖАЖДА СПРАВЕДЛИВОСТИ

«Мы знаем, что те исторические образы Добра, которые нам даны, не представляют такого единства, при котором бы нам оставалось только или все принять или все отвергнуть; мы знаем,.. что они слагались во времени и на земле; а зная, что они становились, мы не имеем никакого разумного основания утверждать, что они стали окончательно и во всех отношениях, что данное нам в эту минуту есть всецело законченное. А если не закончено, то кому же, как не нам, работать над продолжением дела».¹

Владимир Соловьев

Все предыдущие главы этой части имели своей невысказанной целью ответить на первый из важнейших вопросов человеческого сознания – «что есть я?» – и сводились, по сути своей, к ответу: **«ты есть воля, жаждущая осуществления свободы»**. Теперь, казалось бы, читатель вправе ждать ответа на второй важнейший вопрос: «что я должен?»

Но легко заметить, что любой ответ, начинающийся с «ты должен», то есть несущий в себе некую форму повеления, немедленно оказывался бы в противоречии с понятием свободы: невозможно говорить человеку «ты свободен» и тут же добавлять – «ты должен». Поэтому метафизика вынуждена отказаться от давнишних притязаний всех философских учений быть одновременно и учением этическим. Единственное, что ей доступно, это по-прежнему отвечать на вопрос «что есть я?», но уже в том суженном виде, как его ставил Толстой, а именно: «что есть я, томимое вопросом «что я должен?», то есть обладающее совестью и сознанием добра и зла поступков, а в связи с этим, что есть мораль и этика в истории человечества.

Коль скоро воля каждого человека жаждет лишь осуществления своей свободы, то все, что способствует ей в этом основном устремлении, она и будет считать добрым, хорошим; и перед лицом этого изначального эгоизма воли парадоксальным следует считать не то, что ни одно из учений о добре не получило еще полного признания среди людей, но как раз то, что некоторые общие представления о злом и добром все-таки утвердились, если не в виде правил поведения, то хотя бы в виде идей. Итак, безусловное присутствие в человеческой жизни моральных категорий, их возникновение, изменчивость и постоянное внутреннее движение, – вот явления, которые метафизике предстоит связать с системой своих основных постулатов.

«Не убий. Не прелюбодействуй. Не укради.» (Исх. 20:13-15). То, что эти древнейшие заповеди до сих пор нарушаются, не должно ста-

вить под сомнение реальности их существования в человеческом сознании: ведь даже самые отпетые убийцы ищут обстоятельств, оправдывающих их преступление, – никто теперь не станет хвастать убийством самим по себе, ибо знает, что большинству людей оно внушает лишь ужас и отвращение. Мы так уверены, что убийство есть нечто омерзительное, что нам даже кажется, будто так было всегда, что это некое врожденное человеческое чувство. Однако уже беглый взгляд на историю человечества в эпоху дикости и варварства показывает нам, что это не так, что такое представление *возникло* и лишь постепенно утвердилось в общем сознании. Правда, мы никогда не сможем увидеть самого момента его возникновения – история показывает нам лишь *расширение* этой моральной категории, которая сначала означает «не убий никого из своего рода», затем «своего племени», «своего народа», пока, наконец, не принимает в христианском учении характера всеобщности – «не убий никого».

Нет ничего проще, чем сказать «постепенное расширение моральной категории» и считать, что этим все объяснено. Но попробуем силой фантазии представить себе движения души человека, являющегося членом родового Мы. Он исполняет все обычаи и обряды, завещанные ему предками, тот Закон, который отлился ко дню его появления на свет и придает роду форму некоего целого. Он искусный охотник, плодovitый отец, трудолюбивый хозяин. Если ему встретится в его угодьях человек другого рода, он не задумываясь и без всякого предупреждения убьет его, ограбит труп и будет щеголять перед сородичами его скальпом или засушенной головой или еще чем-то в этом роде. Все эти дела кажутся ему исполненными высокого смысла и значения, ибо воля его находит здесь все необходимое для главного своего устремления – осуществления свободы. Но вот однажды (для этого «однажды» особой фантазии еще не нужно) он обнаруживает в лесу убитого в спину сородича – убитого точно так же, как он убил того, чужого. Он тоскует, вспоминает рассказы стариков о других убитых, о том, как был убит его отец, душа его томится предчувствием бесконечности этих смертей (мы убиваем их, а они нас), а ум напрягается в поисках выхода из этой бесконечности – и не находит. И сколько веков и тысячелетий должно пройти прежде, чем в сознании какого-то человека, томимого жадной небывалого осуществления свободы, не забрезжило смутное представление, мечта о Законе – о нет, еще не о законе «не убий», но о законе возмездия, о бескорыстном отмщении, страх перед которым мог бы удерживать всех будущих убийц. А затем сколько веков должно было пройти прежде, чем появился человек, настолько проникнутый ощущением рода как наивысшего средоточия свободы, что он решился пойти и, рискуя жизнью, исполнить этот закон и, может быть, погибнуть, исполняя его. И сколько должно было явиться таких людей, и

сколько раз они должны были исполнить нарождающийся Закон прежде, чем в сознании родового человека утвердилось представление о законе кровной мести как о чем-то самом возвышенном, как о готовности ценой своей жизни, то есть индивидуальной свободы, укрепить и сохранить более высокую свободу – свободу родового Мы. И только представив себе огромность этого пути, вообразив величие такого морального требования для родового человека, мы можем подступить к реальному значению слова «расширение».

Кем должен был быть тот первый член рода, кто, исполнив закон кровной мести и сидя на праздничном пиру, прославляемый всеми и превозносимый, испытал вместо радости и торжества, смутное чувство тоски и недоумения? Какая трезвость и смелость ума нужна была ему для того, чтобы ясно представить себе весь ряд отмщений, который предшествовал его поступку и который, наверняка, последует за ним, ибо родичи убитого будут мстить теперь ему и его детям, и прочувствовать в этом ряду все ту же дурную бесконечность? И какая пророческая смелость нужна была тому, кто, попирая высшее этическое требование своего времени, решился сказать, что закон кровной мести – бессмыслица, и нужен какой-то другой Закон? А драма того, кто первый снова решился исполнить собою этот еще не существующий закон, прервать дурную бесконечность отмщений, не отомстить и испытать всю тяжесть позора, унижений, отверженности? И разве сам он мог быть так уж уверен в своей правоте, разве не терзали его сомнения, которые порой были страшнее брани и презрения сородичей? (ПМ-141-144)

Суть трагедии такого человека та же, что и трагедии принца Гамлета, и принца Арджуны из индийского эпоса «Бхагавадгита»: моральный закон, завещанный мне отцами, требует от меня действовать, мстить, сражаться, я признаю правоту его требования, признаю, что только исполнение закона обеспечивает бытие воли Мы – самой высокой, самой свободной, – но, в то же время, я провижу дурную бесконечность вражды, провижу, что свобода Мы не возрастет от исполнения мною закона, то есть провижу *конечность обретаемого*, и это убивает во мне желание действовать, лишает волю энергии осуществления.

Гамлет, в конце концов, мстит, Арджуна – сражается, и тот древний человек, скорее всего, скрепя сердце идет без радости выполнить тот долг, который все вокруг него признают священным. Но даже если не нашлось тогда ни одного, исполнившего новый закон «не убий», то и трагедия тех, кто переживал сомнения и добровольно шел на позор хотя бы временного неисполнения старого закона, сплетаясь из века в век в тайные и полузапретные предания, проникла в сердца других людей, находила в них отклик, склоняла их устремленность к большей свободе в сторону этого нового закона, и это длилось до тех

пор, пока эта новая устремленность не перевешивала сама по себе или не сливалась с военной необходимостью и воля Мы не переходила на более высокую ступень свободы – от рода к союзу родов, к племени, в котором уже каждый соплеменник должен был попадать под защиту «не убий». Для нас этот переход кажется неразличимо ничтожным, а на него должны были уйти тысячелетия, наполненные внутренним напряжением моральной борьбы. Конечно, создание племени само по себе не отменяет еще закона кровной мести, который укореняется так глубоко, что доживает даже до эры цивилизации, конечно, от суда старейшин племени еще очень далеко до уголовного кодекса и упорядоченного судопроизводства, конечно, законы племени, запрещающие убийство соплеменника, еще очень слабы, и все же переход этот – великий момент в истории возрастания свободы данного Мы.

Как бы глубоко ни проникал наш взор в «священный колодез истории» (Томас Манн), всюду мы видим человека уже принадлежащим к какому-то Мы. Момент зарождения самого Мы оказывается таким же неуловимым для наших исследований, как и момент появления любого животного вида, и мы, по справедливости, склоняемся думать, что никакого момента и не было, а был длительный процесс возникновения и становления. Соединение людей в единое Мы, независимо от его сложности, происходит не путем простого скопления в одном месте и затем совместных перемещений, как в стаде животных, но путем их подчинения общим верованиями, правилам, обычаям – законам. Закон есть общее требование ко всем членам Мы, которое и придает ему и его жизнедеятельности определенную форму, превращает в некое подобие живого организма, взаимная согласованность и взаимодействие отдельных частей которого гарантирует ему сохранение высокого уровня свободы. Нарушена согласованность, нарушен Закон – уровень свободы немедленно снижается; полное уничтожение Закона приведет лишь к полному распаду, к исчезновению Мы.

Всякий человек, к какому бы Мы он ни принадлежал, не может не видеть, до какой степени свобода его Я связана и зависит от свободы Мы, а та, в свою очередь, – от выполнения каждым Я связующего Закона. Поэтому-то выполнение законов своего Мы и представляется в глазах людей столь важным – от этого зависит бытие и свобода Мы. Причем, выполнять закон, как правило, вовсе не легко: как мучительно трудно бывает чтить отца и мать, если ясно видишь в них только вздорных, выживших из ума стариков; как трудно блюсти заповедь «не прелюбодействуй», когда чужие жены так молоды и прекрасны; и как не пожелать «дома ближнего твоего, ни поля его, ... ни вола его, ни осла его» (Второзак. 5:21), когда и дом, и поле, и вол, и осел настолько лучше твоих собственных. И именно оттого, что это так трудно, человек, выполняющий Закон ради самого Закона, то есть

высоконравственный человек, вызывает в окружающих такое одобрение, и, с другой стороны, сам может находить в исполнении Закона глубочайшее удовлетворение, ибо он видит на этом пути возможность для своей воли максимального обретения: ведь исполняя добровольно нравственный Закон, он созидает одним актом его исполнения самое свободное, что только видит его взор вокруг него – Мы. (ПМ-144-145)

Любое Мы, каким бы малым оно ни было, различает среди своих членов более достойных от менее, имеет четкие градации верха и низа, имеет своих праведников и своих подонков, пропащих. Одинаковое исполнение закона Мы поголовно всеми представляется абсолютно невозможным, во всяком случае до сих пор нигде не замечалось. Врожденное неравенство воле сказывается здесь в неодинаковой отзывчивости к нравственным требованиям сильнее, чем в любой другой форме осуществления свободы. Большинство, по слабости своей, продолжает грешить, поддается искушениям и страстям, потом в минуту ясного сознания кается, искренне страдает и приходит постепенно к убеждению, что ему нужна более крепкая узда, чем эфемера морали. «Мы признаем данное правило хорошим, мы хотим, чтобы ему подчинились все члены нашего Мы, но сами же по слабости и порочности неспособны твердо исполнять его, нарушаем и, чтобы прервать дурную бесконечность этих нарушений, вводим правило наказания», – так моральный Закон превращается в писанный свод законов.

Человек, живущий в небольшом по численности Мы, в сельской общине, в племени еще в какой-то мере может сдерживать свои опасные инстинкты, ибо жизнь его вся на виду и любое, даже незначительное нарушение общепринятого, любая уступка эгоизму воли Я в ущерб Закону, то есть в ущерб воле Мы, сразу оказывается заметной, превращает его в предмет общего презрения, осуждения, насмешки. Русские писатели и мыслители XIX века никак не могли понять, как это русский мужик, которого они знали и любили как истинное воплощение сострадания, трудолюбия, терпения и разумности, попав в город, часто превращался в существо жестокое, грязное, лживое, лишенное каких бы то ни было нравственных достоинств. «Во всем виноват город, – говорили они. – Растленное влияние Запада. Язвы цивилизации. Европейская зараза». Но ни город, ни Запад, ни цивилизация не были виноваты: просто человек, чье нравственное сознание созревало с самого начала в недрах сельской общины, будучи вырванным из общинного Мы, не мог мгновенно перестроиться и проникнуться Законами Мы несравненно более широкого – государственного. На это должны были уйти многие десятилетия, если не века. Сознание воли всенародного Мы как чего-то самого высокого дела-

лось в России всеобщим лишь в связи с отчетливым противопоставлением этой воли воле другого Мы – во время вражеского нашествия. Тогда-то и обнаруживалось здесь то необычайное единство и сила, которые поражали весь мир. В спокойные же времена обыкновенному среднему человеку было совершенно не под силу подняться до такой степени абстракции, чтобы увидеть нечто священное в том единственном, что может придавать форму и целостность Мы гигантского народа – в Своде законов. Весь опыт его жизни учил его, что закон, суд, начальство – самые страшные и жестокие враги, и нет ничего достойнее, чем перехитрить их, обмануть, а если представится возможность, то и уничтожить. Достоевский в «Дневнике писателя» с возмущением описывает курьезы только что введенных в России судов присяжных, когда мужички-присяжные оправдывали заведомых убийц, только чтобы досадить начальству.

В сущности, историю всякого народа как целого следовало бы отсчитывать с момента появления у него писаного закона; но Боже правый! как долг путь от появления закона до осознания его величия, от какой-нибудь Хартии Вольностей до парламентской Англии, и с каким трудом приходится воспитывать уважение к закону в каждом новом поколении, обуреваемом всегда одной и той же страстью – осуществить свою свободу любыми возможными, в том числе, и незаконными способами.

Свод законов в момент своего возникновения вовсе не является произвольной выдумкой сверхмудрого законодателя. Когда Моисей дает евреям закон, он не сочиняет его, не записывает под диктовку Всевышнего, а лишь закрепляет в виде подробного кодекса те правила совместной жизни своих соплеменников, которые вырабатывались и складывались до него веками. Точно так же и Мухаммед, декларируя веру в того же самого единого Бога Авраама и Моисея, отнюдь не собирается копировать еврейские законы, а лишь упорядочивает и ясно формулирует в Коране правила жизни сугубо арабские. Писанный закон в данном случае лишь превращает этическое требование, имеющее характер *желательности* в правило, *обязательное* для каждого, в статью закона, предусматривающую неизбежное наказание для любого нарушителя. Осуждение прелюбодейства и подкреплявший его обычай казнить прелюбодейку существовал у евреев задолго до Моисея: Иуда, сын Иакова, приказывает сечь свою невестку Фамарь (Быт. 38:24), но когда узнает, что она забеременела от него самого, отменяет свое распоряжение – обычай еще не стал законом, его исполнение зависит от произвола главы семьи. Если бы такая произвольность в исполнении или неисполнении норм поведения продолжала сохраняться, если бы желательность этики не была заменена обязательностью закона, шестьсот тысяч евреев, вышедших из Египта, никогда не смогли бы превратиться в единое целое, в великий

народ, а так бы и оставались союзом родственных племен, вечно раздираемых внутренними распрями, борьбой за первенство, произволом и беззаконием. (ПМ-146-147)

Превращение правила морали в статью закона играет для Мы такую же роль, как для единичного организма превращение мягкой хрящевой основы в твердый скелет; движимо же оно оказывается все тем же устремлением человеческой воли к наибольшей свободе и совершается тогда, когда дурная бесконечность неисполнения моральных законов становится ясной общему сознанию. Ища каких-то способов пресечения ее, оно повсюду, то есть у всех народов, не находит никаких других, кроме учреждения твердого закона: не просто «не убий, не прелюбодействуй, не укради», но «око за око, зуб за зуб», но побивание камнями, но «пять волов заплатит за вола и четыре овцы за одну» (Исх. 22.1).

Само по себе исполнение требований свода законов почти невозможно переживать как акт осуществления свободы. Там, где есть страх наказания, сознание свободы поступка почти уничтожено; свободным я скорее буду считать поступок, нарушающий закон. Даже перед самим собой я не могу быть абсолютно уверен, что не краду я из добродетели, а не из страха наказания. По отношению к закону возвышенный поступок, то есть осуществление свободы, возможно разве что для самих исполнителей, для слуг его. Когда судья или присяжный выносит свое решение, преодолевая порыв личной злобы или не поддаваясь давлению сильных мира сего, они безусловно проявляют этический героизм и вправе испытывать то чувство удовлетворения, которое дается осуществлением свободы. Для всех же прочих людей свод законов – это нечто ставшее, чуждое, застывшее, это явление, существующее независимо от индивидуальной воли. Но именно оттого, что закон – явление, он открывает для воли каждого безграничные возможности другого рода – возможности изменять и переделывать его. В этом и кроется причина того, что миллионы людей с таким жаром предаются страстям политики.

Одиночка, совершающий этический подвиг, и член любой политической партии стремятся, в сущности, к одному и тому же: направить свою волю на созидание некой формы Мы, на формирование закона. Но если первый должен быть охвачен таким высоким стремлением к свободе, что его не останавливает ни сознание одиночества, ни сомнения в правильности пути, ни отсутствие надежды достичь своей цели при жизни, то второму ничего этого не нужно: он в самой гуще партийного Мы, все его сомнения уничтожены объяснениями красноречивых лидеров, и он очень надеется достичь желанных переман в ближайшем будущем и вкушать от них вполне земных плодов. Поэтому-то первые – такая редкость, а вторых – великое множе-

ство. И все же, несмотря на всю ложь, грязь и мерзость, которые связаны теперь в нашем сознании со словом «политика», мы должны признать ее относящейся к этической сфере деятельности человека, ибо корни ее происхождения все те же: устремленность нашей воли к большей свободе через созидание закона, то есть через созидание Мы.

То, что не всякая политика – мерзость, очень хорошо выражено у Владимира Соловьева в том месте «Оправдания добра», где он говорит о крушении рабства в двух христианских государствах – США и России, крушении, случившемся почти одновременно и положившем конец жестокостям плантаторов и помещиков. «Высочайшие нравственные идеалы и идеи сами по себе, отвлеченно взятые, никакого прочного улучшения в жизни и нравственном сознании не производят... Этот (христианский) идеал был известен «истинным христианам» американских штатов и русских губерний. Никакой новой идеи по этой части они узнать не могли; но они испытали новый факт. То, чего идея, ограниченная субъективной сферой личной нравственности, не могла сделать в течение тысячелетий, она сделала в несколько лет, когда воплотилась в публичной силе и стала общим делом».²

Граница, отделяющая требования закона от требований морали, не остается постоянной – внутренняя борьба Мы все время видоизменяет ее, отодвигая то в одну, то в другую сторону. При своем возникновении закон, благодаря заметному для всех улучшению общей жизни, благодаря успеху, приобретает, как правило, наступательный характер. Так, в древней Иудее мы ясно видим тенденцию подчинить писаному закону все сферы человеческой жизни – религиозную, семейную, общественную и личную, предписать даже диету и способы производства, предусмотреть все возможные отклонения от общего. Закон, формирующийся под давлением христианской церкви, тоже часто претендует на полное господство над человеческой судьбой. Сфера, оставляемая свободной воле человека, постепенно сужается, гнет делается невыносимым, возможности к осуществлению свободы в важнейших направлениях – умственном, моральном и религиозном, – ничтожными, и назревающее напряжение вырывается, в конце концов, тем или иным взрывом. (ПМ-148-149)

Движущий пафос любого такого взрыва – утверждение внутренней свободы человека и ее самодовлеющей ценности.

Так было в христианстве («Царствие Божие внутрь вас есть»), так было в реформации и протестантизме («моя вера – дело моей совести»), так было и во всех политических движениях, отстаивавших права человека. В сфере политико-законодательной этот протест от-

разился учреждением конституций. Если закон призван ставить предел воле каждой отдельной личности, то конституция ставит предел воле законодателя и неизбежной тенденции закона к наступлению на личную свободу. Когда многие государства в наши дни, еще не достигшие того уровня правосознания, который позволяет народу перейти от власти правителей к власти закона, спешат на манер государств передовых обзавестись сразу и конституцией (она в них, конечно, никогда не соблюдается), это выглядит примерно так же смешно, как накрахмаленная рубашка на туземце, не имеющем еще штанов; но в то же время, в этом можно усмотреть и некий знак признания за конституционной формой правления высокого уровня свободы – ведь воля Мы тоже хочет казаться, и как бы она ни врала и ни пускала пыль в глаза устами своих крикунов и писак, то, **как она врет, кем стремится казаться**, ясно показывает, в чем она видит большую степень свободы Мы.

Итак, помимо требований закона, каждое Мы предъявляет своим членам еще и требования морали. Принципиальная разница между ними та, что по отношению к моральным требованиям я сознаю свою волю свободной, а значит могу находить в исполнении их удовлетворение – осуществлять свою свободу. Разница непринципиальная, но тем не менее очень важная: в своде законов воля Мы выражена с предельной однозначностью и определенностью, требования же морали расплывчаты, многозначны, противоречивы. Причина этого в том, что **мораль есть Закон, находящийся в становлении**, и наша воля принимает в этом становлении самое деятельное участие.

Каждый человек, как правило, является одновременно членом многих Мы: семейного, кастово-сословного, национального, религиозного, государственного, и в зародыше – общечеловеческого. Моральные требования этих Мы часто оказываются исключаящими одно другое и вечно держат человека перед необходимостью выбора. Торговать честно – или выкраивать недомеры и недovesы для своей семьи, спасти из горящего дома всех подряд – или сначала своих соплеменников, свидетельствовать на суде белому в пользу белого, негру в пользу негра – или свидетельствовать каждому правдиво: во всех подобных ситуациях мы стоим перед моральным выбором, то есть должны выбирать между требованиями этических законов различных Мы, пришедшими в противоречие.

Наше суждение о моральном уровне человека эгоистически склоняется считать его тем выше, чем шире Мы, моральному требованию которого он решил подчиниться, то есть чем больше у нас самих шансов попасть в круг действия моральных законов, им признаваемых. В то же время, наш собственный этический выбор всегда будет определяться тем, в служении какому Мы каждый из нас видит возможность для своей воли наибольшего осуществления свободы. В

зависимости от этого люди могут ставить превыше всего интересы семьи, благополучие сословия, честь нации, веру.

У нас нет никакого объективного критерия, опираясь на который мы могли бы считать ту или иную форму служения выше прочих. Скорее всего, нравственное достоинство человека следовало бы мерить степенью его самопожертвования в служении, степенью его самоотдачи и самоотверженности. Но так как никому со стороны невозможно оценить, чего стоит для человека та или иная духовная жертва, каких мучений – отказ от одного долга в пользу другого, или какова сила его любви к кому-то одному, которой он жертвует ради любви ко многим, мы снова должны признать глубокую правоту экзистенциализма, передающего право верховного суда в выборе между добром и добром исключительно самой личности. «Все стремятся к Закону, – говорит человек, прождавший у врат его всю жизнь, в притче о Привратнике (Кафка, «Процесс»). – Почему же столько лет никто не пришел сюда, кроме меня, жаждущего войти в эти ворота? – Никто и не мог прийти сюда, – отвечает ему привратник, – ибо этот вход был только для тебя». ³ (ПМ-150-151)

Когда в сознании человека родового Мы, томимого зрелищем бесконечности и бесплодности межродовой вражды, начинала брезжить мечта о некоем новом Законе, способном положить ей конец, он тоже должен был представлять его себе Законом для всех людей – для всех, с кем он мог столкнуться в своей жизни, то есть для всех членов соседних с ним родов. Никакого представления о роде человеческом у него просто и быть не могло. В наши же дни, когда жизнь всех людей на земном шаре оказывается все более и более взаимозависимой, взаимообусловленной, мечта о более высоком Законе неизбежно должна рисовать нам его как Закон для всего человечества на Земле. Оттого-то высочайшие моральные устремления наших дней-тысячелетий и кажутся нам столь неизменными и постоянными. Они проступают медленно, но неумолимо, как намеченный кем-то на ткани узор, мы видим сходство и повторение его фигур в житиях святых и легендах об отшельниках, в этических учениях от Сократа и Конфуция до Руссо и Толстого, в собственной смутной неудовлетворенности моральными требованиями уже существующих Мы – нам кажется, что должно быть нечто выше, что оно возможно и достижимо...

Но как?

Сотни лучших умов в течение этих двух тысячелетий пытались найти ответ, миллионы прекрасных порывов человеческой души вплетались в историческую ткань жизни народов, пытаясь приблизить этот смутно брезжащий Закон – и сколько еще раз такие порывы должны реализоваться в поступках, чтобы Мы человечества могло

обрести более прочную плоть нежели в какой-нибудь Организации Объединенных Наций, чтобы прервалась, наконец, дурная бесконечность вражды международной. Но как бы ни был еще далек этот путь, как бы пессимистически ни смотрели мы на принципиальную возможность достижения этой цели, все же невозможно сейчас не признать, что среди этических требований различных Мы, между которыми приходится выбирать человеку, требования Мы общечеловеческого неизменно присутствуют – пусть едва различимые, пусть легко попираемые и отбрасываемые, но все же с тихим упорством возвращающиеся потом снова и снова и томящие смутным сознанием несправедности даже самую неразборчивую совесть.

Итак, изначальная устремленность нашей воли к осуществлению свободы, реализуемая в созидании, укреплении или видоизменении собственным поступком писаных и неписаных законов различных Мы, – вот корень, из которого произрастает этическая жизнь человека (ПМ-152)

Этика наших дней, дошедшая в учении экзистенциализма до убеждения, что самым главным, единственным и неистребимым свойством каждого человека является *свобода* его воли, тем самым была вынуждена отказаться от понятия этического Закона как такового: ведь любой Закон это как раз форма ограничения свободы индивидуальной воли во имя более обширной свободы Мы. Продолав огромный путь, обогатившись неисчислимыми сокровищами знания и культуры, изошрив свой разум до изумительной тонкости, человеческое сознание на этом этапе снова оказывается перед непостижимым для него противоречием: с одной стороны – я ощущаю себя свободным; с другой – я ощущаю себя жаждущим подчинения какой-то высшей воле, какому-то закону. Застывая перед этим противоречием, мучаясь им и томясь, не находя возможностей обрести эту высшую волю в законе для всех людей, оно точно так же, как и сознание наших далеких предков, доходивших до него гораздо более коротким путем, видит единственный выход из него, единственную возможность общечеловеческого единения в том, что стало теперь настолько труднее, чем раньше – в вере. (ПМ-157)

Глава 20. ЖАЖДА ВЕРЫ

«Любовь все-таки имеет жрецов в поэтах, и порою слышатся голоса, умело отстаивающие любовь. О вере же не слышно ни слова: кто отдает честь, кто славит эту душевную страсть?»¹

*Серен Кьеркегор
«Страх и трепет»*

Но действительно, кто бы мог отстаивать или славить веру как страсть? Ведь те, кто обладает ею, славят Бога, Высшее существо, Идеал – то, во что они верят. Те же, кому верить не дано, не могут ничего сказать об этом чувстве – им остается либо завидовать верующим и преследовать их, либо мечтать об обретении хотя бы какой-нибудь веры. Ибо поистине нет для человека на земле большего сокровища, чем сокровище веры: она может дарить его сверхъестественной силой в борьбе с миром и самим собой, может обращать в радость любую скорбь, может заполнить блаженством тихого умиления самое пустое существование, может сделать неуязвимым для людской злобы и насмешки, может, как это ни парадоксально, даже защитить от урызваний совести.

«Блаженны не видевшие Меня и уверовавшие». (Иоанн, 20:29)

Но для тех, чьим уделом оказалось **знание**, обрести это сокровище невероятно трудно. Можно, конечно, говорить, что и ученый по-своему верит – в истину, в разум человеческий, в справедливость, – что эта вера порой дает ему выстоять перед тяжелейшими испытаниями, даже пойти на смерть, однако все это будет не более, чем софистика. Вера, как и любовь, дарует нашей воле обретаемое; и каким бы возвышенным ни было обретаемое верующего в разум, оно все же ограничено судьбой рода человеческого, в то время, как обретаемое верующего в Бога вообще не имеет никаких границ. «Я хорошо знаю, – говорит Кьеркегор, – что хотя и смело иду навстречу великим бедам и ужасам жизни, все же мужество мое не есть мужество веры и никакого сравнения с нею не выдерживает. Я не способен к духовному акту веры, не могу, закрыв глаза, слепо ринуться в абсурд: для меня это невозможно, но я не хвалюсь этим».²

Попытаемся же и мы, не хвалясь и не возносясь мысленно над предметом исследования, рассмотреть, что представляет из себя, с точки зрения метафизического разума, феномен веры и произрастающее из него причудливое древо, имя которому – религиозная жизнь человечества.

Воля каждого человека, томимая жаждой осуществления свободы, вечно занята отысканием в окружающем ее мире возможных

обретений. Явления проносятся перед ее взором в пестром калейдоскопе жизни, но куда человек остается животным, его привлекают лишь те из них, которые обещают насыщение и безопасность ему самому и (в лучшем случае) его потомству. Воля, напрягая все органы тела в жажде максимального осуществления свободы, оказывается главным импульсом процесса эволюции, приводящего у высших животных к такому развитию нервной системы и головного мозга, при котором оказывается возможным зарождение памяти и способности предвидения; момент, когда человек оказывается способным понять неизбежность своей смерти и следует считать важнейшим переломом в ходе эволюции.

Ибо что такое осознание смертности?

Это столкновение с противоречием невыносимейшим: безграничность свободы, ощущаемая внутри, – и вдруг какая-то смерть, кладущая несокрушимый предел этой свободе; это яд вопроса «что пользы тебе во всех благах и делах твоих, если смерть неизбежна?»; это обнаружение волей конечности обретаемого в любом устремлении, а следовательно, растерянность и необходимость искать сфер бесконечных, то есть сверхчувственных; это момент, когда жадно ищущий взор Я доходит до пределов свободы, заключенной в индивидуальном бытии, и оказывается вынужденным обратиться наружу; а обратившись наружу, он начинает сравнивать явления по признаку свободы объективирующейся в них воли, пытается отличить большую свободу от меньшей, чтобы найти где-то наивысшую свободу и преклониться перед ней.

Жажда преодолеть противоречие между «я свободен» и «я смертен» – вот основание религиозного чувства любого человека, на каком бы уровне развития он ни находился. (ПМ-158-59)

«Нет, весь я не умру! Душа в заветной лире / мой прах переживёт и тленья убежит», – писал Пушкин.

«Но не тем холодным сном могилы / я б хотел навеки так заснуть...», – мечтал Лермонтов.

«Не листай страницы! Воскреси!», – взывал Маяковский к большешелобому химику из будущего.

Надежду «убежать тленья» разделяли с поэтами миллиарды людей, живших на Земле до них и после. Не имея «заветной лиры», они искали других путей избавления от ужаса неизбежной смерти. Вся религиозная жизнь человечества вырастает из этого импульса: приобщиться через обожествление к солнцу, луне, камню, океану, Зевсу, Озирису, корове, змею или Богу невидимому и верить, что какая-то частица тебя сохранится за пределами твоей земной жизни, благодаря твоей причастности к объекту обожествления.

С самых первых шагов человечества, различимых в тумане прошлых тысячелетий, мы видим эти неутомимые попытки продлить наше существование если не в бесконечность, то хотя бы за пределы различного умственным взором. Чтобы описать историю верований разных племён и народов, понадобилась бы энциклопедия в сотни томов. Мифы и саги о богах египетских, индийских, китайских, вавилонских, греческих, варяжских, мексиканских и прочих демонстрируют нам безграничность человеческой фантазии. Всё идёт в дело, всё годится – только бы не остаться лицом к лицу с осознанием собственной смертности!

Строительство пирамид, храмов, монастырей, соборов, мечетей, но также и строительство коммунизма, Третьего рейха, Нового Халифата приобщает человека к тому, чему суждено пережить его. Здесь жажда бессмертия проявляет себя в макромире мировой истории. Но в микрокосме отдельной человеческой души и судьбы тот же порыв проявляется у всех народов, в первую очередь, самым непосредственным образом: заботой о детях, которым суждено продолжить твой род, и бережным сохранением памяти о предках. Потомки и предки – эта невидимая струна, протянутая из бездны прошлого в бездну будущего, позволяет нам мысленно скользить по ней, почти забывая о неизбежности собственной смерти. Спасая своих детей, человек может пойти на верную гибель, а оскорбление, нанесённое памяти предков, постарается смыть кровью обидчика.

Обожествление семейных связей в античном мире замечательно описал французский историк Фюстель де Куланж. «Отец убеждён, что судьба его после смерти будет зависеть от сыновнего ухода за могилой, а сын, со своей стороны, убеждён, что отец по смерти станет богом домашнего очага и ему надо будет возносить молитвы. Легко понять, сколько взаимного уважения и любви эти верования внедряли в семейство... В семье всё было божественно. Чувство долга, естественная любовь, религиозная идея, всё смешивалось и сливалось воедино... Человек любил тогда свой дом, как ныне он любит свою церковь».³

Заклячая свой завет с Ноем, а потом и с Авраамом, Господь не обещает им ни беззаботной жизни в награду, ни райских куш за пороком смерти, но только одно: «Умножу ваше потомство, как песок морской» (Бытие, 9:7-9; 17:2, 7-8).

«...Так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, / то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твоё, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твоё городами врагов твоих; / и благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Бытие, 22:16-18). Здесь опять обильное потомство выступает как

главная награда за праведность. И наоборот: за то, что Хам согрешил, посмеялся над наготой своего напившегося отца, его потомки обречены стать рабами других народов (Бытие, 9:25-27).

Скептический ум нашего современника вряд ли может поверить, что народ, не имевший письменности во времена Авраама, мог сохранить в устном предании память о всех предках, отделявших его от Ноя (Бытие, глава 10). Не сочинил ли более поздний летописец все эти имена, число которых переваливает за сотню? Но здесь для нас важно другое: сама священность этого длинного списка давала каждому иудею надежду на то, что и его жизнь не начинается рождением и не кончается смертью.

По мере расширения человеческих сообществ от семьи к клану, от клана – к роду, от рода – к племени и государству неизбежно должны были возникать конфликты между различными миражами бессмертия. «Я могу уповать на бессмертие, пока я блюду все заветы своего рода» могло прийти в мучительное противоречие с требованиями более высокого порядка. Страшное испытание, которому Господь подверг Авраама, потребовав от него принести в жертву его главное упование – сына Исаака, продолжает потрясать наши души и много веков спустя. Рембрандт воспроизвёл его в картине «Жертвоприношение Авраама», Кьеркегор – в книге «Страх и трепет», Бродский – в поэме «Исаак и Авраам». (ФВ-28-29)

Убежденность человека в существовании мира сверхчувственного проистекает не из невежества, а из непосредственного внутреннего ощущения, говорящего ему, что безграничность свободы, которой он чувствует себя причастным, не может быть свойством чувственного мира, мира явлений – следовательно, должен существовать и другой мир. Развитие цивилизации ослабляет религиозное чувство и плодит безбожников вовсе не просвещением, то есть уничтожением невежества (просвещенная часть народа в большинстве своем остается религиозной), а обилием отвлечений, развлечений и всяких приманок, уводящих волю от сознания главнейшего противоречия ее бытия, то есть от главного источника веры.

Языческие религии, несмотря на поистине ошеломляющее многообразие своих культов, все же остаются весьма сходными в одном: предмет поклонения непременно должен быть долговечнее самого человека; и это вполне естественно: так как потребность религии начинается во мне с сознания собственной смертности, поклоняться, то есть признавать большую свободу, я могу только за тем, что было до меня и пребудет после.

Представление о Высшем начале, то есть максимальной свободе для воли разумного существа, оказывается столь же необходимым, как для любого текущего ручейка – наличие где-то впереди

большого водоема, куда он может впадать. Причем, как правило, человек, являющийся членом какого-нибудь замкнутого Мы, с готовностью принимает сложившиеся до него верования: ему не очень важно, во что именно верить, главное – чтобы было во что. Потребность веры оказывается для человека настолько врожденной, что, являясь на свет, он как бы спрашивает «во что тут у вас верят?» с такой же естественностью, как путник, пришедший в незнакомый город, спрашивает «где тут у вас можно поесть?» и, придя в указанное место, ест, что дают.

Вера является таким мощным объединяющим фактором, что никакое Мы не может обойтись без нее; любое посягательство на религиозный или идеологический культ во всяком Мы считается самым страшным преступлением, ибо оно грозит нарушить целостность данного Мы в самом его основании. Если же задаться вопросом, что является первичным – некое верование или Мы, его исповедующее, – то слишком многое говорит в пользу веры: даже на протяжении сознательной истории человечества мы имеем столько примеров зарождения новых религий и разветвления старых, выраставших из недр давно сложившихся Мы и становившихся основой для образования новых, что полагать, будто религиозное чувство есть продукт воспитания или предрассудка, а не истекает мощным потоком из самой души человека, попросту невозможно. И склоняясь к мысли, что пророческая одержимость всегда была зерном, из которого произрастало любое религиозное Мы, мы должны с особым интересом обратиться к тем моментам истории, когда сознание человечества переживало великие переломы, переходило на следующую ступень представлений о Божественном – к возникновению великих религий нашего времени.

С точки зрения познавательной деятельности, любое религиозное представление является попыткой воплотить в том или ином образе понятие о вещи в себе, о некоей Высшей воле, о чем-то сверхчувственном. Именно поэтому все языческие религии населены целым сонмищем богов, несхожих между собой настолько, насколько могут быть несхожи только порождения безудержной человеческой фантазии. Боги Древнего Египта, Греции, Ассирии, Индии, Китая, собранные вместе, представили бы весьма поучительный пример того, на что способен человеческий разум, когда он вырывается из тесных границ эмпирического знания. Пытаться анализировать, что значит тот или другой образ, Шива или Озирис, Сет или Ормузд, и какие представления о мире он выражает, было бы столь же нелепым, как изучать свойства водяного пара по форме проплывающих по небу облаков.

Однако одна особенность языческого многобожия представляется необычайно важной.

Дело в том, что государственная религия, разрешающая поклонение многим богам, удовлетворяет важнейшей человеческой потребности – потребности *свободного выбора*. Благодаря тому, что древний грек мог выбирать между храмом Зевса, Меркурия, Артемиды или Афины-Паллады, он мог переживать акт религиозного поклонения, как акт осуществления свободы, ибо здесь фактор религиозного обретения соединялся для него с безусловным фактором свободы воли. Насколько эта потребность присуща каждому человеку, ясно показывает вся история христианства, которое, идя ей на уступки, очень скоро превратилось также в религию многобожную: Бог Отец, Бог Сын, Богоматерь и далее целый легион святых, каждому из которых верующий может поклоняться с особенной, индивидуальной страстью. (ПМ-160-61)

Мухаммед, признававший Иисуса Христа одним из величайших пророков до него, делает обоснованный упрек христианам за извращение Его учения о Боге: «Мессия Иисус, сын Марии, есть только посланник Бога, есть слово Его, низведенное им в Марию, есть дух его. Веруйте в Бога и в посланников Его, и не говорите: троица. Бог только есть единый, кому подобает поклонение. Воздайте хвалу ему: не может быть, чтобы у него были дети» (Коран, сура 4, стих 169), «Вот Бог скажет: Иисус, сын Марии! Говорил ли ты людям: кроме Бога почитайте еще меня и мою мать двумя богами? Он скажет: хвала тебе! как мне говорить такое, чего я не должен говорить» (Коран, сура 5, стих 116). Но и магометанство, конечно, не могло устоять перед этим соблазном – стоило Мухаммеду умереть, как было разрешено поклонение трем дочерям Аллаха, как в народе стали распространяться антропоморфные представления о Боге как существе с глазами, руками, устами и т.п.

Только представив себе остроту этой потребности в человеке, ее неизменность на любом отрезке истории и во всех уголках света, мы сможем по достоинству оценить величавость возникновения первой религии монотеистической, из которой произошли затем и христианство, и ислам, – иудаизма.

Библейские предания о пророках и святых богаты описаниями сотворенных ими чудес, подвигов, мудрых изречений, праведности. Ничего этого не находим мы в предании об Аврааме. Он не проповедует никакого учения, не совершает чудес; когда приходит нужда – сражается, живо интересуется земными благами, то есть богатством, при случае пускается на хитрость, выдавая Сарру за сестру.

В чем же величие его?

В том, что он верил в Бога.

Но тогда все верили в тех или иных богов – в чем же заслуга Авраама? В том, что он верил в Единого, Невидимого и Всевышнего. Он верил вопреки всему, вопреки всякой очевидности, что Бог

исполнит свой завет с ним, даст ему сына от Сарры и произведет от него великий народ, умножит его потомство, как песок морской. Сарра старилась, она уже не могла стать матерью, а он все-таки верил. Сарра колебалась в вере, предлагала ему свою служанку Агарь, Агарь родила Аврааму сына, но он чувствовал, что это не то, и продолжал верить, что потомство его пойдет от Сарры. (ПМ-162-63)

Мы не допускаем возможности чудес, не верим, что девяностолетняя женщина могла родить, но, с другой стороны, каким иным образом предание могло воссоздать чудо веры самого Авраама, как не через воплощение его в каком-то материальном чуде?

Для обычного верующего Бог – это мраморная статуя, икона в углу, священный камень, храм; Бог должен иметь какое-то воплощение, какое-то место жительства, иначе ему нечем зацепиться в сознании. Авраам носит своего Бога в душе и не нуждается ни в каких кумирнях – он может совершать богослужение на любом камне посреди пустыни. Он нимало не озабочен тем, чтобы являть свою веру окружающим – и тем являет ее с неслыханной дотоле силой. Он не учит молитвам, не заставляет поклоняться, не грозит и не обещает. Он просто *верит* и тем зажигает искру веры в своих ближних, в потомках и кладет основание религиям всечеловеческим.

Пророческая одержимость таких фигур как Моисей и Мухаммед была важна лишь тем, что она освящала Божественным авторитетом вводимые ими законы, которые только таким образом и приобретали необходимую прочность. Но с того момента, как закон Мы утвердился на том или ином религиозном основании, судьба всякого нового пророка, ощущающего Божественную волю как нечто превосходящее волю Мы, делается весьма незавидной – его изгоняют, преследуют, побивают камнями. Если бы Авраам принадлежал к какому-либо оседлому Мы, а не был бы свободным странником, процесс созревания его веры и нового осмысления Бога был бы, скорее всего, задавлен и заглушен в нем мирской суетой в самом начале.

Сознание массы, жаждущей религиозного семени, напоминает чем-то яйцеклетку, которая, будучи раз оплодотворенной, немедленно замыкается, отвергает все последующие посягательства и должна пройти долгий путь развития и превращения в организм, прежде чем допустит зарождение в себе какого-то нового жизненного начала.

Образно говоря, все крупные современные Мы – вулканического происхождения; это лава, застывшая после извержения. Ислам, протестантизм, демократия, социализм – все эти образования последних полутора тысяч лет имели в своей основе порыв человеческой души к большей свободе; без такого порыва образование Мы вообще невозможно. Даже Мы любой, самой маленькой политиче-

ской партии есть формулирование и выражение в слове и деле внутренней устремленности какой-то группы людей – без наличия такой одинаково направленной устремленности никакое Мы не возникнет. Мухаммед, Лютер, Жан-Жак Руссо, Маркс явились в истории человечества выразителями устремлений самых массовых, самых могучих. И хотя все они, по сути дела, призывали к тому же, что и Христос – к равенству (перед Богом или перед Законом) сегодня и к достижению Царствия Божия (на небе или на земле) завтра, и только верой своей в достижимость этого царствия увлекали огромные человеческие потоки навстречу любым страданиям и смерти ради этой прекрасной мечты, все равно, учения их остаются для нашего сознания вполне понятными и не вполне верными, учение же Христа – непостижимым и истинным.

Чему же учил Христос?

Если спросить об этом церковь, она ответит: «Верить в Бога и любить ближнего», и перечислит десять заповедей, которые наши деды заучивали в школах на уроках закона Божия. Но все эти заповеди есть в законе Моисеевом – за что же тогда распяли Христа, если он лишь повторял то, во что евреи свято верили и без него? Противоречие между евангельскими текстами, сохранившими отблеск подлинных слов Христа, и учением церкви было настолько вопиющим, что скрывать его в течение полутора тысяч лет можно было, конечно, лишь ценой строжайшего догматизма и запрещения любого критического осмысления. Еретические попытки преодолеть это противоречие наполняют историю всех ответвлений христианства. (ПМ-166)

Христос не учил нас новым правилам жизни, как это казалось Льву Толстому. Исполнение Его призывов *всеми людьми* не могло бы привести ни к чему иному, кроме гибели мировой цивилизации да и всего человечества. Вслушиваясь в движения собственного рвущегося ввысь сердца, Он пытался показать нам, как отличать Высокое от Низкого, Божественное от Земного. Его зов был обращён к той гвардии избранных, к чемпионам святости, которые решатся расстаться с обычными земными радостями и посвятить себя только служению Высокому. Апостолы, отшельники, монахи – вот те «избранные» среди многих «званных», кто услышал зов и «вместил».

Учение Христа, понимаемое как правило жизни, как закон, оборачивается вздором и бессмыслицей. С другой стороны, слово Его миллиардам людей представлялось и представляется пронизанным светом небывалой истины. Обычному разуму оказывается не по силам преодолеть это противоречие; ему остается либо слепо верить, либо отвергать всё от начала и до конца, как и поступали все

убеждённые атеисты. Только разум, вооружённый понятиями метафизики, воспринимающий Христа как личность небывалую по уровню врождённой свободы, пронизанную сознанием своей Сыновности свободе самой высшей, то есть Божественной, может уничтожить внутри себя это величайшее из своих недоумений и увидеть всю цельность и последовательность учения Христа как чисто метафизического учения о Боге – Высшей Свободе.

Наши заурядные души, живя в тюрьме своего тела и того Мы, в котором нам довелось оказаться, имеют как бы достаточно простора для своего существования и озабочены лишь небольшими улучшениями и расширениями, то есть тем, как бы устроиться в этой жизни с минимумом неудобств. Но если в такую же тюрьму оказывается втиснутым дух необъятный и высокий, все стены, заборы и решетки давят на него с непонятной нам силой; он начинает говорить нам, какие цепи и преграды наложены на наш порыв к свободе – а мы не в силах понять его.

Так и Христос ни в одном слове своём не говорит ни о чём другом, как о самых главных цепях, наложенных на нашу свободу телесностью и принадлежностью к племени, к государству, к Мы. Сознание дарованной свыше свободы для Него – главнейшая и единственная реальность, всё же остальное – пути, подлежащие уничтожению. Мы рождаемся несвободными от желания есть и пить, от вожделения, мы страдаем от холода и жары – Ему нет никакого дела до того, что это врождённые человеческие свойства; они ограничивают свободу, и Он говорит избранным: не вожделейте, не заботьтесь о том, что вам есть и пить и во что одеться, порвите эти пути. Мы обладаем даром предвидения, мы не можем не думать о том, что будет завтра, что будет, когда начнется зима, когда придёт старость, и стремимся по возможности предотвратить грозящие нам беды; Он говорит тем, кто готов «стать Его учеником»: «не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы» (Матф. 6:34).

Можно сказать, что все эти устремления, хотя и врожденны человеку, но по сути своей эгоистичны, и что Христос требует уничтожения их во имя любви к другому, к ближнему. Однако о любви к ближнему Он говорит, лишь цитируя старый закон, когда Его спрашивают, какие из старых заповедей надо считать важнейшими (Матф. 22:39); но обычное человеколюбие не кажется Ему слишком большой добродетелью, и от себя Он выдвигает требование опять же невозможное для рядового человека – любить врагов. Индивидуальная же человеческая любовь, всякая привязанность осуждается Им неутомимо и многократно:

«Кто Матерь Моя и кто братья Мои?» (Матф. 12:48).

«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трёх» (Лука 12:51-52).

«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лука, 14:26).

И вот то, что звучало бы нелепостью в устах апостола межчеловеческой любви, кошунством в устах моралиста, оказывается выражением глубочайшего и истинного убеждения, когда мы пытаемся смотреть на Христа как на учащего новому пониманию Бога: Бог есть наивысшая свобода, дать понятие о которой в словах возможно только через отрицание главнейших несвобод, окружающих человеческую душу. Упомянутые же выше несвободы от тела (от воли низшего уровня) представляются Ему не такими важными по сравнению с несвободой от всевозможных Мы – на них-то и обрушиваются главные удары в проповеди Христа. (СВ-2-444-45)

Конечно, сами Мы как человеческие учреждения вовсе не затрагиваются. Тому, кто знает первичное, человеческую душу, нет нужды говорить о вторичном, о том, что произрастает из ее устремлений. Единственным критерием для Христа всегда остается Божественный дар свободы, который Он ощущает в себе как Божескую волю, и все, что удерживает человека от безграничной преданности только этой свободе, от абсолютной веры, от того, чтобы бросить всё и пойти за Ним, представляется злом. Богатство – зло, но еще большее зло – семейные привязанности, ибо они удерживают человека даже сильнее, чем богатство. Понятия добра и зла неприменимы к Мы государства, ибо оно существует как бы помимо человеческой воли («отдавайте кесарево кесарю» – Матф. 22:21); но устремления человеческой души, из которых произрастают общественные связи, подлежат осуждению, ибо они-то и являются источником несвободы.

И какие же это устремления?

Страшно сказать, но на первое место по вредности Христос ставит устремление к справедливости. Откуда являются суды? наказания и законы, ограничивающие свободу? Из человеческой потребности судить доброе и злое в ближнем своем; поэтому, избранные: «не судите, да не судимы будете» (Матф. 7:1). Откуда берётся войско и стража? Из вашей же потребности защищать себя и имущество свое от покушений. Поэтому, «слышащие и вменявшие»: «не противьтесь злему, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую» (Матф. 5:39). Ваша хвалёная справедливость – ничто рядом с безграничностью Божественного милосердия. Поэтому про-

щайте брату своему до седмижды семидесяти раз, прощайте блудному сыну, прощайте грешникам и мытарям, отдавайте и верхнюю одежду тому, кто захочет взять рубаху, – «будьте милосердны, как и Отец ваш небесный милосерд» (Лука, 6:36). И врагов ваших любите, благословляйте проклинающих вас ни для чего другого, как для того, чтобы стать похожими на Отца небесного, «ибо Он благ и к благодарным и злым» (Лука, 6:35).

А что ещё связывает людей друг с другом, отрывая от Бога?

Честность.

Все денежные, торговые, экономические несвободы, долги и расписки, держатся на представлении о честности, об исполнении клятвы как о чем-то высоком; «а Я вам говорю: не клянитесь вовсе» (Матф. 5:34), не налагайте на себя сегодня цепей, которые завтра помешают вам отдать всё, что у вас есть вашего и не вашего, бедным и пойти за Мной. «Идущий за Мной»: «Прорящему у тебя дай и от хотящего занять не отворачивайся» (Матф. 5:42), но не требуй долга назад; «приобретайте друзей богатством неправедным» (Лука, 16:9), то есть раздавайте чужое добро, не скупясь.

Таким образом, когда Христос говорит «что высоко у людей, то мерзость перед Богом» (Лука, 16:15), Он имеет в виду не только богатство и власть, с чем еще готовы согласиться все моралисты, не только строгость соблюдения постов, омовений и субботы, но поистине самые высокие этические ценности – любовь к близким, справедливость, честность.

Мы не можем предсказать, сколько должно пройти времени, чтобы восторжествовало понятие о сердце человеческом как главном обиталище Бога, данное Христом. Но представляется несомненным, что без ясного отделения этического содержания Моисеева закона от религиозного содержания проповеди Христа Евангелие не сможет утвердиться в критическом сознании современного человека во всей своей трансцендентальной истинности.

Для метафизического истолкования в учении Христа, как оно запечатлелось в Евангелиях, не остаётся тёмных мест. Так, слова «сберегший душу свою, потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня, сбережёт её» (Матф. 10:39) больше не нужно извращать и придавать им другой смысл – «сберегший жизнь, благополучие, здоровье»; нет, именно душу ученика требует Христос, ибо сила веры в Него должна быть такова, что даже страх греха (оставление родных) не должен удерживать человека. «Блаженны нищие духом» (Матф. 5:3) – это блаженны те, чья врождённая свобода невысока и, следовательно, кому все земные обольщения меньше доступны, а посему и не отвлекают их от Слова Божия.

Учение церкви об исключительной Божественности Христа идёт вразрез с Его собственными словами о том, что каждый может

и должен стать Сыном Божиим, что только от человека зависит быть сыном в доме Отца своего или рабом; будьте такими, как Отец *ваши* небесный, повторяет Он много раз (не Мой, а ваш). То есть свою сыновность Богу он понимает только в смысле необъятности дарованной Ему свободы, но этот же дар свободы есть и в душе каждого человека – вся разница в том, стремится ли тот развить его или зарывает свой «талант» в землю. Ни одно слово Христа о Его сыновности Богу нельзя истолковать в смысле чудесности Его земного рождения, нигде мы не находим с Его стороны выражения особого почтения к Матери своей как к избраннице Божьей, и со стороны Марии он также не слышит никакого подтверждения своего Божественного призвания, а встречает одно лишь непонимание. (СВ-2-446-48)

Доказывать Свою Божественность чудесами – это дьявольское искушение, которое Христос отвергает в пустыне. Нет в Его проповеди ни ада для грешников, ни рая для праведников, эти торгашеские отношения с Всевышним глубоко чужды Его возвышенной душе. Да, Мария, усевшаяся у Его ног слушать проповедь, «избрала благую долю» (Лука, 10:40-41), но и сестра её, труженица Марта, хлопочущая по дому, не будет отвергнута Отцом Небесным. Они обе нужны небесам такими, как они есть (Иоанн, 11:5). Не к нам – простым грешникам – обращены страшные призывы Христа – «оставить отца и мать», «не заботиться о завтрашнем дне», «раздать имущество», «возненавидеть жизнь свою», – а к «избранным», к «соли земли», к апостолам и монахам, к команде чемпионов святости, которую Он вербовал для Своего великого дела и предназначение которой: наглядно хранить *шкалу высокого-низкого* перед глазами людей.

Существование – и признание подлинности – этой шкалы отнюдь не означает, что все мы должны судорожно карабкаться к её вершине. Никогда мы не будем избавлены от долга *выбирать* свой путь, даже совершать жестокое и недоброе, когда мы уверены, что наше деяние может спасти кого-то от гибели и страданий. Главное, чтобы, помня о шкале, мы не воображали себя при этом героями и праведниками. (СВ-2-449)

Компас – бесценное создание цивилизации, без которого наши корабли и самолёты не смогли бы найти верного пути. Но если бы все они послушно следовали туда, куда указывает стрелка компаса, они все застряли бы в Ледовитом океане. Так и со шкалой высоко-низко, прояснённой для нас Христом: если бы каждый из нас устремился по ней только вверх, мы все должны были бы утонуть в Океане отчаяния. Этот океан описан для нас многими мореплавателями духовного мира – от Экклезиаста, Иова, Лютера, до Кьеркегора, Достоевского, Толстого, Кафки, Камю, Сэлинджера. И весь их

духовный опыт учит нас одному: спастись от отчаяния может только тот, кто уверовал, что «Царствие Божие внутри нас есть» (Лука, 17:21).

Все притчи, а главное, самый принцип учения притчами становятся абсолютно ясными, ибо, действительно, как иначе мог бы Он передать свое представление о Божественной трансцендентальности при помощи человеческих слов, которые намертво прикованы к явлениям? И как мучительно трудно бывает Ему говорить, когда Его заставляют изъясняться буквально, когда требуют конкретизировать Его представление о вечности и неуничтожимости души (воли-свободы) в виде догматов о воскресении, о загробной жизни. Но Он пытается объяснить:

«А о воскресении мертвых не читали ли вы реченого вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых» (Матф., 22:31, 32).

«...Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть» (Лука, 17:20, 21).

«Истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь» (Иоанн, 8:58).

Но к чему могли привести подобные попытки? Только к тому, что «иудеи взяли камня, чтобы бросить на Него» (Иоанн, 8:59).

В наши дни для многих образованных людей, всем сердцем тянущихся к христианской вере, труднее всего бывает подавить рациональный скептицизм и принять Писание целиком: с непорочным зачатием и прочими чудесами. Христос оказывается гораздо ближе и понятнее им не как Божество, но как пророк, слитый с Богом в предельно возможной степени, как Сын Человеческий, который был подвержен искушениям, но преодолевал их, который знал сомнения, но стремился их разрешить, который был способен испытывать боль и принял на кресте муку такую непомерную, что она оказалась способной поколебать даже его веру. «Или, Или! лама савахфани? то есть Боже мой, Боже мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф., 27:40).

Разуму, сосредоточенному исключительно на этических задачах, очень нелегко усвоить понятие об истинном месте и значении Христа в человеческой истории. Если представить себе стремящееся к высшей свободе человечество в виде беспорядочной толпы путников, ищущих в гигантских горах, покрытых ночью и туманом, путь к вершине, ссорящихся между собой, спорящих о правильности пути, раскалывающихся на группы, пробувающих те или иные тро-

пинки и снова сходящихся для обсуждения, то Христа можно уподобить тому из проводников, который вовсе не глядит под ноги и говорит, указывая куда-то вверх, только одно:

– Вершина там.

Ему говорят:

– Туда идти невозможно, на пути туда пропасть.

Он отвечает:

– Вершина там.

Ему говорят:

– Вот перед нами склон, явно поднимающийся вверх и идущий совсем не в том направлении, куда показываешь ты.

Он отвечает:

– Вершина там.

Ему говорят:

– Мы не можем полететь туда, как птицы, мы рождены без крыльев и должны двигаться по земле – посоветуй, куда нам направить свои стопы.

Он отвечает:

– Вершина там.

Ему говорят:

– Как же ты предлагаешь перебраться через этот бурный поток?

Он отвечает:

– Вершина там.

Ему говорят:

– Замолчи, или мы убьем тебя, чтобы ты не сбивал нас и не мешал нашему обсуждению.

Он отвечает:

– Вершина там. (ПМ-174)

Каждому из нас при вступлении в жизнь дается Богом дар свободы – тот талант серебра, который можно либо приумножить, либо зарыть в землю и вернуть затем целым и невредимым – но это не будет угодно Богу. Мы есть семя, бросаемое Богом в мир на поле, именуемом человечество Земли, и как в семени уже заключено все, что должно произрасти из него, так и в нас, в дарованной нам свободе, заключена возможность Царствия Божия. Но так же, как и в семени нет еще *предопределенности* появления растения, так и в дарованной нам свободе Царствие Божие находится лишь в потенции и не предопределено заранее:

«Царствие Божие силою берется и употребляющие усилие восхищают его» (Матф., 11:12).

Божественное провидение участвует в нашей жизни не в предопределенности индивидуальной судьбы или общего хода эволюции, но в том, что победа даруется той свободе, которая была явлена полнее,

– оттого-то каждый из нас и стремится явить ее даже вопреки всякой очевидности, вопреки гласу объективности, пытающейся отрицать эту свободу.

Быть может, кто-то, какой-то неземной разум смотрит сейчас на нашу грешную Землю и на все наши судорожные усилия подняться вверх, как мы смотрим на ветвь в стакане воды и мимоходом отмечаем про себя, что, несмотря на разворачивающиеся листья и выпущенные корешки, здесь ничего не выйдет – нет настоящей почвы, дереву не вырасти. Быть может, этот разум уже предвидит, что Земля опустеет или что она будет отдана злым или даже вовсе каким-то другим, нечеловеческим существам. Но сами мы, к счастью, никогда не узнаем этого, как не знает ветвь, слепо стремящаяся прорасти: мы будем по-прежнему верить, что какими бы непреложными ни были законы развития природы или общества, открываемые наукой, судьба всего Творения находится в какой-то зависимости и от наших усилий, что пресловутое колесо Истории может остановиться, если мы не выйдем сегодня с плакатом на улицу, что достигнутая нравственными усилиями прежних людей свобода понесет непоправимый ущерб, если мы солжем хотя бы в пустяке, что человечество погибнет в атомной катастрофе, если мы не скажем где-то в нужный момент правильных слов.

Чувствуя непосильность и огромность такой ответственности, большинство людей пытается избавиться от нее, спрятаться за что-то: религиозные люди – за идею искупления слепой верой, атеисты – за идею предопределенности всего сущего законами природы; и там, где большинству это удастся, жизнь, действительно, окостенеет в сложившихся формах – всякое развитие прекращается. Но воля, укрывшаяся за идеей предопределенности, томится невыносимо – ибо все, что мы делаем на свете, теряет всякий смысл без сознания свободы и безграничности ее возможностей. Когда же человек решается прервать дурную бесконечность установившегося и начинает действовать, это значит только одно: он уверовал в возможность своей волей изменить что-то в этом мире, он пробивает брешь в стене религиозной или научной предопределенности бытия.

Томление духа, ощущаемое каждым из нас столь непосредственно, и есть частица Божественной силы, творящей мир; его уничтожимость может говорить нам лишь о бесконечности движения творящей силы, но не может обещать нам, человечеству, ни вечной жизни, ни правильности пути, ни окончательного спасения – здесь мы полностью предоставлены сами себе, своему мужеству и своему разуму, и каждый, отказывающийся принимать на себя долю этой огромной ответственности, переносить страдания, связанные с человеческой обязанностью *быть и знать*, отказывается тем самым

и от дарованной ему свободы, попирает Божественный дар, изменяет своему предназначению, о котором так ясно и просто сказано в книге Иова:

«Не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда; но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх» (Иов, 5:6, 7). (ПМ-176-77)

Часть третья

ДИНАМИКА ИСТОРИИ

Глава 21. ТРУДНЫЕ СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Инопланетному наблюдателю, вглядывающемуся в историю земной цивилизации, она может показаться сплошным победным шествием. За какие-нибудь 5 000 лет странное двуногое существо под названием «человек» ухитрилось заселить почти всю поверхность планеты. Следы нашей деятельности найдутся на всех континентах, островах, морях и реках. Мы научились выживать в ледяных горах Аляски и Скандинавии, в раскалённых песках Сахары, в джунглях Амазонки, в Сибири и в Антарктиде. Мы путешествуем с огромной скоростью по земле и по воздуху, по воде и под водой, а теперь ухитрились проникнуть и в бездны космоса.

Казалось бы, всё поддается человеку, всё отступает перед ним. Дикие звери, грозившие ему на заре его существования, теперь прячутся от него в гуще тайги, в горных ущельях, в полярных льдах. Даже загадочный мир микробов, насылающих болезни, поддается нашим врачам, умеющим бороться с эпидемиями, уносившими раньше миллионы жизней.

Конечно, случаются ещё катастрофы, которые мы пока не в силах понять или остановить. Например, загадочной остаётся природа землетрясений. Что может заставить скалистую земную твердь, такую прочную и надёжную под нашими ногами, вдруг начать трескаться, вздыматься, трястись, превращая в руины наши дома и фабрики, соборы и колокольни, мечети и минареты?

Не менее загадочны извержения вулканов. Жителям Помпей и Геркуланума легко было верить, что потоки лавы и тучи пепла были посланы на них из жерла Везувия разгневанными богами, уставшими от человеческих пороков и злодеяний. Но сегодня прогресс просвещения лишил нас даже такого утешительного объяснения.

Что создаёт смертельный столб смерча, движущийся от городка к городку, как рассвирепевший чёрный великан из сказки? Каким образом гигантская волна цунами преодолевает сотни километров, чтобы обрушиться на беззащитные поселения на берегу? Откуда берётся яростная энергия урагана, тайфуна, шторма, снежного бурана?

Мы смиряемся с непредсказуемостью и неотвратимостью природных катастроф и учимся по возможности ограждать себя от их губительного воздействия: строим дамбы против наводнений, обзаводимся противопожарными машинами и самолётами на случай огненных бурь в лесах, следим со спутников за приближением ураганов.

Но есть вид катастроф, которые мы раз за разом устраиваем сами, своими руками, своими страстями, которые заваливают трупами луга и окопы, дороги и улицы, превращают в развалины города и селения, топят корабли, выжигают поля и сады.

«Война? Какое непонятное явление, – восклицает Лев Толстой. – Когда рассудок задаёт себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? – внутренний голос всегда отвечает *нет*.»¹

Однако войны заполняют всю историю человечества, и мы не видим никаких симптомов того, что они могут прекратиться в обозримое время. Сегодня всё необходимое для жизни – продовольствие, жильё, одежда, транспорт, тепло – производится с такой эффективностью и в таких количествах, что, казалось бы, на земле не должно было бы остаться ни одного нищего и голодного. Из-за чего же вступать в смертельную схватку? Недаром некоторые философы и политики пытаются заверить нас, что история завершена, прогресс науки и техники вынес нас к сияющим вершинам всеобщего благополучия и мира, осталось только гасить тлеющие очаги старых пожаров.

Но как мы можем верить этим радужным картинкам? Открывая каждый день газету, усаживаясь перед экраном телевизора, мы видим в новостях бесконечную череду злодейств и преступлений, устраиваемых людьми в одиночку и скопом. Кровопролитные конфликты полыхают на всех континентах, и конца им не видно.

В начале 20-го века миролюбцы тешили себя надеждой на то, что дальнейшие войны сделались невозможны и бессмысленны, потому что изобретено убийственное оружие – пулемёт. Когда Первая мировая война рассеяла их грёзы, добавив к пулемёту подводные лодки, горчичный газ и танки, они стали говорить, что изобретение бомбардировщиков – вот что сыграет миротворческую роль. Ведь потребуется массовое безумие народов, чтобы затеять военный конфликт, зная, что и мирным жителям не будет спасения от бомб, сыпавшихся с неба.

Осознание серьёзности этой угрозы отразилось в массовом распространении пацифистских движений, в росте популярности таких фигур, как Лев Толстой, Бертран Рассел, Махатма Ганди, в создании различных интернациональных союзов. Выпускники Кембриджа и Оксфорда в Англии дали торжественную клятву не брать в руки оружие, и премьер-министр Чемберлен повторял без конца главный догмат своих политических верований: «Никто не хочет войны». На Черчилля, призывавшего страну вооружаться перед лицом Гитлеровской угрозы, смотрели как на безумного поджигателя новой бойни, сделали политическим изгоем, Би-Би-Си отказывало ему в праве выступать по государственному радио. Тем не менее массовое безумие народов произошло и получило название Вторая мировая война.

Сегодня главные надежды на поддержание мира возлагаются на Организацию Объединённых Наций. Разве не может это уважаемое международное собрание послужить арбитром, разбирающим конфликты между народами и находящим мирные способы удовлетворения справедливых стремлений и требований различных государств и наций? Верховный орган ООН, Совет Безопасности, даже облечён властью осудить очередного агрессора и санкционировать военное противодействие ему со стороны других народов или направить миротворческие силы в район очередного конфликта. (ФВ-3-5)

Есть ли у нас надежда на то, что страх перед термоядерным оружием сможет удержать человечество от новой большой войны? Нужен большой заряд оптимизма, чтобы тешить себя подобным упованием. Недаром в годы холодной войны тактика взаимного сдерживания двух враждебных лагерей обозначалась английской аббревиатурой MAD – безумие (Mutual Assured Destruction, то есть «Гарантированное взаимоистребление»). А мы знаем, что массовые сумасшествия народов случались в мировой истории с такой же неизбежностью, как извержения, ураганы, землетрясения.

Пока Творец не стёр нас с поверхности Земли термоядерной тряпкой, как стирают с доски неудачную формулу, нам стоит всё же направить Его дар разумного сознания и взглянуть в феномен войны холодным взглядом исследователя. Для этого нам придётся постоянно обуздывать свою привычку спешить с нравственным осуждением или оправданием человеческих деяний и порывов. Понятия правоты-неправоты применимы только внутри того или иного исторического социума. Когда же мы пытаемся исследовать противоборство различных социумов, нам оставлен только критерий «кто оказался сильнее, живучее, долговечнее».

Именно здесь таится главная трудность, мешающая плодотворному научному анализу военных конфликтов. Как и остальные отрасли науки, политическая философия находится в ведении людей разумных, объективных, умеющих контролировать бушевание собственных эмоций. Когда они сталкиваются со взрывами человеческих страстей в исторических катаклизмах, им крайне трудно допустить предположение, что человек способен наслаждаться насилием, разбоем, убийством как таковыми. Они любой ценой пытаются истолковать погромы, нашествия, массовый террор как некие нетипичные отклонения, порождённые, конечно же, теми или иными внешними причинами или кровожадностью прорвавшихся к власти лидеров. (ФВ-6)

Чтобы понять, куда идёт (или катится) человеческая цивилизация, мы должны внимательно исследовать путь, который она уже прошла, и создать схему её движения. Такие попытки делались уже не раз. Наибольшую популярность завоевала схема, предложенная

Карлом Марксом в середине 19-го века. Она казалась такой наглядной и убедительной! Обозримая история была разбита на четыре этапа: первобытнообщинный строй, рабовладельческий, феодальный, капиталистический. Теперь оставалось построить государство без собственности и собственников, то есть социализм, а уж от него останется два шага до создания светлого царства коммунизма.

Эта модель совершенно не пыталась рассматривать те элементы, которые обеспечивали жизнеспособность государственной постройки на любой ступени развития. Эти элементы можно сравнить с устройством организма животных.

В любом животном организме мы обнаружим четыре основные функции, обеспечивающие его жизнедеятельность: мышечно-костная система осуществляет перемещение в пространстве; желудочно-кишечная и кровеносная – необходимый обмен веществ; органы чувств – ориентацию в окружающей среде; волевое начало руководит поступками. Такие же четыре функции мы обнаружим в каждом человеческом сообществе, образующем единый организм: труд, обмен продуктами труда, познание среды обитания, отдачу приказов для коллективных действий. На нижних, племенных формациях, каждый член племени выполняет все четыре функции: он и трудится, он и ведёт обмен с соплеменниками, он и собирает информацию об окружающем мире и совершает положенные богослужения, он и принимает участие в племенном совете, решающем идти на бой или укрыться в горах, пустынях, степях от опасного врага.

Великий переход от племенной организации к государственной состоял в том, что выполнение четырёх функций было разделено между людьми. Трудом стали заниматься рабочие и крестьяне, товарообменом и планированием – торговцы и финансисты, познанием среды – священнослужители и учёные, принятием решений обязательных для всех подданных – правители и воины. Опасное упрощение, допущенное Марксом при создании социальной модели, состояло в том, что он исключил из рассмотрения вторую функцию – назовём её распорядительной. Важнейшего участника общественной жизни, распорядителя, он объявил бездельником, паразитом, эксплуататором, подлежащим отбросу на свалку истории. Частного владельца он предложил заменить чиновником-специалистом, который будет управлять заводами, шахтами, кораблями, поездами наилучшим образом и главное – бескорыстно.

Чему можно уподобить такую операцию? Её можно сравнить с хирургическим удалением из животного организма всех желёз, регулирующих дыхание, кровообращение, пищеварение. Без распорядителя не может существовать никакое общество, как не может существовать организм без обмена веществ. Эта функция существует всегда,

но её можно распределять в разных пропорциях между тремя возможными исполнителями: частный владелец на свободном рынке, корпорация (храм, цех, гильдия, сельская община) или государственный чиновник. Коммунистические государства, взявшие на вооружение марксову модель и отстранившие частника и корпорацию от участия в распорядительной функции, заплатили за это катастрофическим обеднением. Были моменты, когда от голода народы спасались только тем, что выращивалось на приусадебных участках, составлявших один процент от всей обрабатываемой земли.

Спрашивается: почему же народы один за другим становились на этот пагубный путь, уничтожали свободный рынок и свободного предпринимателя? Не потому ли, что свободный рынок – это состязание; состязание чревато радостной победой одних и горестным поражением большинства, то есть неравенством; победивших будет в десять, в сто раз меньше, чем проигравших, а среди человеческих страстей одной из сильнейших остаётся зависть, которая рядится в благородные ризы борьбы за равенство.

Всюду, где из гула кровавого бунта на поверхность вырывался членораздельный лозунг, он содержал в себе призыв к равенству.

«Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был господином?», – повторяли участники крестьянской войны в Германии 16-го века.

«Всех богатых и повелевающих избивать, как бешеных собак», – призывали последователи Томаса Мюнцера.

«Свобода, равенство, братство», провозглашали якобинцы, ведя к гильотине аристократов и прелатов.

«Ни один человек не должен повелевать другим!», провозглашали анархисты.

«Кто был ничем, тот станет всем!», распевали коммунисты. (ПФ-7-8)

Но не только прославление догмата равенства привлекало массы к учению Маркса. Он также обещал верный способ покончить с войнами. «Виновниками военных пожаров являются тщеславие монархических властителей и ненасытная жадность эксплуататоров-буржуев, их неуёмная жажда обогащаться любой ценой». Значит, единственной надеждой на установление мира на земле будет: свергнуть всех монархов и отменить само понятие частной собственности.

Первая мировая война выглядела подтверждением марксистских догматов: её затеяли монархи, раздували буржуи в погоне за новыми колониальными владениями, а сопротивлялись ей социалисты в разных странах, даже шли в тюрьму за свой пацифизм. Слово «социализм» стало паролем надежд на политические перемены, как после Французской революции стали паролем слова «эгалите, либерте». Но, словно в насмешку, Вторая мировая война была развязана тремя лидерами социалистами: Гитлером, Сталиным, Муссолини.

Право собственности не раз было предметом нападок и осуждения задолго до Карла Маркса. Уже в Первом столетии Христос призывал: «Продай имение своё и раздай нищим... и следуй за мной» (Матф.: 19-21). Этот призыв сыграл огромную роль в распространении христианства по всему миру. Многие были убеждены, что мирские сокровища – соблазн и помеха всему священному. Общие трапезы, общее жильё, одинаковое облачение включались как обязательные требования в уставы христианских монастырей.

Коммунистические утопии всплывали почти во всех революционных и религиозных движениях истории. В 15-ом веке в гуситском движении большую силу имели *табориты*, которые призывали всё сделать общим. Того же требовали последователи Томаса Мюнцера во время Крестьянской войны в Германии в веке 16-ом. В Английской революции 17-го века «подлинные левеллеры», возглавляемые Джерардом Уинстенли, выходили на пустыри и начинали обрабатывать их, утверждая, что дар Божий – земля – не может быть чьей-то собственностью. К отказу от собственности звали и многие французы – Сен-Симон, Бабеф, Прудон и другие.

Чем же отличалась проповедь Маркса от теорий и лозунгов его предшественников? Что придало ей силу неодолимого соблазна, находившего отклик в миллионах сердец, у людей самых разных племён, народов, вероисповеданий, социальных слоёв, у дальноруких и близоруких? Для того, чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, нам следует вернуться к описанному выше свойству человеческой души, которое мы назвали: *«Каинова жажда мести за собственную обделённость»*.

Маленький или большой Каин живёт в сердце каждого человека. В своей жажде самоутверждения каждая личность вступает в соперничество с окружающими её соплеменниками и может иногда дойти до крайних жестокостей и даже преступлений. Но одновременно, с развитием цивилизации, человек начинает осознавать спасительную важность ограничений, накладываемых на его волю религиозными заповедями, моральными требованиями, сводом законов. Он готов терпеть их и подчиняться им, пока система этих запретов выглядит незбылемой. Однако если революция разрушает систему, его жажда бунта против неё вырывается наружу и начинает крушить всё направо и налево.

В душе близорукого система моральных запретов отождествляется с властью вышестоящих слоёв. В душе дальнорукого, который в стабильном государстве обычно вынесен в правящий класс, нарастает протест против верховной власти, потому что она постоянно одёргивает его, заставляет считаться с чувствами большинства. Холодным умом дальнорукый может сознавать, что близорукое большинство только-только вышло из стадии дикости, что верховная

власть, с её полицией, тюрьмами и всякими жестокостями, необходима, чтобы удерживать зверя в народной душе. Но голос холодного рассудка звучит слабее, чем голос страстей, и не может удерживать дальнозоркого от утоления страсти к ниспровержению. Лозунги «мечами сбивайте короны!», «зовите народ к топору» прорываются наружу, как струйки дыма из склонов вулкана перед извержением.

И тут на сцене появляется Карл Маркс. И для дальнозорких, и для близоруких наукообразность его теорий таила необычайную привлекательность. Стройная схема сменяющих друг друга общественных формаций рождала надежду на то, что хаос мировой истории можно упорядочить. Примитивный общинно-родовой строй сменяется рабовладельческим государством, далее следует феодализм, потом – капитализм, который теперь пришла пора переделывать в социализм, чтобы потом достичь сияющего благополучия коммунизма. Всё выглядело таким научно-выверенным, неопровержимым. А венчала всё ТЕОРИЯ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ.

Вот в каждом государстве мы видим класс трудящихся и господствующий над ним класс эксплуататоров. Прогресс цивилизации осуществляется не творчеством тружеников, инженеров, учёных, путешественников, зодчих, мыслителей, а борьбой классов. Каждый раз, когда трудовой класс поднимается на борьбу и свержает власть господ, человечество делает скачок вперёд. Каждая победная революция есть благо, ибо в её пожаре, в грязи и крови, рождается нечто новое и небывалое.

Какое облегчение!

Логично, научно доказано, что моя затаённая, подавляемая жажда мести не является каиновым грехом, проклятьем человечества, а наоборот – движущей созидательной силой его развития. Да здравствует классовая борьба!

Такая схема мышления несла в себе оправдание самых глубоких тёмных страстей человеческой души. Близорукий, глядя на поставленного над ним дальнозоркого начальника, мог думать: «Нет, не потому я хочу с тобою покончить, что ты смыслёнее, образованнее, энергичнее меня, а потому что ты есть безжалостный эксплуататор, обманом захвативший власть надо мной». Дальнозоркий, глядя на власть имущего, мог думать: «Нет, не потому ты сужаешь рамки дорожкой мне свободы в государстве, что народ не созрел до неё и может начать бунтовать, а потому что стремишься удержаться у власти, сохранить порядок, вознёсший тебя над остальным населением и надо мной в том числе».

Религиозные заповеди «не убий», «не лги», «не бери чужого», само понятие «греха» были объявлены обманом, «опиумом для народа», сочинённым классом эксплуататоров для господства над угне-

тёнными. До тех пор пока общество построено на эксплуатации, любые моральные принципы остаются обманом, служащим сохранению власти меньшинства. Только когда право собственности будет разрушено, станет возможным справедливо оценивать моральную ценность того или иного человека.

Близорукое большинство неспособно быстро усваивать уроки истории. Все провалы марксистских догматов в реальной политической жизни не ослабляют притягательности теории. Красное знамя развевается сегодня едва ли в десятке государств, но в других странах наследие Маркса продолжает храниться в сердцах миллионов. Коммунистические партии и коммунистические идеи сохраняют свою силу и влияние на всех континентах. Даже в США на выборах 2016 года открытый социалист Берни Сандерс чуть не прорвался на роль кандидата в президенты от демократической партии.

Придание высокого мотива самым банальным злодействам действует как ведро бензина, выплеснутое в пожар. Одно дело откликнуться на «Бей жидов!» и совсем другое – на «Бей жидов, спасай Россию». Одно дело – просто поджечь помещичий дом, и другое – способствовать этим актом мировому прогрессу. (ПФ-433-36)

Сетка исторических координат, предложенная Марксом, никак не вписывается в хронологию реальной истории человеческой цивилизации. Рабский труд и работорговля имели место не только в античности, но активно использовались в 19-ом веке в США, Индии и Китае. Трудовые лагеря в Сталинской России и Гитлеровской Германии были ничем иным как возрождением рабства в веке 20-ом. Наоборот, многие черты социализма, то есть государственного управления экономикой, мы находим уже в Древнем Египте и Древнем Китае с их централизованным планированием строительства храмов, пирамид, ирригационных сооружений.

Необратимый прогресс цивилизации происходит не в сфере политико-экономических формаций (они могут исчезать, возрождаться, видоизменяться), а в сфере овладения силами природы. Он протекает ступенчато: народ-охотник постепенно превращается в кочевника-скотовода, далее следует оседлый земледелец, далее – народ-машиностроитель. Переход с одной ступени на другую может занять сто, двести, триста лет, может вообще не состояться, и тогда народ растворяется в более высокой цивилизации или исчезает с исторической арены, как исчезли, например, кельты, кимвры, скифы и десятки других племён.

Главная черта перехода со ступени на ступень: острейшие внутренние конфликты и иррациональная враждебность по отношению к народам, вступившим на более высокую ступень. Именно это мы наблюдаем сегодня у народов Третьего мира, оказавшихся перед необ-

ходимостью перехода с сельскохозяйственной ступени на индустриальную. Индустриальный же мир вынужден защищаться, но одновременно восходит на следующую ступень – назовём её электронно-космической, – и здесь его ждут новые социально-политические катаклизмы.

Миротворческие усилия обычно рождаются в среде дальновзорких, ими же и направляются. «Что должен сделать ваш противник, чтобы вы перестали нападать на него? – спрашивают они у того из враждующих, который выглядит более агрессивным. – Каковы ваши условия мира?». В ответ получают длинный список жалоб, внешне выглядящих оправданными и справедливыми. Но никогда не услышат ответ правдивый: «Заключение мирного договора – это и есть самое худшее для нас. Чем мы станем самоутверждаться, тешить свою гордость, привлекать к себе внимание всего мира, если нам запретят стрелять, взрывать, поджигать, забрасывать камнями нашего родного, единственного, заклятого врага?»

Жажда самоутверждения остаётся самой сильной страстью человека и вполне иррациональной. То есть, опять же, недоступной взгляду дальновзорого миротворца. Американский президент Вудро Вильсон, создавая в 1919 году Лигу Наций, настаивал на том, чтобы каждый народ и каждое государство получили право на суверенность и самоопределение. При этом он добавлял, что народам, которые выберут жить под властью авторитарных режимов, не должно быть места в Лиге. Эта идеология оказалась неосуществимой для реализации, но до сих пор используется США как оправдание свержения неугодных правительств – они, дескать, захватили власть с нарушением правил Святой Демократии.

В устойчивых государственных системах дальновзоркий живёт отдельно от народной массы и плохо знает её. Он вознесён над ней и истолковывает её враждебность несправедливостью социального неравенства. Но начиная с середины 19-го века вторжение Индустриальной эры произвело гигантское перемешивание разных слоёв населения во всех европейских странах. Близорукие в нижних слоях общества вдруг получили доступ к образованию, работа по найму стала вытеснять работу в своём хозяйстве, на своём поле, в своей мастерской, поезда и пароходы обеспечили неслыханную для прежних веков мобильность. Социальный статус перестал предопределяться словом, в котором человек родился.

Эти перемены разрушили прежние скорлупки безопасности – деревенскую общину, ремесленный цех, церковный приход. Миллионы людей оказались брошены в бурлящий поток нового мира абсолютно незащитными. Нищета, болезни, преступления захлестнули народную массу. Сострадание дальновзорких толкало их отыскивать причины этих бедствий, искать путей избавления от них и неизбежно

производило вскипание революционных настроений во всех странах, вступивших на путь индустриализации.

Новые революционеры вдохновлялись победами американской и французской революций конца 18-го века, идеология которых строилась на главном догмате равенства людей. Сословное разделение общества объявлялось несправедливым, реакционным, нелепым, ненужным. Дальнозоркие воображали, что, разрушив существовавшую структуру этажей неравенства, они обретут больше свободы для реализации своих талантов. Увы, этого не произошло. Всюду, где революции победили, вместо прежнего жёсткого распорядка чинов, званий, богатства, на них обрушился террор близоруких под знамёнами и лозунгами большевиков, фашистов, нацистов, хунвейбинов, красных кхмеров, фиделистов.

Эти страшные уроки не пошли впрок. Дальнозоркий не может и не хочет увидеть, как много тревоги, сомнений, страхов, унижений вносит в жизнь близоруких его дар «предвидеть и предусматривать», как легко новым фараонам объявить его главным врагом, вредителем, шпионом, изменником, правым или левым уклонистом. С догматом равенства дальнозоркому расстаться не по силам. Поэтому причину окружающей его враждебности он будет искать не в экзистенциальной своей отдалённости от большинства, а в глупых, злых, корыстных политиках, манипулирующих близорукой массой в своих интересах. (ПФ-454-55)

Процесс перехода народов с земледельческой ступени на индустриальную кипит у нас на глазах, поэтому очень трудно отыскать в нём какие-то устойчиво повторяющиеся черты. Зато за последние полтора века истории невероятно обогатили наши знания о переходе народов с кочевого и племенного состояния к оседлому земледелию в государственных форматах. Исходя из допущения, что природа человеческих страстей осталась неизменной за последние пять тысяч лет, мы можем взглянуть в катаклизмы, связанные с оседанием народов на землю, и спроецировать их закономерности на происходящий сегодня переход в индустриальную эру.

Глава 22. ОТСТАВШИЕ НАРОДЫ АТАКУЮТ ОБОГНАВШИХ

В любом учебнике истории описания войн, походов и сражений занимают основное место. Кажется, не было еще дня на земле, чтобы где-нибудь да не воевали. Но в период, отделяющий классическую Грецию от эпохи Возрождения, Марс хозяйничает на нашей планете особенно полновластно и с таким остервенением швыряет друг на друга все новые орды и полчища враждующих народов, что взгляд исследователя перестает что-либо различать в дыму пожара, слух воспринимает только лязг, стон и грохот, а душа усыхает перед зрелищем этого сплошного и бессмысленного взаимоистребления. И все же в кровавой бессмыслице прошлых веков мы видим так много сходства с нашим временем, что поневоле начинает казаться: тут что-то есть, какой-то неуловимый общий закон, закон войны, который можно преодолеть и нейтрализовать только через понимание его. (ПМ-182)

Конечно, случались в этот период и затяжные кровопролитные войны между земледельческими государствами. В пятом веке до Р.Х. долго сражались друг с другом Афины и Спарта. В четвертом Македония победно обрушилась на Персию, Египет, Индию. В третьем в долгую серию так называемых Пунических войн были вовлечены Рим и Карфаген. Во втором Рим начал покорение Греции. И всё же подавляющее число военных конфликтов протекали по одной и той же модели: кочевые племена чуть ли не ежегодно атаковали страны оседлых земледельцев.

Подробная летопись этих нападений потребовала бы нескольких томов.

6-5 век до Р.Х.: кочевники скифы многократно нападают с севера на могучую Персидскую империю, и контраступление Дария в 513 году не даёт никаких результатов.

5-4 век до Р.Х.: кочевники галлы-кельты вторгаются в Северную Италию, разбивают этрусков, захватывают Рим.

3 век до Р.Х.: кочевая империя гуннов уступает по численности Китаю в двадцать раз, но по территории и военной мощи они почти равны, так что в некоторых договорах упоминается дань, которую китайцы соглашались платить гуннам, чтобы откупиться от их нападений.

2 век до Р.Х.: новые вторжения кочевых племён на территорию Рима: нумидийцы нападают в Африке, тевтоны и кимвры – в Галлии и Италии.

1 век до Р.Х.: гельветы обрушиваются на Заальпийские территории Рима, и, оттесняя их, Юлий Цезарь втянут в войну с галлами и германцами.

1 век после Р.Х.: в Британии римляне отбиваются от икенов, возглавляемых царицей Боудиккой, в Придунайских провинциях – от вторгшихся сарматов.

2 век после Р.Х.: император Траян должен воевать с даками, Адриан – строить оборонительную стену в Британии, Марк Аврелий сражается с маркоманами. Также нужно отбиваться от задунайских племён – аланов, сарматов.

В третьем веке – от готов, германцев, галатов.

В четвёртом – от франков, аламанов, вандалов.

В пятом – лангобарды, гунны, свевы.

В шестом – булгары, славяне, авары.

А потом произошло пять нашествий, которые превзошли своими масштабами все предыдущие: арабы, норманны, турки (сельджуки и османы), монголы, тюркские племена, ведомые Тамерланом.

Итак, пять взрывов. Есть ли у них какое-то сходство, общие черты?

Есть, и немало.

Во-первых, внезапность. Все эти народы являются на историческую арену как бы прыжком: еще вчера о них ничего не было известно, лишь ближайшие соседи знали, что где-то там, за этими горами или за этой степью живут такие-то и такие-то племена, а сегодня уже страшная весть о движении их полчищ летит по всей земле, опережая их на сотни километров. Во-вторых, огромные, ошеломляющие размеры их захватов. Во всех пяти случаях они настолько несоизмеримы с практическими нуждами наступающего народа, что говорить об экономических мотивах движения можно с таким же правом, как и об астрологических. В-третьих, необъяснимая военная мощь захватчиков; будучи почти всегда в численном меньшинстве, они разбивают хорошо вооруженные армии, покоряют огромные народы, берут любые крепости.

И четвёртая общая черта – абсолютная безжалостность к побеждённым. Особенно отличались в этом монголы.

Вчитываясь – вглядываясь – вслушиваясь – в историю монгольских завоеваний, мы чаще всего слышим одно и то же слово: РЕЗНЯ. Или БОЙНЯ. Или по-научному: ПОГОЛОВНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ.

Порой возникала ситуация – особенно в южных широтах, – когда монголы бывали вынуждены через несколько дней покидать захваченный город – так невыносима становилась вонь от разлагавшихся трупов.¹

«При осаде в 1221 году персидского города Нишапур (родина Омара Хайяма) зять Чингисхана был убит стрелой со стены. Чингиз предложил своей овдовевшей дочери, беременной к тому времени, выбрать наказание для города. Она приказала перебить всех жителей и сложить отрубленные головы в три пирамиды: одну из мужских голов, другую – из женских, третью – из детских. Её пожелание было выполнено.»²

«В 1237 году царство болгар на Волге сделалось вассалом монголов. Несмотря на это 50 тысяч жителей столицы были поголовно перебиты и сам город разрушен настолько, что никогда уже не возродился.»³

При взятии Рязани «князь Юрий, его семья и все приближённые были перебиты. Рязанцев расстреливали на улицах, насаживали на кол, сдирали кожу, сжигали живьём в пылающих домах... Монахи и жители, запершиеся в храмах, могли лишь беспомощно взирать, как насиловали молодых женщин и монахинь... Потом и они погибли в подожжённых церквях».⁴

Князь Владимира тоже был сожжён в храме вместе с женой, дочерьми и внуками, «и их обугленные тела валялись на полу среди других трупов и растоптанной знаменитой иконы Богородицы, которая в прошлом одарила жителей Владимира столь многими чудесами».⁵

«6 декабря 1240 года Киев был взят улица за улицей. Последним оплотом сопротивления был храм Богородицы... но так много перепуганных горожан вскарабкалось на крышу и в колокольню, что здание рухнуло, погребая не только беженцев, но и защитников... Город, который когда-то правил Россией, был полностью разрушен и разграблен, могилы святых осквернены, их мощи разбросаны.»⁶

«Венгерские священники, прослышав, что среди монголов много христиан, попытались защитить Будапешт крестным ходом с мощами святых. Но всё связанное с мёртвым телом вызывало у монголов только отвращение. В ярости они изрубили священников и подожгли все городские церкви».⁷

Из уцелевших отбирали учёных, инженеров, опытных ремесленников: кузнецов, рудокопов, стеклодувов, аптекарей, ткачей. Этих отправляли во внутренние районы и давали возможность трудиться на благо разрастающейся империи. Остальных могли использовать на осадных работах у стен следующего города, для переноски грузов, в качестве живых щитов.

Презрение монголов к сельскому населению было глубоким и всеобъемлющим. Люди, не носившие меча и питавшиеся тем, что росло из земли, а не мясом, были в их глазах чем-то вроде скота.

Гнать в нужное место толпу крестьян было для них так же естественно, как гнать стадо коров, и обозначалось в их языке теми же терминами.⁸

Кому не было пощады нигде и никогда – это богатым и знатым. В войнах между крестоносцами и мусульманами сложился код, по которому пленных командиров содержали в приемлемых условиях и потом выпускали за полученный выкуп. Не то монголы. Знатные семьи уничтожались ими вплоть до младенцев. Чингисхан никогда не принимал пленных аристократов в свою армию, не давал им гражданских должностей в управлении.⁹

Есть много указаний – примет – того, что монголам был ненавистен сам уклад жизни земледельцев. При захвате Северного Китая «монголы не только планомерно сжигали города, но также затрачивали много времени и труда на разрушение ирригационных систем, что приводило к полному запустению больших территорий».¹⁰ Французский летописец сообщает, что «монголы не только сравнивали с землёй города и разрушали замки, но также вырубали виноградники, сжигали сады, вытаптывали поля».¹¹ «Монголы приходили не для того, чтобы завоевать и управлять, а для того чтобы убивать, разрушать и грабить... Они оставляли после себя разваленную экономику, засыпанные каналы, пепел школ и библиотек...»¹² (ГА-114-117)

Последнее крупное извержение военной мощи и ярости кочевников на земледельческие государства приходится на конец 14-го века и связано с именем знаменитого полководца Тимура (1336-1405). Он происходил из небольшого племени Барлас, участвовавшего в завоеваниях Чингисхана. Хотя столицу своей империи – Самарканд – он украсил мечетями и дворцами, сам предпочитал жить в походном войсковом лагере, в юрте. За двадцать лет непрерывных войн (1383-1405) его армии прошли кровавым катком по Малой и Средней Азии, Кавказу и Крыму, Сирии и Индии, России и Китаю. Снова мы видим пирамиды отрубленных голов, снова сожжённые поля и сады, снова под ударами катапульта и таранов рушатся стены городов – Дели и Москвы, Анкары и Смирны, Алеппо и Дамаска, Багдада и Чимкента. (ГА-119)

Однако с середины Второго тысячелетия мы замечаем во многих районах переход земледельцев в контрастность.

16-17 век после Р.Х.: Московия ведёт войны с племенами татар, башкир, киргизов.

18-19 век после Р.Х.: Соединённые Штаты теснят племена индейцев всё дальше и дальше на запад.

19-20 век после Р.Х.: Российская империя втянута в войны с чеченцами, дагестанцами, черкесами, народностями Средней Азии.

Но к этому моменту многие народы, завершившие переход от кочевой формы существования к оседло-земледельческим государствам, оказались в противоборстве с народами, вступавшими и вступившими на индустриальную ступень цивилизации.

Отложим на время подозрную трубу, через которую мы оглядываем поля сражений между народами, классами, вероисповеданиями. Вернёмся к микрочастице истории, используя некий психологический микроскоп. И положим под него душу иудея, входящего под водительством Моисея в цветущую долину Ханаана. Скифского всадника, идущего в очередной набег на Персидскую империю. Гунна, приближающегося к границам Древнего Рима. Норманна, поднимающегося в своей ладье к стенам Парижа. Монгола у Великой китайской стены. Татарского, башкирского, калмыцкого конника, замышляющего очередной грабёж русских селений. Ирокеза, гурона, делавера, нацеливающего свой лук на идущего за плугом американского поселенца.

Все эти кочевники и мигранты уже имели долгие контакты с оседлыми земледельцами, бывали в каменных городах, привозили меха, шкуры, лошадей на продажу. Они видели изобилие городских базаров, роскошь дворцов и вилл, комфортабельные дома с застеклёнными окнами, величественные храмы. Счастливые обитатели земледельческих стран, казалось, забыли о том, что такое голод, их боги помогают им держать житницы всегда полными зерна. От врагов они умеют защищаться неприступными стенами крепостей, превосходным оружием, железными латами и колесницами. Нельзя не позавидовать им!

«А что если попытаться подражать им? Научиться сеять и убирать урожай, обжигать кирпичи, строить дома, выплавлять железо, медь, бронзу? Ведь они, кажется, готовы помогать нам, обучать всем своим умениям и ремёслам.» Такие мысли-соблазны не могли не всплывать в головах кочевников. И в истории многих племён мы находим попытки заняться земледелием, основывать поселения, даже овладеть письменностью. Однако эти перемены невозможно было осуществить единоклассным скачком, укладываемым в срок жизни одного человека. Нужно было здесь и сейчас отказаться от многих дорогих или даже священных обычаев и традиций ради каких-то далёких и умозрительных улучшений в жизни потомков.

Переходя к оседлому существованию, ты утрачивал главное военное преимущество – мобильность, неуловимость. Враг всегда будет знать, где найти тебя и напасть в удобный момент.

Главный источник твоей гордости, твоя надежда на бессмертие – роль бесстрашного воина – отнимется у тебя. Война делается уде-

лом привилегированного меньшинства, военной касты, и большинству достанется роль тружеников на полях, в мастерских, на стройках.

Зная обычаи своего племени, ты получал почётную роль судьи, следящего за их соблюдением, выносил приговоры нарушителям, даже приводил их в исполнение, используя традицию кровной мести. Переход от племенной структуры к государственной лишил тебя этой важной роли, превращал в послушного исполнителя воли правительства, назначенных судей, жрецов.

Приволье кочевой жизни на просторах степей, пустынь, океана придётся сменить на тесноту и вонь поселений, где каждый сосед легко может превратиться из дружелюбного соплеменника в завистливого и опасного врага.

История всех племён, переходивших от кочевого состояния к оседлому, демонстрирует нам глубочайший внутренний раскол и свирепое противоборство по этому судьбоносному вопросу: держаться привычного уклада или решиться на радикальные перемены?

Когда часть иудеев, пересекавших пустыню, стала выражать сожаление об утраченном сытном комфорте египетского «рабства» и попыталась приносить жертвы золотому тельцу, Моисей приказал убивать «отступников» и «пало в тот день три тысячи человек» (Исход, 32:27, 28).

Цезарь сообщает, что в Галлии не только «проримские» племена воевали с «прогерманскими», но партийная рознь раскалывала даже отдельные семьи.¹³

У германцев победа «партии войны» отразилась в том, что было запрещено владение земельными участками, «чтобы в увлечении оседлой жизнью люди не променяли интереса к войне на занятия земледелием, чтобы они не стремились к приобретению обширных имений».¹⁴

Когда «партия войны» взяла верх среди гельветов (территория нынешней Швейцарии, 1-й век до Р.Х.), она постановила сжечь все уже имевшиеся городки и поселения, чтобы у людей не осталось соблазна вернуться от очередного похода на Рим.¹⁵

Кочевая империя гуннов, веками угрожавшая Китаю с севера, раскололась на Южных хунну и Северных. Южные постепенно ассимилировались в Китае, а северные ушли в далёкий поход на Запад и два века спустя обрушились на Европу.¹⁶

У некоторых арабских племён, кочевавших на Аравийском полуострове, были приняты законы, строго каравшие за попытку построить дом или посадить дерево.

Когда часть крымских татар отделилась от Орды и основала Казанское ханство, построила деревянный город на берегах Волги и

занялась земледелием, татары-кочевники сделали её объектом таких же нападений, которым до тех пор подвергались Московия и Литва. (ФВ-59-61)

Вглядываясь в кровавый хаос веков минувших, многие добронравные мыслители пытаются заверить нас, что всё это ушло в прошлое. Нам обещают то конец истории (Френсис Фукуяма), то поворот на «правильный курс цивилизации (Юваль Харари), то, наоборот, совершенно новую эпоху – Третью волну (Элвин Тоффлер), которая объединит всё человечество своими техническими чудесами. Простое слово «мир» подкреплялось новыми – высокоумными – словами-рецептами: «конвергенция», «глобализация», «компьютеризация». И казалось – хотелось – мечталось: да, вот-вот, ещё немного – и с кровавым безумием будет покончено. Ведь все-все люди – за редким исключением – разве не ясно? – хотят одного и того же: мирно жить и трудиться на этой – пусть уже немного тесноватой – планете. Нужно только выловить и запереть тех немногочисленных злодеев, которые сеют раздор и кровопролитие на земле.

Но вожделенный мир всё не наступал – не наступает – не наступит. Новые волны взаимной ненависти, вражды, бессудных убийств вскипают то там, то тут, и миротворцам в голубых касках не по силам остановить этот пожар, даже если число их – каким-то чудом – увеличится в тысячу раз. Да и как – чем – какой угрозой можете вы остановить убийцу, утратившего страх смерти? Превратившего себя в живую бомбу? Видящего в своей гибели радостное свершение, венец, оправдание всей своей жизни? Как вы можете распознать его в пассажире пригородного поезда, мирно пристраивающего на коленях свой рюкзачок, с рожницей Мики-Мауса на кармашке? В водителе грузовика, подвозящего к воротам школы или больницы ящики с молоком? В девушке, поднимающейся по трапу самолёта, поправляющей ляжку лифчика, отяжелевшего под весом взрывчатки?

Рецептов спасения – защиты – нет, зато «вопросы и проклятия» звучат всё громче. Особенно проклятия.

Смерть Америке!

Смерть Израилю!

Обезглавим врагов Ислама!

Готовьтесь к новому Холокосту!

Повторим одиннадцатое сентября!

Вопросы звучат не так громко и, по сути, сливаются в один: ЗА ЧТО ОНИ НАС УБИВАЮТ? ОТКУДА ХЛЕЩЕТ ГЕЙЗЕР ИХ НЕНАВИСТИ?

И самый частый – популярный – уверенно произносимый ответ:

МЫ ИХ ОБИДЕЛИ.

Это мы – мы сами – довели их до отчаяния. Их ненависть – нормальная реакция на нашу жестокость и несправедливость. На угнетение и эксплуатацию. На агрессию и оккупацию. Если мы уйдём из всех горячих точек планеты, где наше присутствие вызывает их гнев, вражда и кровопролития утихнут – увянут – сами собой. Если мы перестанем поддерживать жестокие и несправедливые режимы – под предлогом, что только этим режимам по силам удерживать крышку на котле народной ненависти, – освободившиеся народы немедленно учредят у себя демократию и начнут мирно и безмятежно питаться плодами с её цветущих ветвей.

Поколебать этот ответ – этот способ мышления – невозможно. Ибо люди с подобным складом ума (в другой книге я назвал их «уравнителями»), верят в изначальную доброту и миролюбие человека. Это для них непоколебимая аксиома. А коли так, причины зла, жестокости и кровопролитий в мире нужно искать в пороках и ошибках цивилизации. Сами того не замечая, они тоже пристрастились к наркотику ненависти. Только ненавидят они не убийц, а злых генералов, глупых политиков, жадных эксплуататоров – именно их они считают виновниками кровавого пожара на планете. Чем бессмысленнее, чем кровавее будет новое нападение террористов, тем выше взметнётся волна ненависти либерала-уравнителя к «угнетателям», тем острее будет пережитое им упоение собственной правотой и непогрешимостью. (ГА-6-7)

Автор предлагаемой читателю книги должен сразу сознаться: ответ «мы их обидели, мы перед ними виноваты» не кажется ему убедительным. Уж как были виноваты немцы перед евреями или японцы – перед китайцами, а никакого особого направленного террора против немцев или японцев со стороны евреев и китайцев мы не видим. Автор не верит и в то – да простят его Жан-Жак Руссо, Лев Толстой, Махатма Ганди, президент Джимми Картер и миллионы их последователей, – что человек по природе своей есть незлобивое мирное существо, вроде полевого суслика или австралийского ленивца, готового мирно качаться на ветке, покуда на ней хватает вкусных листьев. За долгую жизнь автор насмотрелся – послушался – начитался достаточно про дела человеческие. От гладиаторских цирков в Древнем Риме до публичных пыток на стадионах в Красном Китае, от костров инквизиции до подвалов НКВД, от сдирания скальпа с живого пленника американским индейцем до голубого пластикового мешочка, натянутого на голову камбоджийца юным соплеменником, – вот развёрнутый – панорамный – портрет зверя, живущего в каждом человеке и только и ждущего случая, чтобы вырваться на волю из-под оков цивилизации, морали, религии.

Добрые и благоразумные люди склонны считать ненависть чувством тягостным, мучительным. Только мука ненависти может толкнуть человека на такой отвратительный акт как убийство – в этом они глубоко убеждены. Не имея собственного опыта ненависти, они не верят – не замечают – не хотят знать, что ненавистью можно упиваться, наслаждаться, разжигать её в себе до самоослепления. А когда на экранах показывают очередного серийного убийцу, переходившего от одной жертвы к другой без всякой ненависти, они прячут его под ярлык какого-нибудь психиатрического диагноза и забывают о нём. Упоение убийством? Такого не может быть, не бывает. Даже страшный XX век не смог разрушить их идеализма. Ликующее беснование толп, приветствовавших уничтожение армян в Турции, «шпионов» в СССР, евреев в Германии, классовых врагов в Китае, горожан в Камбодже, истолковывается идеалистами-уравнителями как случайность, аберрация, результат политических ошибок, натравливания, пропаганды. (ГА-8-9)

Метафизическая гипотеза сводится к следующему: всё, что человечеству довелось пережить при переходе от кочевого скотоводства к оседлому земледелию, ему придётся испытать и при переходе народов с земледельческой ступени в эру машиностроения.

Именно это мы и видим в сегодняшнем – кипящем иррациональной ненавистью – мире. Народы, застрявшие на земледельческой стадии или только-только вошедшие в неё, – переживают такой же мучительный раскол, через какой прошли в своё время древние иудеи, скифы, галлы, готы, гунны, арабы, татары, черкесы, стоят перед той же дилеммой: догонять ли ушедших вперёд машиностроителей или попытаться их уничтожить? На поверхности могут пестрить самые разные плакаты и лозунги, требования политической независимости или защиты религиозных верований, призывы к восстановлению «исторической справедливости» (как будто она когда-то существовала!) или возвращения захваченных территорий. Но природа лавы, кипящей в глубине, остаётся одна и та же: ненависть отставшего к обогнавшему.

Это она движет палестинцем, вонзающим кинжал в грудь израильского спортсмена в Мюнхене.

И тамильской девушкой, взрывающей себя вместе с премьер-министром Индии.

И арабом, входящим в самолёт, пружиня на подошвах, заполненных взрывчаткой.

И студентом-марокканцем, направившим арендованный автомобиль на толпу гуляющих в Северной Каролине.

И теми индонезийцами, которые подложили мину в отель с австралийскими туристами.

И уж, конечно, теми девятнадцатью джихадистами, которые даже не удостоили мир объяснением: ради чего они направили захваченные боинги на Мировой торговый центр и Пентагон. Да и нуждалось ли их деяние в объяснениях и расшифровке? «Наша цель – уничтожить вас. Ради этого мы отдадим свою жизнь – не дрогнув. А средства для уничтожения вы предоставите нам сами» – вот простой смысл сентябрьской атаки самоубийц.

Если бы важность и справедливость добытого нами вывода была осознана машиностроителями, они перестали бы требовать от своих политических лидеров немедленного – при жизни одного поколения осуществлённого – умиротворения отставших. Как и переход от кочевого состояния к земледельческому, процесс перехода в индустриальную стадию не может осуществиться ни в пять, ни в десять, ни в двадцать лет. На него должны уйти века – и всё это время ненависть будет полыхать в сердцах отставших земледельцев и прорываться отдельными извержениями, обжигать нас взрывами и стрельбой. Политик, играющий на страхах избирателей, обещающий им – в традициях Чемберлена – «прочный и справедливый мир со всеми народами», всегда окажется демагогом, чьи лозунги обернутся лишь новой кровью, новыми насилиями, новыми жертвами. (ГА-167)

Демократию будут навязывать даже племенам, ещё не расставшимся с радостями кочевой жизни, огнепоклонством и каннибализмом. В погоне за «помощью развивающимся странам», щедро распространяемой США и ООН, народы напяливают на себя демократические одеяния, устраивают фанерные избирательные урны, в которых половина опущенных бюллетеней будет украшена не подписью, а крестиком или птичкой – избиратель не успел овладеть грамотой.

Великие империи прошлого выживали так долго, потому что они обеспечивали десяткам враждующих между собой племён и народов бесценный и «дефицитный» товар: институт прочной верховной власти. Даже власть Золотой Орды русские княжества терпели, ибо знали, как они станут терзать друг друга без её надзора. Рах Романа в переводе означал «Мир под властью Рима». Американцы, впервые в истории, оказавшись «де факто» империей, но не желая при этом выглядеть «колонизаторами», отказываются брать на себя эту важнейшую функцию. Они как бы объявляют покорённым народам: «Сохранять внутренний мир остаётся вашей задачей. Но вы должны справиться с ней исключительно методами демократии».

Такая политика сработала по отношению к странам, которые имели долгий опыт жизни под властью монархов, использовавших для управления законодательные рычаги: Германии, Италии, Японии. Оккупационные власти США в послевоенный период дали

этим народом реализовать накопленный опыт и создать устойчивую демократию. Но почти все бывшие колонии в Азии и Африке такого опыта не имели и, после получения независимости, проходили один и тот же путь: короткая и беспомощная демократия, затем – хаос, гражданская война, диктатура.

Невольно вспоминаешь, что перед вторжением в Нормандию весной 1944 года союзники изготовили множество надувных резиновых танков, пушек, самолётов и разместили их на юго-востоке Англии, чтобы имитировать подготовку пересечения Ла-Манша в районе Кале. Немцы попались на эту дезинформацию и сосредоточили свои главные силы в этом районе. Но кого пытается обмануть сегодня Западный мир, создавая недолговечные «надувные» демократии в странах Африки, Южной Америки, Ближнего Востока? Самих себя? Чтобы доказать универсальность выбранной политической модели?

Надувному демократическому правлению не по силам справиться с главной задачей верховной власти: защищать подданных друг от друга. Когда волна погромов, грабежей, убийств достигала опасного пика, страны, не созревшие до власти закона, возвращались к правлению силы. В разные моменты военные хунты воцарялись в Аргентине, Гаити, Гватемале, Греции, Египте, Пакистане, Панаме, Турции, Чили. Западные страны и США немедленно выражали осуждение, прилагали усилия к свержению хунт, способствовали возврату недееспособной надувной демократии.

Расплата за преждевременную демократизацию всюду была тяжёлой. По оценкам историков и политологов, в гражданских смутах и войнах конца 20-го века погибло в Боснии от 50 до 200 тысяч, Восточном Тиморе 200, Кашмире – 20, Судане – от 500 тысяч до полутора миллиона, Таджикистане – 100 тысяч, Тибете – 100, Филиппинах 50, Хорватии – 50, Шри Ланке – 50-100.¹⁷ И всюду число беженцев превышало число погибших в несколько раз.

Даже там, где дело не доходило до хунты или гражданской войны, повседневное насилие делало жизнь людей невыносимой. Сегодня в Мексике, Сальвадоре, Колумбии в некоторых городских кварталах жители организуют отряды самообороны. Массовое бегство жителей этих стран становится главной политической проблемой наших дней. США оказались захлестнуты миллионами мексиканцев, гаитян, пуэрториканцев, колумбийцев, перуанцев и прочих. Европа переполнена турками, ливанцами, пакистанцами, ливийцами, алжирцами, египтянами, сомалийцами. В Россию бегут киргизы, узбеки, таджики, казахи, азербайджанцы, молдаване, украинцы.

Пускать или не пускать иммигрантов – этот вопрос сделался темой самых жарких политических дебатов в индустриальных странах. Наиболее строгие правила на въезд пока существуют в Швейцарии, Японии, Израиле, Венгрии. Остальные страны, поддаваясь прекраснородушной вере в равенство и «права человека», распахивают свои границы многомиллионным потокам людей, абсолютно не готовых к подчинению правилам и законам демократического миропорядка.

Эпоха «варвары у ворот» подходит к концу. Наступает эпоха «варвары внутри крепости».

У наблюдателя, склонного искать заговоры в любых исторических событиях, может возникнуть сакраментальная теория: западный мир нарочно навязывает развивающимся народам недееспособное республиканское правление, чтобы они рушились в политический хаос и не имели возможности вступить в индустриальную эру. Благодаря этому они не превратятся в серьёзных соперников, а останутся источником дешёвой рабочей силы. Для рациональных умов привлекательность подобной теории будет состоять в том, что она придаёт хоть какой-то смысл происходящему. Иначе придётся допустить, что западный мир обезумел.

То, что принято называть Третьим миром, по сути представляет из себя народы, находящиеся в процессе перехода из земледельческой стадии цивилизации в индустриальную. Выше уже говорилось о том, что процесс этот похож на родовые муки, сопровождается гигантскими политическими катаклизмами, чреват войнами и кровопролитиями. Так же, как когда-то кочевник видел в земледельце виновника надвинувшихся на него перемен и унижений, так и сегодня земледelec видит в машиностроителе злонамеренного захватчика, планирующего воцариться над ним. Отсюда и рождается мощный импульс сопротивления, который реализует себя в терроре, партизанщине, саботаже, бунтах.

Атаки террористов, происходившие после Второй мировой войны, имели одну интересную особенность: их жертвами почти всегда становились жители демократических стран, то есть машиностроители. Трудно припомнить хоть одну атаку на советских, китайских, кубинских, вьетнамских дипломатов. У многих возникало впечатление, что террор инспирируется и оплачивается исключительно красными.

На самом деле, причина здесь в том, что правительства тоталитарных стран ни в грош не ставят жизнь своих граждан и их гибель не оказывает никакого воздействия на них. Атаки на россиян начались только после 1991 года. Террористы как бы признали переход

России в мир индустриально-демократический и выдали ей кровавый «сертификат» убийствами школьников в Беслане, зрителей в московском театре, пассажиров в Петербургском метро.

Но, конечно, главными объектами нападений оставались США, Европа, Израиль. Необъявленная война земледельцев с машиностроителями только набирает силу. Пока она имеет характер «рассыпных» пожаров, вспыхивающих то там, то тут, напоминающих горение торфяников под землёй, время от времени прорывающихся на поверхность. Эти пожары питает вражда и гнев «отставших к обогнавшим», описанные выше.

Главная проблема остаётся в том, что идолопоклонники демократии отказываются увидеть, насколько их ценности и принципы неприемлемы и ненавистны миру ислама.

Права человека? То есть равноправие женщин? То есть вы потребуете, чтобы женщина молилась рядом со мной в мечети? Задрыв зад к потолку? А потом получила право на развод? Могла разрушить мою семью, забрать детей и заставить меня через суд оплачивать её существование? Мой ответ на это может быть только один: автомат и динамит.

Свобода слова? То есть свобода любого проходимца насмехаться над всем, что для меня дорого и священо? Рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда? Вы уже получали кровавую плату за это не раз и будете безотказно получать впредь.

Веротерпимость? Чтобы мы терпели в своих городах церкви, костёлы, кирхи, буддийские храмы и даже синагоги? Ох, хватит ли у нас взрывчатки, чтобы управиться со всем этим! У русских коммунистов хватило, наверное, хватит и у нас.

Свобода собраний и демонстраций? То есть я должен буду терпеть на своих улицах шествия полуголых феминисток, разрисованных гомосексуалистов, ортодоксальных евреев? На этих и пули трать жалко, хватит булыжника.

Власть закона? То есть таких правил жизни, которые каждый год сочиняют люди, не признающие единственный правильный закон, оставленный нам пророком? В том числе и закон, лишаящий меня власти над женой и детьми? Да я лучше взорву себя вместе с десятком-другим таких законодателей.

Западный мир упорно декларирует универсальность своих этических и политических идеалов. Осам бин Ладен, получивший образование в Англии, имел возможность оценить всю меру этого самоослепления и пришёл к убеждению: здесь не о чем диспутировать. Именно поэтому он призывал своих сторонников: «Никаких переговоров с крестоносцами. Только Коран и автомат».¹⁸

Попытки воинствующего ислама закрепиться на каких-то территориях и образовать зародыш будущего халифата пока не имели

большого успеха. Аль-Каида, талибы, ИГИЛ оказались достаточно уязвимы для военной мощи индустриального мира. Скорее всего контрнаступление земледельцев будет применять ту же тактику, что применяли скифы, кельты, готы, норманны, индейцы: внезапно напасть, произвести кровавый сумбур и потом укрыться опять в своих степях, лесах, прериях, фьордах, пустынях. Тем более, что теперь им так легко укрываться в «джунглях» больших городов, в гуще мирного населения.

К услугам воинствующих исламистов, живущих в индустриальных странах, оказываются все чудеса технического прогресса. Они уже врзались на Боингах в небоскрёбы, таранили крейсера мототорками, нагруженными взрывчаткой, давили беззащитных проходжих грузовиками, превращали в бомбу то кассетный магнитофон, то кастрюлю-скороварку. Надо полагать, что их планировщики сейчас в тишине разрабатывают новые сюрпризы для новых «крестоносцев».

Как насчёт устроить потоп путём взрыва дамбы?

Или аварию поезда, оставив в последний момент грузовик на железнодорожном переезде?

Некоторые фирмы в Англии предлагают доставку пакетов с покупками, сделанными по интернету, при помощи миниатюрных дронов. А что если нагрузить такой дрон гранатой и направить его напрямик на играющего в гольф президента Трампа? Никакая охрана не успеет перехватить малозаметный аппарат, управляемый издали невидимым оператором.

До овладения ядерным оружием террористам ещё далеко. Но теракты с применением бактериологических компонентов не за горами. Известный журналист и политолог Тони Блэнкли в своей книге «Последний шанс Запада» разрабатывает возможный сценарий того, как это произойдёт. В трёх-четырёх больших универсамах в разных городах расплывется вирус оспы. Так как симптомы этого заболевания появятся только через трое суток, заболевшие люди успеют заразить десятки других. Эпидемия начнёт распространяться по стране с невероятной скоростью.¹⁹

Не только исламский мир сопротивляется переходу на более высокую ступень. Вся Латинская Америка скоро будет отмечать 200 лет независимости, но ни в одной стране республиканское правление не привело к стабильности и процветанию. Отставший хочет найти виновника своих неудач и легко находит его в обогнавшем. Индивидуальный террор здесь не получил такого распространения, как на Ближнем Востоке. Но контрнаступление земледельцев осуществляется по-другому.

Один путь – политико-экономический: путём конфискаций промышленных фирм, имевших неосторожность вести бизнес на

территории латиноамериканских стран. Эти конфискации сделали национальными героями Хакобо Арбенса Гусмана в Гватемале (1952), Фиделя Кастро на Кубе (1959), Сальваторе Альенде в Чили (1973), Мануэля Норьегу в Панаме (1983), Даниэля Ортегу в Никарагуа (1985), Уго Чавеса в Венесуэле (1998).

Другой путь: вселение и вытеснение. Перепись 2000 года показала, что впервые белое население Калифорнии превратилось в меньшинство. Рождаемость среди латиноамериканцев высока, даже ребёнок, родившийся у незаконных иммигрантов, получает американское гражданство. От молодых мексиканцев второго поколения иммиграции американец может услышать: «А это наша земля. Вы украли её у нас полтора века назад. Скоро мы всё заберём назад».²⁰

То, что такая трансформация возможна, показывает пример отделения Косова от Сербии. Там тоже в течение 1950-80-х происходило бегство албанцев с нищей родины в относительно благополучную Югославию, баланс населения менялся, сербы превратились в меньшинство. Албанским беженцам было не по силам добиться отделения путём партизанской войны, но помогла американская авиация, которая «ради восстановления политической справедливости» два месяца бомбила мирную Сербию (1999).

Тот же процесс имеет место и в остальной Европе. Миллионы турок, обосновавшихся в Германии, создают в городах свои анклавов, куда немецкая полиция старается не соваться. Арабское меньшинство в городах Южной Франции недолго будет оставаться меньшинством. В Голландии, например, в Роттердаме мусульмане уже составляют 40%.²¹ А в Англии мэром Лондона впервые избран мусульманин.

Ввоз наркотиков из стран Третьего мира в Европу и Америку, конечно, нельзя интерпретировать как сознательную агрессию. Но стоит задаться вопросом: почему этот поток идёт только в одну сторону? Возможное объяснение состоит в том, что наркотик есть главное лекарство от депрессии, а эпидемия депрессии – удел богатых стран, в которых человеку трудно утолить жажду самоутверждения. В бедных же странах борьба за выживание отнимает все силы и не оставляет времени на то, чтобы скучать и депрессировать.

Кроме того, противоборство с индустриальным миром оказывается прекрасным способом утолять все три главные страсти. На днях по телевизору показали выступление нового лидера Хамаса в секторе Газа. Глаза его сверкали, лицо светилось, речь была полна страсти. Прямым текстом он объяснял, какая это великая цель – уничтожение Израиля, изгнание всех евреев с Палестинской земли. Он самоутверждается этой борьбой, он обретает счастливое сплочение с миллионами соплеменников, он приближается бессмертию.

Нужно быть бессердечным сионистом, чтобы попытаться отнять у него это счастье.

Неважно, что пока Израиль легко сбивает большинство самодельных хамасовских ракет, ловит убийц, засылаемых через подземные туннели, выстроенные, кстати, из бетона, поставляемого в Газу программой помощи для восстановления домов. Важно то, что ненависть к «оккупантам» стала наполнением жизни для миллионов палестинцев. Искоренить её невозможно никакими политическими или экономическими подачками.

При всём богатстве Древнего Китая, его императорам нелегко было выделять средства для строительства Великой китайской стены, тянувшейся на сотни километров. И римскому императору Адриану недешево обошлась оборонительная стена, которой он перегородил Англию от моря до моря (2-й век по Р.Х.). Похоже, что и восьмиметровая стена, которой Израиль поспешно отгораживается от мира ислама, – единственный способ замедлить контрнаступление земледельцев.

Замедлить – но не предотвратить.

Глава 23. СЧАСТЬЕ НИСПРОВЕРГАТЬ

Мы все любим побеждать и покорять. Соперника, горную вершину, морские глубины, гордую красавицу, быка на арене, конкурента на рынке. И чем сильнее противостояние, чем грознее наш соперник или конкурент, или силы природы, тем слаще победа. Но чтобы мы решились ринуться в борьбу, нам необходим хоть маленький проблеск надежды на успех. Если такой надежды нет, мы не двинемся с места. Или со вздохом пойдём покупать лотерейные билеты – ведь там огонёк надежды светит каждому.

Победа приносит счастье, поражение – горечь и отчаяние. Ну, а нельзя ли отыскать – выбрать – такое противоборство, где бы победа была гарантирована, а поражение исключалось? Оказывается, такое завидное занятие есть. Оно известно с древних времён и практически доступно всем и каждому. Называется оно «ниспровержение кумиров». Живых и мёртвых, в камне и бронзе, реальных и символических, зримых и невидимых. Всё, что окрашено людским поклонением или хотя бы почтением, годится на роль объекта ниспровержения.

Скорее всего, знаменитый Герострат не имел ничего лично против богини охоты Артемиды. Он с таким же успехом мог бы поджечь храм другой небожительницы – Геры, Афины, Афродиты. Слава смелого ниспровергателя была бы ему гарантирована на века независимо от того, кого бы он выбрал для нападения. (ПФ-110)

Многообразие возможных объектов ниспровержения неопишимо. Можно швырять помидоры в неугодного политика или облить его зелёной краской. Можно прокрасться ночью на еврейское кладбище и рисовать свастики на могильных плитах или посреди дня влететь в Божий храм и исполнить зажигательный канкан перед алтарём. Если вы живёте в Америке, можно разрушать памятники генералам южан, а если в Польше, Литве, Латвии, Украине – памятники генералам Красной армии. Нью-Йоркские бедняки размахивали плакатами с серпом и молотом перед зданием банка на Уолл-Стрит, а московские автомобилисты привязывали к антеннам своих машин презервативы, и это тоже виделось смелым знаком протеста. Ниспровержение видных политиков и звёзд шоу-бизнеса за старинные сексуальные приставания к женщинам превратилось в США в настоящую эпидемию.

Любой религиозный догмат или запрет будет всегда приманивать на себя тучи ниспровергателей, а любой уличный оратор знает, что собрать вокруг себя изрядную толпу легче всего, если вставлять перед каждой фразой призыв «долой!». Театральность и экстравагантность тоже могут иметь успех. Если вы решили выразить свой протест, прибавив собственную мошонку гвоздями к брусчатке на

Красной площади, это увидят миллионы зрителей и владельцев смартфонов. И полуобнажённые красавицы могут не очень заботиться о том, какие именно лозунги писать у себя на голой груди – внимание публики уже гарантировано.

Заманчивость ниспровергательства состоит в том, что оно переносит надежду на победу из «сегодня» в неопределённое будущее. Ленин, как и большинство ниспровергателей Российской монархии, ещё в декабре 1916 года выражал сомнение, что его слушателям доведётся дожить до победной революции. Она мерещилась ему и его последователям как далёкая цель, устремлённость к которой освещала и оправдывала всю повседневную убогость эмигрантского существования.

Далеко не все ниспровергатели вступают в ряды профессиональных подпольщиков-революционеров. Достаточно выражать сочувствие и одобрение актам протеста, оказывать финансовую помощь активистам, восхвалять в литературе смелых революционеров. Толстой призывал не противиться злу насилем, но ниспровергатели-террористы всё равно считали его своим. Ведь это он умел придавать их страстям видимость высоких устремлений, когда писал, что «социализм – это просто воплощение христианских идей в экономической сфере».

Не всегда удаётся понять, что вызвало гнев тех или иных ниспровергателей. Кому мстил Тимоти Маквей, взрывая федеральное здание в Оклахоме? По какому принципу выбирал своих жертв Тед Качинский, рассылавший пакеты с бомбами по почте? Впрочем, в наши гуманные времена самым священным кумиром сделалась человеческая жизнь. Поэтому для серийных убийц настало раздолье. Остаётся только состязаться друг с другом – кто отправит на тот свет больше сограждан. Но даже и жалких полдюжины уже гарантируют тебе место в газетных заголовках и теленовостях по всему миру.

Недавно по Америке прокатилась новая волна протестов: футболисты высшей футбольной лиги при звуках национального гимна перед игрой не замирают с рукой на сердце, как требует традиция, а опускаются на одно колено. Эти-то чем недовольны? Что их зарплаты измеряются только миллионами, а не десятками миллионов долларов? О дискриминации чёрных смешно говорить, когда речь идёт о виде спорта, в котором белые игроки едва составят десять процентов.

Смутная мечта о светлом будущем – важная составляющая любой ниспровергательной схемы. Царствие Божие на земле, страна Утопия, фаланстер Фурье, комфортный пансионат из снов Веры Павловны, бесклассовое общество, всеобщее равенство, оздоровле-

ние расы, победа разума и справедливости, правительство без коррупционеров, новый халифат – всё можно пустить в дело, всё годится. Светлое будущее хорошо тем, что вовсе не обязательно пускаться в рискованные эскапады ради достижения его или в трудную укладку фундамента и возведение стен. Вполне достаточно в уюте своей кухни шёпотом поносить врагов всего светлого и тешится чувством собственной правоты и превосходства над ними.

Хотя выбор объектов для ниспровержения невероятно широк, самым манящим во все века остаётся институт верховной власти. Это она проклятая – всегда она! – преграждает путь к улучшениям жизни. Недаром она так защищает себя, так безжалостно карает за любую критику, даже за призывы хотя бы к косметическим реформам. История любого недемократического государства включает в себя тысячи трагических судеб тех, кто решался на открытый протест, – тюрьмы, ссылки, казни. И ведь, как правило, в большинстве своём эти мученики были самыми прозорливыми гражданами страны. Ибо только дальновзоркий способен вступить в противоборство, не обещающее победу в настоящем, довольствоваться надеждой на победу в далёком будущем.

«Склонитесь первые главой / под сень надёжную законов», – призывал монархов юный Пушкин и был изгнан из столицы.

«Свободы, гения и славы палачи!», – обличал «стоящих у трона» Лермонтов и был отправлен на гибельный Кавказский фронт.

Достоевский всего лишь принял участие в политико-философских беседах, и его приговорили за это к расстрелу.

Но как только Россия попыталась в 1861 году откликнуться на веянья века и ступить на путь либерализации, ниспровергатели воспользовались этим и перешли от слов к пистолетам, кинжалам, бомбам. А в сфере теоретической на первое место вышли нигилисты, анархисты, атеисты. И конечно, громче всех звучал голос Льва Толстого, призывавшего ниспровергать всех монархов, живых и мёртвых, всех министров, судей и генералов, всех новомодных писателей, а заодно Шекспира, попов и всю православную церковь.

Если ниспровергательный азарт найдёт объект, способный объединить миллионы, в стране происходит революция. Чаще всего она вынесет на вершину власти самого страстного и заслуженного ниспровергателя, который на собственном опыте знает, как опасны протестующие бунтари и умеет затыкать им рты. Цензура, слежка, аресты, высылки, казни обрушатся на тех, кто не сумеет вовремя подавить свою страсть к ниспровержению. Остальным будет разрешено утолять её раскулачиванием, погромами и грабежом еврейских магазинов, расклейкой дадзыбао, борьбой с вредителями и безродными космополитами, с правыми уклонистами, с валютчиками и

даже с воробьями, клюющими зёрна на полях. И конечно – словесным ниспровержением лидеров других стран, этих прислужников капитала, разжигателей войны, душителей свободы. В таких условиях разве что отчаянный Мандельштам решится «припомнить кремлёвского горца», но безотказно будет отправлен за это на гибель в Гулаге. (ПФ-113)

Ну, а что произойдёт, если народ сумеет избежать опасности диктатуры и действительно выстроит прочную демократическую постройку? На чём будут утолять страсть к ниспровержению граждане свободной республики? О, они получают бескрайние возможности утоления её ниспровергая друг друга. Повседневная политическая борьба в демократических странах, дебаты в прессе и на митингах, изобретательные поношения политических оппонентов, поиски «скелетов в шкафу», «дохлых кисок» и прочего компромата на кандидатов противной партии заполняют жизнь правящей элиты и, в меньшей степени, всего электората.

Опасность, однако, состоит в том, что, как и другие варианты жажды самоутверждения, страсть к ниспровержению ненасытима. Постепенно она размывает правила политического противоборства, делает разрешёнными приёмы и методы, которые раньше считались недопустимыми. Во времена правления Франклина Рузвельта пресса считала недостойным выносить на свет детали его личной жизни. Читатели газет долгое время ничего не знали о романе президента с Люси Мерсер. Пятьдесят лет спустя сексуальные эскапады президента Клинтона обсасывались всеми газетами, журналами и телевизионными каналами вплоть до таких деталей как пятна спермы на голубом платье его возлюбленной, Моника Левински.

Конец 20-го и начало 21-го века оказались золотой порой для тех ниспровергателей, которые обосновались в юридической сфере. Нет такого поступка или такого стечения обстоятельств, которое ловкий юрист не смог бы представить как злонамеренное нарушение закона, совершённое политиком в корыстных целях. Судебным преследованием грозили Курту Вальдхайму в Австрии, Никсону, Рейгану и Клинтону в США, Берлускони в Италии, Жаку Шираку и Николя Саркози во Франции, Кристине Киришнер в Аргентине, Дилме Руссефф в Бразилии, Михаилу Саакашвили в Грузии, Кристиану Вульффу в Германии, Януковичу и Порошенко в Украине, Нетаньяху в Израиле. За решёткой оказались Беназир Бхутто в Пакистане, Юлия Тимошенко в Украине, Моше Кацав и Эхуд Ольмерт в Израиле, Хосни Мубарак и Мухаммед Мурси в Египте. Один за другим попадали под суд бывшие правители Киргизии, Узбекистана, Армении. Но рекордсменами стали юристы-ниспровергатели Южной Кореи: им удалось посадить на скамью подсудимых одного за

другим семерых правителей страны или, по крайней мере, их близких родственников. (ПФ-114)

Разгул ниспровергателей в прессе и юстиции крайне затрудняет выбор политической карьеры для человека, дорожающего своей репутацией. Кто может решиться ступить на этот путь, зная, что не только ты сам попадёшь под безжалостный микроскоп опытных очернителей, но и все твои близкие и родные окажутся под ударом? Нужна была безоглядность Дональда Трампа, чтобы добровольно сунуться в это осиное гнездо. Неизвестно, долго ли он усидит в президентском кресле. Но уже десятки людей, согласившихся участвовать в работе его правительства, были облиты грязью и вынуждены уйти со своих постов.

В любом народе существует некое дальнорукое меньшинство, способное смотреть в будущее, планировать защиту от грядущих опасностей, вырабатывать разумные законы. Ему всегда противостоит близорукое большинство неспособное видеть далеко вперёд, интересующееся только злобой дня, сиюминутными заботами. Между близорукими и дальнорукими всегда протекает скрытое противоборство, тлеет враждебность, бурлит взаимонепонимание. Дальнорукие призывают удвоить трудовые усилия или отказаться от каких-то свобод сегодня, чтобы завтра пожать золотые плоды реформ. Близорукое большинство не верит в эти прогнозы, отказывается приносить необходимые жертвы.

Так как страсть ниспровержения готова удовлетворяться победой в далёком умозрительном будущем, ясно, что она будет сильнее гореть в душах дальноруких. Это они способны устремляться к утопиям, к миражам идеальных форм человеческого общежития, не обременяя себя вопросом, выполнимы эти мечты или нет. Поэтому-то во все века и у всех народов дальнорукие – главная будирующая сила всякого ниспровергательного движения.

Дальнорукие ниспровергатели тысячи раз демонстрировали жертвенную готовность идти на муки и смерть ради достижения высоких целей. И благодарные потомки впоследствии награждали многих из них почётом, памятниками, музеями, называли их именами улицы и корабли. Настоящий ниспровергатель готов идти в тюрьму, даже погибнуть. Если что-то и может испугать его, это будет скорее вопрос: «А что ты будешь делать, когда победишь?».

Вопрос этот таит множество скрытых ям, интеллектуальных ловушек, засасывающих логических мальстремов. Дальнорукый подсознательно предвидит, что придётся признать неизбежность и необходимость иерархической пирамиды власти в государстве. Чтобы постройка не рухнула, большинство населения должно признавать власть и подчиняться её приказам. Значит придётся вглядываться в смутные чаяния, верования и порывы страстей близорукого

большинства, которому не скажешь «дойди!» – другого ведь нет. (ПФ-115-16)

Споры о том, с чем готово смириться большинство, начнут раскалывать единокровные бывших соратников по ниспровержению, разрушать их былую солидарность. Даже у большевиков ушло больше десяти лет с конца гражданской войны на то, чтобы покончить с этими спорами и вновь объединиться – теперь уже под властью всемогущего диктатора.

Русские эмигранты первых двух волн (1920-е и 1940-е) с интересом расспрашивали эмигрантов третьей волны (1970-е) об экономической структуре СССР, о настроениях в народе, читали и печатали их книги. Но когда те, в свою очередь, пытались расспрашивать их о том, как им видится будущая Россия, ответы были расплывчатыми, противоречивыми. «Да что тут рассусоливать! Сейчас главное – скинуть большевиков. А там что-нибудь устроится», говорили они. Ниспровержение оставалось их главным объединяющим лозунгом, паролем, лучом света в сумрак грядущего.

Революция 1991 года, скинувшая большевиков, принесла россиянам невероятное расширение свобод. Могли ли мы, живя в СССР, мечтать, чтобы настали времена, когда нам будет разрешено беспрепятственно путешествовать по всему свету, заводить свои предприятия, читать и писать любые книги, смотреть любые фильмы, создавать торговые и артистические сообщества, даже формировать политические партии. Но сегодняшние дальновзоркие, даже хорошо помнящие советское прошлое, не устают поносить имеющийся аппарат управления страной и жаловаться на нехватку свобод.

Если спросить «каких же именно свобод вам не хватает?», посыпятся ответы: свободы собраний, демонстраций, печати, критики власть имущих и так далее. Дальновзоркий никогда не признает, что все его претензии можно свести к одному: не хватает свободы ниспровергать. А дальше покатится перечень всех прискорбных событий и явлений в стране, всех проявлений тёмных человеческих пороков, вина за которые будет безотказно сваливаться на Кремлёвских заправил. Совсем, как у Льва Толстого: ему рассказывают, что старик в соседней деревне изнасиловал внучку, он плачет и восклицает «До чего попы довели народ!».

Думается, пришла пора в изучении человеческих страстей выделить «жажду ниспровержения» в отдельную категорию рядом с жадной доминирования, стяжательством, тщеславием, упрямством, властолюбием. В русской литературе эта страсть отражена не только в героических образах, но и в персонажах почти карикатурных. Репетилов и его «английский клуб» у Грибоедова, Пётр Верховенский в «Бесах» у Достоевского, «пикейные жилеты» в романе

Ильфа и Петрова. Пастернак отчеканил в поэме «Спекторский»: «Он был мятежник. То есть деспот».

Ниспровержение привлекательно тем, что выглядит абсолютно бескорыстным. Но если допустить, что человек извлекает из него моральное удовлетворение, оно сразу опустится на уровень других вполне эгоистических влечений. Его тогда будет позволительно сравнить даже с эротическим вожделением. И то, и другое живёт в человеке неистребимо, различны лишь проявления. Эротизм может стать основой глубокой и нежной любви, фундаментом семейного очага. Жажда ниспровержения – помочь в победе над жестоким тираном. Но если судьба человека не дала ему найти партнёра для любовных отношений, он может утолять вожделение мастурбацией или любовью за деньги. Если с жестоким тираном бороться слишком опасно, можно ниспровергать его шёпотом или хотя бы в воображении – это будет по сути актом политической мастурбации. В пределе, безудержный эротизм может толкнуть на изнасилование, безудержная жажда ниспровержения – на политическое убийство. (ПФ-117)

В истории разных стран случались периоды, когда ниспровергательство становилось модным, а отказ от него карался презрением и осуждением. На студенческих кампусах сегодняшней Америки царит настоящий террор против профессоров, пытающихся уклониться от этой «священной обязанности», не участвовать в очередной кампании ниспровержения. То же самое в культурной среде современной России. Выразить уважение к правителям страны и признать важность и необходимость их работы будет объявлено либо трусостью, либо подхалимажем. Попробуйте сказать слово в защиту политики Кремля и ждите, что бывшие друзья порвут с вами отношения, перестанут отвечать на звонки и письма, объявят «нерукопожатным».

Дальнозоркий ниспровергатель, как правило, уверен, что им движет сочувствие народу, то есть близорукому большинству, желание улучшить его положение. Он воображает, что большинство так же жаждет ниспровергать, как и он, и находит этому множество подтверждений. Он категорически отказывается признать, что в народе сильнее кипит жажда сплочения. А уж если призывать его к ниспровержению, он скорее пойдёт ниспровергать дальнозоркого умника, чванящегося своей образованностью, захватившего все верхние этажи государственной постройки. Именно в порыве «свергать господ» находили опору все знаменитые тираны.

Массовый успех многих знаменитых книг пристокает не столько из их достоинств, сколько из заложенного в них заряда ниспровержения. Таковы «Что есть собственность?» Прудона, «Капитал» Маркса, «Что делать?» Чернышевского, «Зияющие высоты»

Зиновьева и множество других. А недавно к этой галерее присоединилась книга израильского мыслителя Юваля Харари «Sapiens. Краткая история человечества».¹ Английскому изданию этой книги предпосланы три страницы восторженных отзывов всех главных журналов Англии и Америки.

Во многих пунктах профессор Харари следует примеру знаменитых ниспровергателей прошлого.

Вслед за Руссо он создаёт образ счастливого беспечного дикаря, жившего охотой и сбором ягод и ракушек до того рокового момента, когда люди ступили на путь земледелия. (Стр. 77)

Вслед за Пруденом объявляет аморальной саму идею создания государства, приравнивает сбор налогов к гангстерскому рэкету, а разделение людей на управляющих и управляемых – злонамеренной узурпацией, чреватой для всех управляемых муками неравенства. (Стр. 358)

Вслед за Гегелем отбрасывает все религиозные искания человечества, клеймит их «промыванием мозгов», проводимым в корыстных целях правящей элитой, тормозящим победу лозунга «всё существующее – разумно». (Стр. 213)

Вслед за Марксом интерпретирует процесс распространения цивилизации по земному шару как «империализм, колониализм, эксплуатацию покорённых народов» (стр. 193)

Вслед за Львом Толстым призывает науку заняться, наконец, изучением самого важного вопроса: что делает всех людей счастливыми? (Стр. 377)

Если достижение счастья всеми людьми мы объявим целью человеческой цивилизации, то придётся признать, что цель эта достигнута не была, и, значит, ход цивилизации оказался ошибочным. «Человечеству нечем гордиться», объявляет автор в эпилоге (стр. 415). Низвергает всю цивилизацию – какой восторг!

В романе «Война и мир» Толстой вкладывает в уста князя Андрея такую сентенцию: «Я знаю только два зла на свете: болезни и угрызения совести. А счастье это просто отсутствие обоих зол». Профессору Харари, как и Толстому, не довелось испытать муки голода, поэтому ему легко обходить молчанием ту проблему, которая была главной для миллионов «счастливых охотников» до перехода к земледелию. Им было не до поисков счастья. Как не умереть с голода и как уберечься от копыя, палицы, ножа иноплеменика – вот что оставалось первоочередной задачей.

Руссо, сочиняя своего «естественного человека», имел слишком мало сведений о жизни диких племён. У профессора Харари такого оправдания нет. За два прошедших века существование дикарей и индейцев было изучено и описано сотнями и тысячами путешественников, миссионеров, торговцев,

имевших с ними прямой контакт. Те племена, которые начали освоение земледелия, имели достаточно продовольствия, чтобы даже одаривать им белых пришельцев. Те, которые оставались на стадии охоты, могли наброситься на внутренности оленя, выброшенные на привале американскими исследователями Льюисом и Кларком, и начать тут же жадно пожирать их сырыми.² Но занятия земледелием лишали племя мобильности, делали его уязвимым для внешних нападений, поэтому его шансы на выживание резко уменьшались.

Какие же силы увели людей на «ложный» путь развития земледелия? Профессор Харари считает главным виновником ту лёгкость, с которой мы поддаёмся всевозможным иллюзиям и обольщениям, устремляемся в погоню за миражами. Всё, в чём разные индивидуумы находят смысл жизни, оборачивается иллюзией. «Учёный, который объявляет, что его жизнь (политкорректный автор пишет «её жизнь») осмыслена, потому что он-она увеличивает сумму человеческих знаний, солдат, находящийся смысл в защите отечества, предприниматель, создающий новую компанию – все они так же гонятся за миражами, как люди Средневековья, которые находили смысл в чтении Священного писания, участии в крестовых походах, строительстве нового собора». (стр. 391-392)

В 1776 году до Р.Х. в древнеавиланском царстве был обнаружен свод законов царя Хаммурапи, и дальше вавилоняне подчинялись этой иллюзии сотни лет. А в году 1776 после Р.Х. мир был заморожен другой иллюзией – Американской Декларацией независимости – и теперь пытается следовать её параграфам и постулатам. (Стр. 105)

Автор книги «Сапиенс» абсолютно уверен, что доисторические люди жили лучше, чем земледельцы. Они проводили время в более лёгких, увлекательных и разнообразных занятиях. Земледелец же должен трудиться над своими посевами с утра до вечера. Да, сельскохозяйственная революция привела к суммарному увеличению производимого продовольствия, но это вызвало перенаселённость и, как следствие, – ухудшение питания для большинства людей. Она явилась самым большим просчётом в человеческой истории. (стр. 79)

Призывать дальновзорких уменьшить ниспровергательный пыл будет так же тщетно, как призвать человека не вождельть. Церковь зовёт верующего к этому тысячу лет – он остаётся глух. Единственное, что ниспровергатель мог бы услышать: призыв взглядеться в чувства и страсти большинства, которому он жаждет помочь. «Страсть большинства к сплочению в единой нации, единой церкви, в единой армии, в единой политической постройке так же глубинна

и неодолима, как и твоя страсть к ниспровержению. Если ты будешь пренебрегать ею, большинство будет видеть в тебе врага, покушающегося на самое для него дорогое. Рано или поздно на политическую арену выпрыгнет очередной мятежник-деспот, который догадается сплотить большинство в ниспровержении дальнорюких, отдаст вас на избиение новым нацистам, фашистам, сталинистам, хунвейбинам, красным кхмерам, талибам».

Именно это пытались донести до российских ниспровергателей накануне революции 1917 года русские мыслители, собравшиеся в сборнике «Вехи» (1909 год). Их не услышали тогда, их не хотят вспоминать сегодня. И безотказный призыв «долой!» только набирает силу. Когда этот лозунг выбирает своим объектом некую цель, позволяющую дальнорюким сплотиться с близорюкими, на улицы и площади городов выплёскиваются бурные демонстрации. Сегодня в Париже они будут одеты в жёлтые жилеты, в Киеве – поднимут плакаты с портретом Степана Бандеры, в Алжире – зелёные знамёна, в Венесуэле – красные, в Гонконге – американские звёзды и полосы. Однако, для того чтобы эти шествия разгорелись в полномасштабную революцию, необходимо наличие ядра, хотя бы небольшой группы людей особого склада, о которых разговор пойдёт в следующей главе.

Глава 24. О КАСТЕ ВОИНОВ

Есть черта человеческого характера, которая во всех культурах и на всех ступенях цивилизации вызывала и вызывает почтение или даже восхищение: абсолютное бесстрашие перед лицом физической опасности.

Конечно, есть обстоятельства, в которых любой человек может неожиданно поразить нас, смело кидаясь в смертельную схватку на защиту своей страны, веры, семьи, чести. Однако в любом народе есть меньшинство, не просто обладающее смелостью, но постоянно рвущееся в бой. Для таких отсутствие опасности – как нехватка кислорода. Именно такие выберут пойти служить в армию или полицию, или пополнят ряды гангстеров и разбойников, или помчатся добровольцами на какую-нибудь далёкую войну. Именно такие во все века и у всех народов формировали особую *касту воинов*.

Сотни романов и исторических исследований рисуют нам подвиги преторианцев Древнего Рима, немецких сов-рыцарей, турецких янычар, французских мушкетёров, польских шляхтичей, украинских гайдамаков, российских гвардейцев и казаков, японских самураев. Иногда прирождённый воин сам брался за перо, и тогда мы получали возможность заглянуть в его внутренний мир через душевную призму Юлия Цезаря, Наполеона, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Эриха Ремарка, Эрнста Хемингуэя, Уинстона Черчилля. (ПФ-145)

В Индии каста воинов называлась *кшатрии*. Считалось, что им должны быть свойственны здоровое честолюбие, правдивость, благочестие и благонравие, хороший и развитый ум, умелое обращение с оружием, сила, выносливость и, конечно, смелость. В теории, именно эти качества и должны делать кшатриев достойными статуса правителя. Будем пользоваться словом *кшатрии* для обозначения касты воинов, чтобы избежать лингвистической, этнической, географической, исторической путаницы в исследовании данного феномена.

Попытки формировать касту кшатриев по принципу сословного наследования очень быстро приводили к печальным результатам. Почему-то кшатрии отказывались рождаться только у кшатриев, и военное сословие хирело. Монархи заметили это и стали искать обходные пути. Уже в 12-ом веке испанский король Альфонс Седьмой выпустил закон, «разрешающий простым испанцам вступать в рыцарское сословие, если они проявляли свойство, требуемое от смелого воина».¹ Турецкие султаны пополняли корпус янычар, похищая младенцев у воинственных горных народов своей империи и воспитывая их в специальных школах. Пётр Первый увидел, на-

сколько ослаб воинский дух бояр и детей боярских, и учредил «Табель о рангах», которая открывала путь к офицерским чинам смелой молодёжи из престонародья.

На племенной стадии существования человеческих сообществ быть воином считалось священной обязанностью каждого мужчины в возрасте от 15 до 60 лет. У скифов тот, кто за целый год не убил ни одного врага, окружался позором, его обносили почётной чашей на пирах. У американских индейцев, чтобы завоевать какой-то авторитет, право жениться, нужно было отличиться «на тропе войны», украсить себя скальпом иноплеменника. Норманнские скальды прославляли в своих песнопениях только военные подвиги. Племя, в котором воинский дух ослабевал, обречено было погибнуть в безжалостной борьбе со свирепыми соседями, как погибли, например, гуроны, истреблённые почти до последнего в долгой войне с шестью племенами ирокезов, сумевшими объединиться. (ПФ-146)

На примерах пяти самых грозных нашествий варварских племён, рассмотренных выше в Главе 22, мы можем убедиться, что все рациональные истолкования их причин оказываются несостоятельными. Это были вулканические извержения энергии осуществления свободы, в которые кшатриям удалось вовлечь всех членов своего племени, а также увлечь в поход соседние племена.

Можно смело сказать, что во всех рассматриваемых нашествиях от предводителя зависело лишь направление потока в тот или иной момент, но не сам факт движения и не огромная сила его. И факт, и сила нашествия являлись результатом высвобождения огромной энергии осуществления свободы, накопленной в процессе напряженной межплеменной борьбы. Жизнь каждого члена Мы, наполняемая все возрастающим напряжением и азартом борьбы, – вот что следует понимать под **накоплением энергии осуществления свободы**. Внезапное прекращение борьбы (неважно, по какой причине), чреватое для каждого члена Мы страданием и побуждающее его искать новых объектов для нападения и новых волей для преодоления, – вот что такое **высвобождение энергии осуществления**. Уровень энергии осуществления, необходимый для бытия индивидуальной воли, оказывается таким высоким, что даже с побежденными ничего нельзя было поделаться – они не годились для роли поработанных. Их можно было либо поголовно перебить (что часто и делалось) либо присоединить к собственному войску и разрешить продолжать войну.

Свирепые, неукротимые, бесстрашные, эти воины, жившие только войной, не имели себе равных на поле боя. Кого могли противопоставить им цивилизованные государства тех времен, оказывавшиеся жертвой их удара? Лишь собственных жителей, то есть

членов оседло-государственного Мы, то есть воли Я, зажатые множеством запретов со всех сторон, и поэтому привыкшие довольствоваться гораздо более низкими уровнями энергии осуществления свободы. Даже собранные в огромные, хорошо оснащенные армии эти люди не могли противостоять натиску варваров. Варварское нашествие терпело поражение чаще всего там, где оно сталкивалось с другим таким же потоком. Так, серьезное сопротивление норманнам смогли оказать только арабы, а гунны были разбиты наступающими готами. (ПМ-188-89)

Наращение военной агрессивности государств после внутренних раздоров было и без метафизики известно политикам нового времени. Они имели возможность заметить, что если государство раздирается междоусобицами или враждой партий, оно не представляет серьезной опасности для соседей, но стоит только кончиться внутренним раздором, как высвободившиеся силы начинают скапливаться на границах. «Французы, – писал Монтескье, – никогда не были более грозны для других народов, как после раздоров бургонского и орлеанского домов, после смут при Лиге, после гражданских войн при малолетстве Людовика XIII и Людовика XIV. Англия никогда не пользовалась таким уважением, как при Кромвеле после войн, происходивших при Долгом парламенте. Немцы получили преобладание над турками только после германских гражданских войн».²

Переход в государственную стадию невероятно усложнял задачу обороны. Разделение населения на четыре разряда – труженик, торговец, воин, священнослужитель – таило множество опасностей. Как создать воина, который был бы грозен для врагов, но не представлял опасности для собственных сограждан? И если есть такой особый психологический тип – кшатрии, что они будут делать в мирное время? Трудиться наравне с остальными? Но труд требует послушания и смирения, а кому нужен послушный и смиренный воин?

Человеческая цивилизация началась с подарка Прометея, однако подаренный им огонь нередко вырывался из полезных печей и уничтожал здания, посева, леса, корабли. Государственная цивилизация началась с разделения функций на четыре слоя, она находится выше племенной, и армия – третья функция – составляет её необходимую часть. Но пожары армейских бунтов заполняют историю любого народа. Что же с этим делать? Мечты пацифистов перековать все мечи на орала можно уподобить призывам отказаться от пользования огнём из-за страха перед пожарами. Кшатрии рождаются в любом поколении и начинают жадно искать утешения своим воинственным страстям. Во времена мира правителям государств порой

приходится искать какой-нибудь предохранительный клапан для выпуска их энергии.

Так, в Древнем Новгороде посадники смотрели сквозь пальцы на «подвиги» молодых людей, которые собирались в шайки «ушкуйников» и отправлялись на своих стругах по рекам грабить русские города в Задонщине и Приволжье. Швейцарцам, шотландцам, гессенцам разрешалось наниматься на службу в армии других государств. Елизавета Английская не возражала против того, чтобы её адмирал Фрэнсис Дрейк и другие флибустьеры и приватиры вербовали себе команды для пиратских рейдов в британских портах. Французский король Луи-Филипп в 1831 году создал Иностранный легион, который формировался из иностранцев, оказавшихся во Франции, и французов, имевших проблемы с законом, и действовал только за пределами страны. Кастро, став диктатором, рассылал отряды своих трудно управляемых «барбудос» в Африку и Южную Америку. (ПФ-147-49)

В наше время правители демократических государств не спешат выпускать законы, которые карали бы граждан за участие в чужих войнах, что позволяет им устремляться в окопы гражданских войн на Балканах, в Украине, в Афганистане, Дафуре, Донбассе, Сирии, Ливии, Азербайджане, Йемене.

Кшатрий, не нашедший себе чисто военного применения, скорее всего ударится в разбой. В Китае они становились хунхузами, в Италии – мафиози, в Советской России – «ворами в законе», во Франции вступали в шайки «рифифи». Влекут их и группировки политических экстремистов: «белые супрематисты», «чёрные пантеры», «красные бригады», японская секта «Аум Синрикэ». Кшатрий, оказавшийся неспособным кооперироваться с другими, кончит тем, что возьмёт винтовку и в одиночку учинит массовый расстрел в ближайшей школе или супермаркете.

Социологи и психологи склонны приписывать разгул преступности в стране росту безработицы и недостаткам образования. Но это – обычная иллюзия благомыслящего рационалиста. Никакими силами вы не сможете заставить прирождённого кшатрия честно трудиться. Ведь это такая скука!

В пожаре любого бунта или революции кшатрии играют катализирующую роль. Они – как небольшой пучок растопки необходимой, чтобы превратить сыроватые дрова народной массы в пылающий костёр. То же самое можно сказать и о внутренних конфликтах, польхающих или тлеющих сегодня в странах Азии, Африки, Южной Америки. Лозунги, под которыми выступают Хамас, талибы, Аль-Каида, Боко Харам, «Сияющий путь», сандинисты, ФАРК – это не причины, толкающие кшатриев на кровопролитную борьбу, а гораздо чаще лишь предлог. Никакими экономическими подачками,

никакими «возвратами территорий», «восстановлением социальной справедливости» вы не сможете умиротворить прирождённого кшатрия и повернуть его на путь честного труженика. Тем более, что их лидеры, заговорившие о мире, рискуют быть убитыми собственными воинами, как убили в Египте Анвара Садата или в Израиле – Ицхака Рабина.

Ну, а как же решают эту проблему развитые индустриальные страны?

В них, мне кажется, установился некий баланс, распределивший кшатриев между преступным миром и правоохранительными органами. Гангстеры и полицейские ведут между собой перманентную войну, что поглощает их воинственную энергию и позволяет мирным людям существовать в относительной безопасности. США уже обогнали все остальные страны по числу заключённых в тюрьмах, да и по числу полицейских и тюремных надзирателей, думаю, держат одно из первых мест. Подросток-кшатрий сначала пробует свои силы, вступая в уличную банду, а годам к двадцати делает свой выбор, куда ему податься: в военный спецназ, полицию, к гангстерам, к террористам или рвануть в дальние страны, охваченные военной смутой.

Описывая ситуацию в Европе 1930-х годов, Фридрих Хайек писал: «В Германии пропагандисты обеих партий знали, насколько легко обратить молодого коммуниста в нациста, и наоборот. Немало английских университетских преподавателей видели американских и английских студентов, которые, возвращаясь с европейского континента, не знали точно, к кому себя причислить – к коммунистам или к нацистам, но были твёрдо уверены в одном: в своей ненависти к либеральной западной цивилизации».³ И кшатрии имеют основания считать, что западная цивилизация не отдаёт им должного и пытается всячески ограничивать.

В течение веков у многих народов кшатрии бережно сохраняли и соблюдали традиции дуэлей. Никакие запреты не действовали, никакие монаршьи указы не могли искоренить этот обычай. В империях и королевствах царил строгая иерархия титулов и рангов, но одновременно внутри существовала «свободная республика» кшатриев, республика чести, в которой шпага и пистолет уравнивали виконта с графом, поручика с полковником. Недаром простолудин Муссолини с таким азартом ввязывался в дуэли – они были его «пропуском» в клан кшатриев.

Если предохранительный клапан не срабатывал или отсутствовал, кшатрии могли наброситься на правителей государства. Преторианцы свергали римских императоров, янычары – турецких султанов, русские стрельцы и гвардейцы – российских монархов, польские шляхтичи – ими же избранных королей, французские дворяне

затевали в 17-ом веке военную «фронду» против династии Бурбонов.

Но и правители порой могли нанести опережающий удар по собственным кшатриям. В начале 14-го века французский король Филипп Фальшивомонетчик учинил страшный погром могущественного рыцарского ордена Тамплиеров с пытками, публичными судами, казнями, конфискациями. В веке 16-ом то же самое проделал Иван Грозный со своими боярами и князьями. В 1826 году турецкий султан Мехмед Второй обрушил регулярную армию и артиллерию на корпус янычар, выразивший недовольство военными реформами владыки. В этом же ряду стоит беспрецедентное уничтожение вершухи Красной армии, проделанное Сталиным в 1937-38 годах.

Черты кшатрия проступают в молодом человеке довольно рано. Александр Македонский, император Октавиан, Карл Двенадцатый шведский, Пётр Первый, Наполеон проявили свою невероятную воинственность совсем молодыми и были вознесены армией на пост предводителя.

Переманивание кшатриев под свои знамёна – дело не простое. Успеха в нём не добьёшься одними речами, статьями, посулами. Необходимо продемонстрировать отчаянную решимость, чтобы показать свою способность быть атаманом, лидером, вождём. Именно это проделал Сталин ограблением Тбилисского банка, Муссолини – стрельбой в Форли, Гитлер – мюнхенским путчем, Кастро – атакой на казармы Монкада. И их репутация в глазах потенциальных кшатриев подскочила необычайно, геройский ореол манил к ним новых и новых сторонников, как свет маяка.

Важно помнить, что в середине 1920-х было изобретено и вошло в обиход оружие, которого не было ни у немецкого Томаса Мюнцера, ни у русского Пугачёва, ни у французского Дантона, ни у мексиканского Панчо Вилья, ни у украинского Махно, ни у других знаменитых разбойничьих атаманов прошлого. Когда радиовещание и кинохроника стали доступны во всех странах, любой новый главарь получал возможность кликать к себе сотни тысяч. А сегодня Аль-Каида, талибы, ИГИЛ, Боко Харам имеют к своим услугам уже и интернет. (ПФ-151-52)

Кшатриев, втянувшихся в вооружённую борьбу, невозможно замирить никакими рациональными аргументами или дипломатическими уступками. Английский писатель Рой Керридж так охарактеризовал особенности ирландского национализма: «У них с незапамятных времён существовала каста воинов, которая сегодня называется ИРА. Их нельзя назвать патриотами, потому что в прошлом они были готовы призывать на роль правителей испанцев, французов, немцев – лишь бы навредить Англии. Мы, англичане, останемся навсегда врагами в глазах касты воинов, что бы мы ни делали».

История терроризма, развязанного ИРА в Ольстере в годы после Второй мировой войны, подтверждает это печальное наблюдение. Казалось бы, что стоит радикалам-католикам просто переехать из ненавистного протестантского Ольстера в соседнюю независимую католическую Ирландию? Нет, они предпочитают оставаться там, убивать протестантов и провоцировать их на ответные убийства.

Одной арифметики недостаточно, чтобы оценить военную силу сплочённой группы кшатриев. Мы верим, что семеро самураев Куросавы или «Великолепная семёрка» Джона Стерджеса смогут превратить сотню мирных крестьян в военное подразделение, способное противостоять профессиональным бандитам. И германский Генштаб весной 1917 года поверил, что горстка большевиков, которой он устроил проезд из Швейцарии в Российскую империю, сумеют год спустя парализовать весь восточный фронт. А 11 сентября 2001 года 19 арабских кшатриев сумели уничтожить три тысячи своих заклятых врагов, не ждавших нападения. В индустриальную эру даже одиночка вроде Тимоти Маквея в Оклахоме или Андерса Брейвика в Осло могут устроить побоище с десятками и сотнями жертв.

Выше было сказано, что племенная структура человеческих обществ подразумевает священным долгом каждого члена племени быть воином. Режимы, созданные в своих странах Гитлером и Муссолини, демонстрировали многими своими чертами возврат к примитивной племенной ментальности. И прежде всего – в культе воинского долга, в раздувании военного энтузиазма, в прославлении победоносных вождей и павших героев. В таком кругозоре иноплеменник – всегда скрытый или явный враг, подлежащий уничтожению. Неважно, что одни объявляли враждебным племенем евреев, другие – эксплуататоров-буржуев. В мусульманском мире враждебным племенем считаются все неверные. Важно то, что в странах, вернувшихся к племенному менталитету, прирождённым кшатриям гарантирован почёт, и поэтому они будут страстно защищать эти режимы.

В США этого ещё не произошло, но здесь культ кшатриев раздувается зрелищной индустрией. Кроме сотен художественных фильмов про гангстеров, убийц, «терминаторов», по крайней мере четыре телевизионных канала 24 часа в сутки демонстрируют полу-документальные часовые filmy про «мокрые дела», про суды над убийцами, про их попытки избежать ареста или убежать из тюрьмы. Главные герои канала «Американская история» – либо военные, либо гангстеры. Очередная стрельба с множеством жертв будет муссироваться в новостях много дней, пока её не вытеснит какое-нибудь новое крупное несчастье. Любой подросток знает, что слава –

вот она, рядом, только протяни руку и нажимай на курок. А расплата? Несколько лет блаженного безделья, в тёплой и светлой комнате, отличное питание, спортивные площадки, бесплатное медицинское обслуживание, даже библиотека и доступ к высшему образованию.

Во время Второй мировой войны союзы между государствами заключались и распадалась под действием многих явных и скрытых причин. Но и глубинное чувство солидарности и взаимопонимания между кшатриями сыграло свою роль в том, что объединиться сумели те страны, в которых они захватили власть: Германия, Италия и Япония. А союз между Гитлером и Сталиным распался – в значительной мере потому, что в России кшатрии были изгнаны, расстреляны, отправлены в лагеря. (ПФ-152-53)

Если позволить себе закончить эту главу какой-нибудь политической рекомендацией, она должна звучать примерно так:

В каждом народе существует некое воинственное меньшинство, которое может влиять на политическое и военное состояние государства с силой непропорциональной его численности. Захват этим меньшинством доминирующего положения в стране превратит её в опасного и непредсказуемого агрессора. Однако попытки подавления касты кшатриев сильно ослабят обороноспособность нации.

Глава 25. МЕТАФИЗИКА ВОЙНЫ

Описывая вторжение Наполеона в Россию в 1812 году, Лев Толстой не без сарказма перечисляет объяснения, дававшиеся современниками этому гигантскому военному пожару.

«Понятно, что Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии; понятно, что членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона; что принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие; что купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу; что старым солдатам и генералам казалось, что главной причиной войны была необходимость употребить их в дело; легитимистам того времени то, что необходимо было восстановить *les bons principes*, а дипломатам того времени, что все произошло оттого, что союз России и Австрии в 1809 году не был достаточно искусно скрыт от Наполеона и что неловко был написан меморандум за №178. Но для нас — потомков, созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными. Для нас непонятно, чтобы миллионы людей-христиан убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, Александр тверд, политика Англии хитра, а герцог Ольденбургский обижен».¹

Каковы были причины этого страшного события? Каковы вообще причины, производящие войну? Если Толстого и его мыслящих современников этот вопрос мучил несовместимостью кровавой исторической правды с нравственно-религиозным идеалом, то к нам, людям двадцать первого века, вопрос этот приблизился так тесно, что превратился для каждого в вопрос жизни и смерти. Пытаясь представить себе ближайшее будущее планеты, мы замечаем, что нам так же трудно вообразить возможность мировой термоядерной войны (ведь это же чистое безумие!), как и допустить, что ее может не быть, что все эти судорожно заготавливаемые бомбы, ракеты, самолеты так и не будут пущены в дело. Это какая-то новая антиномия сознания (историческая?), причем, настолько мучительная и близко касающаяся каждого, что никому уже не под силу жить без ответа на вопрос о причинах войны — пусть хоть приблизительного, хоть иллюзорного, но дающего хотя бы слабую надежду на преодоление чувства безнадежности.

В 19-м веке наибольшую популярность и авторитет завоевал «ответ купцов», то есть экономическое объяснение сил, движущих всякой войной. И было бы несправедливо думать, будто успех этого истолкования обусловлен лишь его заманчивой однозначностью;

или доступностью его обыденному сознанию, которое втайне знает себя способным забрать силой у своего ближнего любую понравившуюся вещь, и легко понимает, когда действия массы людей ему объясняют по такой простой аналогии; или только в том, что объяснение войн жадной наживы и собственности дает человеку надежду на возможность вечного мира — стоит только упразднить собственность. Нет, марксистско-экономическое истолкование казалось убедительным главным образом потому, что прочие философские учения вообще не брались отвечать на этот вопрос. Философы как бы обходили его стороной, оставляя ответ на суд историков. Но вскоре после Второй мировой войны и последовавших войн между коммунистическими государствами, где купцов не осталось – Вьетнамом и Камбоджей, Вьетнамом и Китаем – марксистское объяснение дало сильную трещину. Начались попытки других истолкований.

Философы пацифистского направления были склонны рассматривать войну как результат заблуждений и невежества. Самый знаменитый из них, Бертран Рассел (1872-1970), за свои активные антивоенные выступления даже был посажен в тюрьму на шесть месяцев в 1918 году. Но и он во время Второй мировой войны должен был признать, что тотальный пацифизм не может гарантировать мир на земле.

Новое поколение послевоенных мыслителей, обременённое страшным опытом всемирного побоища, вглядывалось в феномен войны под разными углами. Большой успех имел труд американского философа Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории».² Будучи последователем Гегеля и Маркса, он тоже видит ход мировой цивилизации как поступательный процесс, стремящийся к логичному завершению. Но если Гегель считал, что этим завершением явилась прусская парламентская монархия, Маркс – что им станет всемирный коммунизм, то Фукуяма верит, что пик развития достигнут в либеральной демократии наших дней и дальше идти некуда. (ФВ-349)

Другой труд, вызвавший большой резонанс, был написан Гарвардским профессором Самуэлем Хантингтоном. Он называется «Схватка цивилизаций». В начале автор уточняет свою интерпретацию термина «цивилизация»: «Это самая широкая форма объединения людей. Деревня, область, этнические группы, нации, вероисповедания имеют свои специфические черты. Культура деревни в Южной Италии может отличаться от культуры в Северной, но обе остаются принадлежащими к итальянской культуре, которая отличает их от культуры германской деревни. Европейские общины, в свою очередь, будут иметь общие черты, которые отличают их от китайских или индусских. Китайская,

индусская, европейская общность не является частью чего-то большего. Они представляют собой цивилизации».³

С необычайной скрупулёзностью Хантингтон исследует военные конфликты, полыхавшие на земном шаре в конце XX века. «Мусульмане и индусы регулярно устраивают побоища на всей территории Индии, которые провоцируются подъёмом националистических движений в обеих религиях... В Малазии и Индонезии мусульмане регулярно бунтуют против китайцев, которые там доминируют в экономике... В южном Таиланде мусульманское меньшинство восстаёт против буддийского правительства, в то время как в Южных Филиппинах такое же меньшинство сражается за независимость от католического государства».⁴

Хантингтон признаёт, что в большинстве военных конфликтов мусульмане выступают в роли зачинщиков. Исламская цивилизация земледельческой эры отличалась от других многими чертами, возведёнными в ранг религиозных догматов и запретов. Мусульманин не имел права искать самоутверждения в финансовой деятельности, в научных исследованиях, в спортивных состязаниях, в свободном поиске невесты, в музыкальных и изобразительных искусствах, в азартных играх. Искать спасения от неизбежной при таких условиях депрессии в алкоголе и наркотиках ему тоже было запрещено. Война оставалась для него единственной возможностью самоутвердиться. Подсчёт газеты «Нью-Йорк Таймс» показал, что из 59 военных конфликтов 1993 года, половина была инспирирована мусульманами.⁵ Сегодня эта традиционная воинственность дошла до такой свирепой экзальтации, что в ряды террористов-смертников рвутся тысячи добровольцев. Но Хантингтон только регистрирует повышение агрессивности, не пытаясь связывать его со спецификой мусульманской религии.

Солидное семисотстраничное исследование природы войны вышло из-под пера израильского исследователя Азара Гата. Он погружается в изучение военных конфликтов далёкого прошлого, в войны между племенами, находившимися на охотничьей и кочевой стадии. Когда перед учёным распахиваются бескрайние пространства мировой истории, ему трудно удержаться от соблазна выбирать из них только эпизоды, подтверждающие его концепцию, и оставлять в тени всё, что её опровергает. Изначальный тезис Гата, который он честно формулирует уже в первой части своей книги: «Война есть часть процесса эволюции точно так же, как борьба за выживание – в животном мире».⁶

Иррациональному не оставлено места в исследовании Гата. Тотальное уничтожение побеждённых китайцев монголами он объясняет их стремлением расширять пространство для пастбищ.

Их наступление на Запад якобы было вызвано мстью за убийство монгольских посланников в Хорезме.⁷ Вспышка национализма в странах Европы в 19-20 веках также объясняется законами эволюции, дающими стабильному существованию лучшие шансы на выживание. «В конечном счёте, решение загадки войны состоит в том, что никакой загадки не существует. Противоборство с применением насилия мы наблюдаем повсюду в природе. Нехватка ресурсов всегда возникает как следствие успешного размножения... Приспосабливаясь к этой реальности, организмы прибегают к кооперации, соперничеству и конфронтации. Законы эволюции управляют стратегией борьбы за выживание».⁸

Видимо, существуют уже или появятся в ближайшее время другие теории, предлагающие иные объяснения феномена войны. Однако нет указаний на то, что ментальность либерально-гуманистической цивилизации, унаследовавшей гегелевскую веру во всеобщность рационального мышления, готова сегодня принять систему взглядов, возлагающую ответственность за войны на самые глубинные иррациональные страсти человеческой души. «Человек добр и разумен, поэтому никто не хочет войны» – этот догмат долго будет оставаться неприкосновенным. На нём держится широко распространённое убеждение в том, что войны затевают монархи, диктаторы, тираны, прорвавшиеся к власти. Отсюда следует вывод: мир на земле воцарится только тогда, когда все страны сделаются республиками. (ФВ-350-51)

Но как совместить это убеждение с анналами истории, в которых мы находим десятки свирепых войн между республиками? А в наши дни? Взять хотя бы недавние военные конфликты между двумя соседствующими республиками – Индией и Пакистаном.

За свою короткую историю эти две республики воевали уже три раза: в 1948, в 1965 и в 1971. Индия каждый раз побеждала. В 1998 году они, одна за другой провели испытания атомной бомбы. Но кроме открытых войн тысячи жизней с обеих сторон каждый год уносят акты террора и антитеррористические операции.

В декабре 2001 года пакистанские террористы атаковали индийский парламент в Дели, в мае 2002 устроили резню женщин и детей на индийской военной базе в Кашмире.⁹ Две миллионные армии, вооружённые термоядерным оружием, замерли друг против друга по обе стороны границы. Такая же ситуация возникла в ноябре 2008 года после нападения десяти пакистанских террористов с моря на деловой центр Бомбея (Мумбаи). Результат: 195 погибших, сотни раненых, сгоревшие отели и деловые конторы.

В своё время Первая мировая война началась из-за того, что Сербия отказалась выдать Австрии террористов, виновных в гибели эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Сегодня Индия требует, чтобы

Пакистан перестал укрывать террористов, совершающих нападения с его территории. Пакистан заявляет, что это не террористы, а геройские борцы против угнетения мусульманского меньшинства в Индии.

Разгул терроризма внутри самого Пакистана не оставляет надежд на стабилизацию в обозримые годы. Даже в те периоды, когда армия брала власть в свои руки, межплеменная и межрелигиозная вражда выплёскивалась на поверхность кровавыми столкновениями. Талибы тоже находят приют в горных районах северо-запада и совершают оттуда атаки на американские войска в Афганистане. Усама бен Ладен много лет скрывался в Пакистане после атак 11-го сентября 2001 года, жил с семьёй в доме неподалёку от военной базы и, по слухам, даже лечился там.

Многими чертами конфликт между Индией и Пакистаном напоминает конфликты между народами, находящимися на разных ступенях цивилизации, описанные выше в Главе 22. Есть много признаков, указывающих на то, что Индия ушла гораздо дальше по дороге, ведущей из земледельческой стадии в индустриальную. Пакистан же по ключевым критериям выглядит безнадежно отсталым.

До сих пор почти половина его населения – неграмотны. В сфере высшего образования доминируют религиозные медресе, их насчитывается около сорока тысяч. Именно там воспитывались кадры для движения талибан (один из возможных переводов слова «талиб» – «студент»), укрепившегося в Афганистане.¹⁰

В юридической сфере древние верования и законы шариата имеют больший вес, чем римское право. Подозреваемого в убийстве могут заставить пройти по раскалённым углям в доказательство своей невиновности (не будет ожогов – значит, не убивал). Брат заподозрил сестру в том, что она вступила в связь с женихом до брака. Он убил обоих, и ему не было предъявлено никаких обвинений, ибо «убийства в защиту чести ненаказуемы».¹¹ Лучший способ избавиться от жены – обвинить её в прелюбодеянии, за что полагается смертная казнь.

Пакистанские интеллектуалы принимали активное участие в антибританском движении, но когда страна обрела независимость, они начали покидать её, ища в Европе и Америке спасения от нищеты и хаоса. Лидеры Пакистана один за другим погибли насильственной смертью: президент Зульфикар Бхутто свергнут военными и казнён в 1979, президент Зия-уль-Хак гибнет в подстроенной авиакатастрофе в 1988, премьер-министр Беназир Бхутто убита террористами в 2007. На президента Мушаррафа, правившего страной с 1999 по 2008, было совершено четыре покушения, он чудом избежал смерти.

Главным инструментом всех политических процессов в Пакистане стал автомат Калашникова. Город Карачи, по слухам, обогнал Бейрут по числу погибших в этнических и криминальных конфликтах, а также по числу погибших и похищенных иностранцев.¹²

Всё содержание данной главы склоняет нас к простой и печальной мысли:

Учреждение республиканского правления не может гарантировать миролюбия государства.

Успешные республики начинали богатеть и увеличивать свою военную мощь, но само наличие военной силы соблазняло их пускать её в дело для решения международных конфликтов. За 70 лет, прошедших с конца Второй мировой войны, американские самолёты и вертолёты наносили бомбовые удары по многим столицам независимых государств: Пхеньян (Северная Корея, 1950-53), Ханой (Северный Вьетнам, 1963-1973), Пном-Пень (Камбоджа, 1969-1973), Сент-Джорджес (Гренада, 1983), Триполи (Ливия, 1986), Панама-сити (Панама, 1989), Могадишо (Сомали, 1993), Белград (Сербия, 1999), Кабул (Афганистан, 2002), Багдад (Ирак, 2003), снова Триполи (2011). (ФВ-151-52)

Мы привыкли смотреть на войну как на трудное и опасное предприятие, от которого следует уклоняться до последней возможности, а уж если уклониться невозможно, то нужно спешить окончить его, как только поставленные цели были достигнуты. Однако на библиотечных полках мы найдём тысячи и десятки тысяч томов, в которых хранятся признания людей, находивших утешение томящемуся духу только в войне. Тот же Толстой, при всём его гуманизме и христианстве, описывая стихию боя, многократно использует слово «наслаждение». Николай Ростов, капитан Тушин, князь Андрей – все они предстают перед нами воинами, которым хорошо знаком горячий азарт смертельной схватки. Чтобы сохранить объективность, мы вынуждены будем допустить, что на протяжении мировой истории снова и снова народы впадали и продолжают впадать в состояние пассионарности (термин Льва Гумилёва), при котором война становится самоцелью, открывает им возможность утолять три главные страсти человека: жажду самоутверждения, жажду сплочения, жажду бессмертия.

Кочевые и охотничьи племена многократно демонстрировали иррациональную ненависть к земледельцам. Такая же иррациональная ненависть отставших к обогнавшим сегодня опалает индустриальный мир в разных точках планеты. Каждый успешный теракт вызывает ликование на улицах мусульманских городов. Никакие усилия миротворцев, никакие щедрые дары не

могут погасить вспышки вражды. Вместо сигнальных стрел к услугам сегодняшних «всадников из преисподней» – бескрайние возможности интернета. А сплочённость единоверцев обладает такой же прочностью, как сплочённость соплеменников.

Пока отставшим народом управляет деспот или монарх, индустриальный мир может лелеять надежду на то, что он останется прагматиком и не будет ввязываться в военные авантюры, нападая на противника, который сильнее его в три, пять, десять раз. Но стоит свергнуть единоличного владыку, и картина в корне меняется. Население страны превращается в неконтролируемую толпу, в которой каждый подчиняется только порывам собственных страстей. И самой сильной окажется жажда бессмертия. Именно её реализует террорист, взрывающий себя в поезде, в церкви, в кафе, в школе. И чем больше у его «врагов» будет авианосцев, пушек, ракет, вертолётов, истребителей, дронов, тем полнее будет его чувство победы.

Обогнавшие склонны воображать, что отставшего можно купить, умиротворить благами индустриального мира. Они не понимают, что каждый сириец, ливиец, пакистанец, афганец, достигнув Европы и получив все щедрые дары, через месяц, два, год осознает, что у него исчезло всё, что питало его надежду на бессмертие. Вокруг него процветают и обгоняют его во всём люди, ни в грош не ставящие пророка Мухаммеда, финансисты, одалживающие деньги под проценты, женщины, разгуливающие без чадры и даже головной повязки, имеющие право в любой момент уйти от мужа и забрать у него детей; вино льётся рекой, музыка гремит из всех приёмников и окон, зато голосам муэдзинов запрещено тревожить покой неверных.

Каким образом в такой обстановке можно вернуть себе бесценное сокровище – веру в своё бессмертие? Только взрывая Мировой торговый центр в Нью-Йорке, метро в Лондоне, Бостонский марафон, аэропорт в Брюсселе, расстреливая редакцию журнала «Шарли» в Париже. (ФВ-110)

Когда флот древних греков готовился отплыть на войну с Троей, богиня Артемида препятствовала этому, посылая штормы и ураганы. Прорицатель Калкис объяснил грекам, что богиня была обижена царём Агамемноном, который на охоте убил её священную лань. Чтобы искупить вину царя, необходимо принести в жертву Артемиде его дочь – Ифигению.

За три тысячи лет, прошедших с Троянской войны, мы так и не научились предотвращать штормы и ураганы. Но, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что человеческие жертвоприношения в этом деле не помогут. И то, что мы теперь умеем хотя бы предсказывать бури за несколько дней, – немалая победа цивилизации. Попробуем

же перечислить те выводы, которые вытекают из концепции военных конфликтов, предложенной в данной книге.

1. Нам придётся расстаться с утешительным тезисом «никто не хочет войны». Проведённый обзор ясно показывает, что жажда утоления трёх главных страстей может привести племя или народ в состояние «пассионарности», когда соображения безопасности или выгоды отступают, когда он станет выискивать угрозы или обиды со стороны соседей или даже станет искать объект для нападения в далёких странах, ничем ему не грозивших.

2. Мы должны будем признать, что народ, находящийся на той или иной ступени цивилизации, всегда будет проявлять враждебность по отношению к народу, поднявшемуся на следующую ступень. Бесплезно искать причины этой враждебности в дискриминации, эксплуатации, ошибках дипломатов, строительстве поселений на спорных территориях – она изначально задана, онтологична, неодолима, как неодолима зависть в отношениях отдельных людей.

3. Необходимо пересмотреть два принципа, положенные в основу структуры международных отношений, ибо они продемонстрировали свою полную несовместимость. Нельзя объявлять священными одновременно и неприкосновенность границ государства, и право каждого народа на самоопределение. Каким образом могут получить самоопределение курды, тамилы, тутси, чеченцы, баски без нарушения границ тех стран, в которых они сейчас проживают?

4. Такой же нежизнеспособной оказалась «охрана прав человека». Она могла бы существовать как религиозно-этический идеал. Но когда одни страны начинают использовать её как оправдание для вмешательства в дела других наций вплоть до вторжения, отнятия территорий, ракетно-бомбовых ударов, возвышенная идея превращается в кровавый фарс.

5. Дальнозоркий в своём идолопоклонстве перед идеей свободы не хочет увидеть, как дорога и важна для близируких возможность утолять жажду сплочения. Он страстно нападает на любое правительство, охраняющее колонны государственной постройки, объявляет его тираном, душащим свободу, призывает близируких к бунту. Хотелось бы, чтобы он усвоил уроки истории и помнил, что после успешного бунта его ждут проскрипции, гильотины, подвалы НКВД, газовые камеры, голубые пластиковые мешочки.

Но, конечно, самым главным остаётся вопрос: сумеет ли человечество избежать большой термоядерной войны? (ФВ-356-57)

Вот какой виделась наша судьба Иоанну Богослову, вглядывавшемуся в мрак грядущего две тысячи лет назад:

«...Я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь; и звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои; и небо скрылось свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих; и цари земные и вельможи, и богатые и сильные, и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор». (Откровения Иоанна Богослова, 6:12-15)

Сумеет ли мы избежать этой судьбы? Что можно и нужно делать, чтобы предотвратить термоядерную войну? Какой из конфликтов может явиться тем последним камешком, который даёт толчок горной лавине, сметающей всё на своём пути?

На первый взгляд, самой опасной видится ситуация: атомная бомба в руках террориста-смертника. Или диктатора, которому не жалко ни своей жизни, ни чужих. Северо-корейский лидер Ким Чен Ын выглядит сегодня почти созревшим для безумных непоправимых шагов. Угроза превентивного удара по его стране не сможет удержать его. Подданных ему не жалко, а сам он надеется уцелеть в своём бункере.

С другой стороны, не мешает вспомнить начало Первой мировой войны. Лидеры, развязавшие её, не были ни безумцами, ни извергами. Их переполняла уверенность, что всё делается для блага их стран. Они выступали с заявлениями и ультиматумами, выглядевшими вполне разумными и оправданными. Как всё это могло обернуться неслыханной бойней, современники понять не могли.

К сожалению, похожий процесс мы видим и сегодня. Дипломаты и правители демократических стран выработали некий код «правильного» политического поведения, которому пытаются подчинить все страны и племена. Есть множество народов, для которых «правильное» поведение может оказаться гибельным. Ничего не поделаешь – подчиняйтесь или мы вас накажем. Малые народы вынуждены терпеть карательные бомбёжки и вторжения. Но что делать, когда политический код будут нарушать государства, уже имеющие на вооружении термоядерный арсенал?

Северная Корея открыто угрожает своим соседям и американским военным базам межконтинентальными ракетами с атомными бомбами. Пакистан даёт приют террористам, совершающим с его территории рейды в Индию и Афганистан, но никому и в голову не придёт пригрозить термоядерной державе бомбёжками за нарушение кода. Китай расширяет свои территориальные воды за счёт освоения мелких необитаемых островов, и на это приходится закрывать глаза. И, конечно, самым

злостным нарушителем кода на сегодняшний день объявлена Россия.

Антироссийская истерия на Западе сегодня достигла уровня паранойи. Развитие электронных коммуникаций вдруг вернуло нас на уровень мышления глухого Средневековья. Тогда все беды можно было приписывать колдунам и ведьмам, сегодня таким же тайным могуществом наделяют «российских хакеров». Нет нужды объяснять, какой именно вред был нанесён. Слова «хакерная атака» приобрели такой же зловещий смысл, какой в старину таился за словами «наслала порчу». Обе палаты американского конгресса наперегонки состязаются в охоте за «русскими ведьмами», какой не бывало со времён Маккарти.

В такой атмосфере трезвые голоса, призывающие к установлению предохранительных контактов между американскими и русскими военными службами, звучат всё глуше из-за страха попасть под обвинение «в связях с врагом». Уже невозможно разобрать, кто в кого стреляет на Ближнем Востоке, как близко пролетают друг к другу русские и американские бомбардировщики. Ракетоносные корабли двух стран только что не стучаются бортами. Если визит в Россию или разговор с русским дипломатом могут быть представлены чуть ли не преступлением, о каких мирных переговорах может идти речь?

Эта истерия неустанно подогревается силовыми ведомствами США. Пентагон, ЦРУ, ФБР, Национальная служба безопасности всегда стремятся к увеличению своего финансирования. Такое увеличение возможно получить от Конгресса лишь при нарастании внешней угрозы. Международный терроризм набирает силу с каждым годом, но борьба с ним не требует строительства новых авианосцев и межконтинентальных ракет. И вот американские военные лидеры, а вслед за ними и политики, один за другим выступают с заявлениями: «Главная угроза Соединённым Штатам – Россия». Новый министр иностранных дел недавно заявил, что «с Кремлём надо разговаривать языком силы». То же самое повторил новый военный министр – отставной генерал, заслуживший в своё время прозвище «бешеный пёс». С державой, имеющей тысячи термоядерных боеголовок, не лучше ли попытаться говорить «языком разума»?

На сегодняшний день восемь государств имеют на вооружении атомные бомбы. Есть сведения, что имеет их и девятое – Израиль. Нет сомнения, что число «членов атомного клуба» будет расти. Следовательно будет расти и риск применения термоядерного оружия в очередном конфликте. А дальше возможность цепной реакции делается реальностью.

Земная цивилизация впервые в своей истории оказалась перед угрозой полного разрушения. В этой ситуации успех борьбы за мир становится не просто желательным, но превращается в вопрос «жизни и смерти». В мире, переполненном враждой, мы должны упорно искать глубинные нити, соединяющие людей, возвращающие им способность слышать друг друга. Их всё ещё много, их необходимо беречь и укреплять. Чтобы закончить главу «нотой надежды», приведём отрывок из письма Томаса Манна, написанного после Второй мировой войны:

«Соединяет нас вера в несколько вещей, не имеющих ни малейшего отношения к старости или молодости, и для этих вещей слово “культура” – обозначение сегодня слишком вялое и вычурное. Это вера в духовное и божественное начало в человеке, отрицая и попирая которое можно побеждать, но нельзя победить. Если божественного начала и нет над нами, то в нас оно есть, оно есть в человеке, оно непреложно, неотторжимо и нерушимо. Правда, свобода и право – это не “идеи среднего сословия”, не исторические брэнности, которые увядают и могут быть заменены ложью, рабством, насилием. Это самые прочные человеческие реальности, против них не изобретено ещё ни танков, ни бомб, и стойкость их покажет ещё чудеса “новому миру”».¹³
(ФВ-358-59)

Глава 26. ВЫБОР МЕЖДУ ВЕДЕНЬЕМ И НЕВЕДЕНЬЕМ

Окидывая мысленным взором историю многих государств, мы не могли не заметить, что богатство, могущество, расцвет культуры любого «мы» неизбежно связаны с заметным расширением социальных «я-могу» его членов. Возникает естественный вопрос: если богатство и могущество всегда, а культура весьма часто являются предметом самых горячих вожделений «мы», почему бы ему не достигнуть их таким простым путем – расширив социальные «я-могу»?

Потому, отвечают обычно на это власть имущие (если вообще снисходят отвечать), что дальнейшее расширение социальных «я-могу» грозит нарушить целостность «мы», ниспровергнуть законы, посеять анархию, произвол, разорение, открыть дорогу рвущимся к власти революционным сорвиголовам, ниспровергателям и экстремистам. И в подтверждение своей правоты приводят довольно убедительные и страшные исторические примеры.

Потому, отвечают революционеры и ниспровергатели, что верховная власть узурпирована кучкой проходимцев, радеющих не о благе народа, а об утолении своего властолюбия, страшщихся малейшего проблеска свободы в своих подданных, готовых жизнь и имущество любого из них принести в жертву своекорыстным интересам. Достаточно свергнуть власть, и расширение социальных «я-могу» немедленно произойдет само собой. И примеры, приводимые ими, окажутся не менее убедительными.

Понятно, что и те, и другие находятся в гуще политической жизни, что страсти борьбы ослепляют их и мешают быть объективными.

Но и теоретики, оглядывающие движения народов со стороны, не дают нам единого и обоснованного ответа на этот вопрос.

«Очевидно, – заявляет Аристотель (с несвойственной ему голословностью), – что некоторые по природе рабы, а другие по природе свободны. Так как варварские народы и вообще племена, населяющие Азию, по природе своей суть люди более рабского характера, чем эллины и народы, живущие в Европе, то деспотическое правление они переносят без всякой неприязни».¹

«Латинские народы, – опровергает его Густав Лебон двадцать три века спустя, – мало заботятся о свободе, но очень много о равенстве, легко переносят всякого рода деспотизм, лишь бы этот деспотизм был безличным».²

Начиная с XIX века готовность народа к расширению социальных «я-могу» стали определять понятием «зрелость». Например, о

колониальных народах часто говорили, что они не созрели для независимости, для свободы. (И результаты послевоенной деколонизации подтвердили, что в большинстве случаев так оно и было.) Наоборот, признание «зрелости» народа в рамках многонациональной империи порой выражалось в предоставлении ему особых прав и привилегий (конституции, дарованные русским царём Польше и Финляндии). Наиболее прозорливые историки (Бокль, Моммзен, Фюстель де Куланж) всё внимательнее вглядывались в феномен «зрелости», учитывали его как самостоятельную политико-историческую силу, выделяли ситуации, при которых власть, пытавшаяся начать наступление на свободы подданных, наталкивалась на стойкое молчаливое сопротивление народа.

За неимением лучшего мы тоже пользовались термином «зрелость» во второй части книги. Однако смысл этого понятия сводился до сих пор, в сущности, лишь к констатации факта: там, где народ расширил свои социальные «я-могу» и удержал их при помощи устойчивых политических учреждений, там мы считали себя вправе сказать: оказывается, он созрел для независимости. Но так как ведущим принципом этой работы взято отыскание связи «между историческими событиями и свойствами мельчайшей молекулы каждого из этих событий – индивидуальной человеческой воли», мы должны спросить себя: каким же особым свойством должна обладать отдельная личность, входящая в данное «мы», чтобы, суммируясь в тысячах и миллионах людей, свойство это вылилось в трудно уловимое понятие «зрелость народа»?

И есть ли такое свойство?

Или зрелость создаётся слиянием обычных всем известных добродетелей и достоинств – доброты, мужества, честности, выдержки, ума, прозорливости?

Может быть, для тех, кто живёт сейчас в государствах с обширными социальными «я-могу», вопросы эти представляют чисто академический интерес. Но для тех, кто в силу рождения оказался зажат в тесные колодки социальных несвобод, нет вопросов более личных, жгучих и злободневных. Ибо смысл их: что я, лично я, должен сделать с собою и ближними своими, чтобы приблизить желанное «созревание»? Поэтому, разворачивая свиток истории, мы задаём их себе всё снова и снова с не ослабевающей страстью.

Каким свойством должен был обладать древний афинянин и не обладать житель Сиракуз, чтобы в Афинах могла установиться прочная демократия, а в Сиракузах удерживалась тирания?

Чем отличались в Средние века итальянцы, жившие во Флоренции, Генуе, Венеции, Болонье и прочих городах-республиках, добившихся свободы, от итальянцев Милана, Рима, Неаполя, терпевших единоличных повелителей?

Почему на заре русской истории Псков и Новгород начинают двигаться в сторону расширения социальных «я-могу», а остальные княжества – в сторону сужения?

Почему за созывом испанских кортесов в 1520 году последовало восстание комунерос, сначала отдавшее всю страну в руки восставших, а через год кончившееся позорным поражением под Вильяларом и полным торжеством абсолютизма Габсбургов, и точно такой же созыв английского парламента в 1640 году вылился в упорную семилетнюю гражданскую войну, закончившуюся свержением абсолютизма Стюартов?

Почему демократия Соединённых Штатов Америки, раз установившись, сразу обрела устойчивость и продолжала развиваться, несмотря на внешние и внутренние потрясения, а Франция столько раз возвращалась к монархическому тоталитаризму?

Почему, наконец, и в наши дни так много цивилизованных и культурных государств, вообразивших себя «созревшими», – Германия, Россия, Испания, Греция, Чили, – в какой-то момент не выдержали испытания свободой, буквально выпустили её из рук?

Можно заранее сказать, что любой мыслимый ответ на эти вопросы основан на одной из двух возможных предпосылок: детерминистской, полагающей все социальные перемены предопределёнными комбинацией тех или иных исторических обстоятельств, или антидетерминистской, сформулированной Львом Толстым, считавшим, что «движение народов производит не власть, не умственная деятельность, даже не соединение того и другого, но деятельность всех людей, принимающих участие в событиях».³

Детерминизм находится всегда в более выгодной позиции, ибо ему есть чем манипулировать в качестве доказательств. Так, политэкономический детерминизм любые социальные сдвиги может связать с развитием производительных сил; детерминизм религиозный представит их как награду за истинную веру или наказание за грехи; эстетический детерминизм шпенглеровского толка всегда найдёт в многообразии культурных явлений что-нибудь такое, что можно будет выдать за причину или, по крайней мере, за ключевой момент. Образованный детерминист всегда будет иметь в запасе бездонные кладовые исторических фактов, годящихся для того, чтобы сплести из них прочную причинно-логическую сеть и ловить в неё впечатлительные умы.

Антидетерминист не имеет в руках ничего столь же прочного и красочного. Всё, что он может сказать: народ переменял формы своего социального бытия и удержал эти перемены потому, что такова была свободная воля этих людей в этот момент истории. А почему другой народ, оказавшийся в подобных же обстоятельствах,

ничего подобного не сделал? На это антидетерминист скажет лишь одно: «Потому что воля человека свободна».

Спор этот имеет безысходно антиномический характер и коренится в третьей (по определению Канта) антиномии разума. («Тезис: в мире существуют свободные причины; антитезис: нет никакой свободы, а всё есть природа, то есть необходимость».⁴ Поэтому, если мы хотим вырваться из заколдованного круга антиномий, у нас есть только один путь – метафизический. Попробуем, однако, ступить на него не с философско-теоретической, а с обыденно-психологической стороны, то есть с той, где он доступен любому здравому рассудку.

Представим себе обыкновенного человека, живущего в гуще прочного, устойчивого «мы». Жизнь его проходит в трудах и заботах, в повседневной смене надежд и тревог, радостей и разочарований. Воля его постоянно занята отысканием слабых участков границы царства «я-могу» и попытками раздвинуть её на этих участках. Здесь и забота о своём здоровье, своём состоянии, о семейных и личных делах; но участки, образующие социальное «я-могу», вызывают у него особый интерес. Недаром повышение по службе, получение чина, должности, титула, переход в более привилегированное сословие, выкуп на волю порой становятся предметом самых горячих желаний, заполняют всю душу человека. Изменить лично своё социальное «я-могу», перейти на другую ступень лестницы общественного неравенства – об этом индивидуум может мечтать, «мы» часто оставляет ему такую надежду. Но расширить своё социальное «я-могу» путём перестройки самой лестницы, переделать пирамиду социальных «я-могу» – это должно казаться ему не только невозможным, но и чем-то кощунственным, преступным, губительным для него самого. Во всяком случае, каждое «мы» стремится убедить в этом всех своих членов, ибо справедливо видит главную гарантию своей целостности и стабильности в том впечатлении незыблемости, какое производят его институты и установления. Войско, полиция, суд, авторитет религии, сила традиции, убедительность пропаганды, очарование национально-родового чувства – всё ставится на службу этой цели, всё призвано ежедневно и ежечасно демонстрировать несокрушимость и неизменность установленного порядка вещей.

Спросим теперь себя: что должен испытать человек, чтобы хотя бы мысленно покуситься на господствующий правопорядок? Он должен был путём долгого жизненного опыта и рассуждений прийти к убеждению, что существующие границы социальных «я-могу» оставляют воле столько же простора, сколько узнику – тюремная камера. Он должен был осознать свое положение как гнёт и испытать боль открывшейся ему несвободы. И дальше это испытываемое страдание неизбежно должно толкнуть его на один из двух

путей: либо на преодоление установленных границ, на социальную борьбу, либо на преодоление собственных «еретических» представлений, на убеждение самого себя в том, что существующая система социальных отношений есть такая же данность, как сила тяжести, движение светил, текучесть воды, твёрдость камня.

Что ждёт его на первом пути?

Напряжение всех сил в противоборстве с несокрушимым могуществом «мы», сознание своего отщепенства, позор, мучения и, скорее всего, гибель.

А на втором?

Не требующее больших усилий давление на собственное сознание, которое услужливо подхватит любой аргумент, направленный к оправданию того, что есть, возвращающий воле покой, снимающий мучительное представление о несвободе. Религия поспешит на помощь верующему, уверяя, что «всё в руке Божьей», атеист найдет опору у Гегеля, заявлявшего, что «все существующее – разумно». Так стоит ли после этого удивляться, что большинство людей избирает второй путь? Гораздо удивительнее то, что находятся все же те редкие (один на тысячу, на десять тысяч) смельчаки, которые, несмотря на полную безнадежность, решаются противопоставить себя грозной силе «мы» и первыми ринуться в самоубийственную борьбу.

Оставим, однако, на время и тех и других и рассмотрим парадоксальную возможность, открывающуюся в данной ситуации: когда человек не пускается в борьбу ни с миром, ни с собственным сознанием, а находит в себе силы терпеть страдание открывшейся несвободы. Но ради чего? Да просто потому, что изменить структуру «мы» он не видит никакой возможности («свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды...»), а лгать самому себе кажется ему стыдно, низко, мелко.

Поистине есть много эпох, когда деспотизм настолько свиреп и могуществен, что поголовная покорность подданных не вызывает у нас строгого морального осуждения. Но зато нет таких эпох, когда человеку не был бы оставлен свободный выбор: ясно сознавать ужас своего бесправия, терпеть страдания, вызываемые этим сознанием, но не поступаться своим представлением о человеческом достоинстве и свободе, для которой он чувствовал себя предназначенным и которой его жестоко обделила судьба. И в этом мужественном выборе, совершающемся невидимо для окружающих, есть такое бескорыстие, такая чистая преданность невыразимому идеалу правды и свободы, что мы интуитивно чувствуем: должна быть прямая связь между таким духовным подвижничеством и процессом «созревания» народа.

Весь ход мировой истории ясно показывает нам, что существует много факторов, влияющих на возрастание или увядание свободы внутри «мы». Пример и влияние соседних народов, инициатива верховной власти, состояние экономики, уровень культуры, природные условия – всё это в значительной мере может помогать или мешать расширению социальных «я-могу». Точно так же дерево в природе может пышно расцвести при избытке воды и солнца или быть заглушено более мощными деревьями, оно может чутко реагировать на характер почвы, наличие или отсутствие удобрений, на нашествие насекомых, на помощь человека.

Но при всём этом дерево *растёт само*.

Так же и свобода народа питается невидимыми внутренними соками индивидуальных усилий членов «мы». Рост дерева свободы может быть замедлен посторонним вмешательством, затруднён, искажён, сведён на нет, дерево это может быть повалено исторической бурей или срублено рукой могущественного завоевателя. Но никакая внешняя сила не сможет заставить его расти, созреть.

Сама верховная власть может быть лишь инициатором или тормозом для роста, расширения социальных «я-могу», но источник животворящей силы роста мы можем искать только в глубинной жизни отдельной клетки этого организма – индивидуальной человеческой воли.

Ясно, что в тех случаях, когда воля довольствуется своим социальным «я-могу» и подавляет все попытки сознания указать на его недостаточность, никакой надежды на расширение социальных «я-могу» не остаётся.

Горький опыт многих бунтов и революций убеждает нас в том, что воля, решившаяся на борьбу с властью и даже добившаяся победы, часто кончает тем, что на развалинах поверженного деспотизма устанавливает новый.

Поэтому в поисках фермента, созидającego зрелость народа, мы должны сосредоточить всё своё внимание на третьем возможном здесь варианте: на подвижнической готовности терпеть страдания осознанной несвободы, как бы ни малы были надежды на прекращение их и каких бы испытанных уловок ни предлагалось нашему сознанию для заглушения этой плодотворной муки.

Чем пристальнее будем мы всматриваться в отношение индивидуальной человеческой воли к её социальному «я-могу», тем больше будем убеждаться, что предоставленный ей здесь выбор является лишь частным случаем выбора более широкого и всеобъемлющего. Сущность этого выбора определяется тем, что нашей воле дарованы огромные возможности влиять на систему своих представлений о мире.

Каждый новый день приносит человеку новую волну впечатлений, сведений, известий, знаний об окружающем и о себе самом. Есть среди этого потока впечатления, оставляющие нас безразличными, – им мы позволяем проваливаться без следа в бездонные кладовые памяти. Изредка попадаются радостные, наполняющие сердце гордостью, надеждой, нежностью, любовью, – их мы лелеем, раздуваем, возвращаемся к ним мыслями снова и снова. Но есть и такие, что вонзаются в сознание и торчат там как тупая заноза, не давая думать ни о чём другом.

Вот какое-то дело, долго подготовлявшееся тобой, забиравшее все помыслы и силы, пришло к безнадежному краху.

Вот услышал про чьё-то преуспевание, счастье, удачу, и зависть начинает точить душу.

Вот нечаянно припомненный поступок снова обжёт стыдом.

Вот сомнение коснулось того, во что свято верил.

Вот вспомнилась упущенная любовь.

Вот чьё-то несчастье отозвалось в сердце болезненным состраданием.

Вот чей-то талант открыл тебе, каким ты уже никогда не будешь.

Вот случайная боль под левой лопаткой вызвала вдруг шальную мысль о неизбежной смерти.

Любого из этих впечатлений достаточно, чтобы белый свет стал вдруг немил. И тогда мы берёмся за работу.

Мы убеждаем себя, что дело потерпело крах не от нашей неспособности, а от злых козней подлецов и ничтожеств. Что чужой успех наверняка замешан на каком-нибудь жульничестве. Что припомненный поступок – далеко не самое худшее, что можно было совершить при тех обстоятельствах. Что одно жалкое сомнение не может поколебать прочности моей веры, разделяемой миллионами несомневающихся. Что упущенная любовь не стоила любви. Что в случившемся несчастье виноват сам пострадавший, нечего его жалеть. Что прирожденный талант не заслуга, а лишь повод для особого спроса. Что и насчёт смерти самой надо ещё посмотреть и разобратся, так ли уж она неизбежна; не даром же говорят о загробном царстве, или о бессмертии души, или о её переселениях в другие существа, или о том, что человек живёт в делах своих.

И так день за днем, приобретая жизненный опыт, мы бессознательно вырабатываем в себе искусство не знать, не понимать, не видеть, не помнить, не думать. Иными словами, мы выбираем неведение.

Конечно, не всякое представление легко поддаётся искажающему давлению нашей воли. То, что я вижу, слышу, чувствую сейчас (представления «инконкрето»), объявить несуществующим

весьма трудно. Но всё, что я помню, предвижу, предчувствую, в чём убеждаюсь путем умозаключений (представления «инабстрактно»), готово в случае надобности поддаться требованиям моей воли, приобрести расплывчатость, многозначность, двусмысленность, обрести системой смягчающих толкований или просто изменить смысл на обратный.

Вот несколько примеров, взятых почти наугад.

Враг подступил под стены моего города. Я слышу грохот его пушек, вижу дымы зажжённых им пожаров, первых раненых проносятся мимо меня по улицам. Здесь мне уже никуда не деться от своего знания об обрушившейся беде, ибо оно дано мне «инконкрето». Я чувствую, что должен немедленно предпринять какие-то решительные действия: защищаться с оружием в руках или бросить всё и спасаться бегством. Но ведь задолго до вторжения я слышал голоса, предупреждавшие о возможной угрозе. Меня пытались убедить в необходимости затратить свои силы, пожертвовать часть средств на оснастку флота, вооружение армии, укрепление границ. Отчего же я не внял тогда этим предупреждениям? Да оттого, что тогда беда являлась мне в виде слабого представления «инабстрактно», и лень, корыстолюбие, эгоизм, инертность легко свели его на нет.

Вот стражники всходят на порог моего дома. Я слышу стук в дверь и грозный голос: «Именем короля, именем бога, именем республики, именем народа, именем закона...» И пока дверь трещит и медленно поддается под ударами, я, мечась из одного угла в другой, успеваю вспомнить, что до меня доходили слухи о том, как это случилось с другими, что были люди, звавшие меня присоединиться к ним и сообща покончить с произволом, пока ещё не поздно. «Ах, как они были правы!» – восклицаю я в отчаянии. Но поздно.

Вот разлившаяся река смывает весь урожай с моего поля. Я пытаюсь спасти хоть что-нибудь и проклиная себя за то, что не внял в свое время тем, кто настойчиво предлагал устраивать загодя запасы на случай бедствия или заняться строительством защитной плотины.

Но спрашивается: эти люди, заблаговременно предупреждавшие меня, – были ли они умнее, прозорливее прочих? Нет, они знали о будущем ровно столько, сколько и мы, и делились с нами всем, что знали. Но, может, они были безразличны к радостям сегодняшнего дня? Ничуть не бывало. Вся разница между нами и ними, между их знанием и нашим состояла в том, что для них «абстрактно» надвигающейся беды обладало такой же достоверностью, как и «конкрето» сегодняшних соблазнов и страстей, и поэтому способно было пере-силить их, а для нас – нет. То есть в том, что они избрали веденье.

Дар разумного сознания, присущий каждой человеческой воле, можно уподобить прожектору, созданному для того, чтобы освещать окружающий мир во времени и пространстве. Свобода воли ни в чем не может быть реализована с большей полнотой, нежели в обращении с этим даром. Выбор состоит в том, чтобы направлять луч прожектора осторожно, избирательно, избегая освещать всё пугающее, укоряющее, тягостное, отталкивающее, опасное, – это выбор неведенья; или посылать окрест себя ровный и ясный свет, не ослабляя его и не отводя даже от самых грозных и мучительных картин, – это мужественный выбор веденья.

Онтологическая важность этого духовного акта представляется такой огромной и так мало оценённой, что нам следует вновь остановиться на нём и расшифровать смысл выбора как можно подробней.

Прежде всего, выбор не совершается человеком раз и навсегда. Это непрерывный процесс, непрерывное испытание нашей свободы, и возможно, что сегодня у нас уже не хватит сил терпеть ту меру веденья, какую мы терпели вчера.

Нет никакой возможности провести между людьми четкую границу и сказать: эти выбрали одно, а эти – другое. Какое-то веденье так или иначе допускает каждый, но главнейшая для нас разница – разница в степени – ускользает от объективной оценки. Слишком потаённым остаётся этот акт, чтобы мы могли с уверенностью судить по внешним проявлениям. И тем не менее как ручей при открытии запруды устремляется всегда по пробитому руслу, так и сложившийся характер человека при сигнале тревоги – один привычным движением сосредоточит свет сознания на источнике угрозы, направит волю в русло веденья, другой не менее привычно опустит завесы, ширмы, шторы, постарается увильнуть, отвлечься, забыть, то есть свернёт в сторону неведенья.

Выбор не является моральной категорией. Понятия «хороший – дурной», «добрый – злой» к нему неприменимы. Человек, избравший неведенье, может оставаться добрым, чутким, отзывчивым, сострадательным к ближнему своему, ибо ближний является ему «инконкрето». Плач ребёнка глубоко расстроит такого человека, а известие о сотне расстрелянных в соседней стране оставит равнодушным. Наоборот, человек, избравший веденье, может выглядеть чёрствым, холодным, даже жестоким к ближнему своему, ибо он ни на минуту не забывает и о дальнем, данном ему «инабстрактно». Что можно сказать о Бруте, первом римском консуле, приказавшем казнить своих сыновей за попытку восстановить царскую власть? Только то, что «его поступок при всем желании невозможно ни восхвалять, ни осуждать. Либо высокая доблесть сделала его

душу бесстрастной, либо, напротив, великое страдание довело его до полной бесчувственности, а то и другое – дело нешуточное...».⁵

Выбор не зависит ни от умственных способностей человека, ни от полученного образования. Неважно, как далеко достигает свет, дарованный мне; важно, с какой смелостью я пользуюсь этим светом там, куда он достигает. Самый недалекий и невежественный человек, самый «нищий духом» может поразить нас глубиной и серьёзностью своего отношения к жизни, честностью суждений, простотой и ясностью взгляда на основные вопросы бытия. И наоборот, сколько можно привести примеров, когда ум и образованность целиком посвящались задаче сокрытия истины от себя и окружающих или шли на придание видимости благородства порывам самым низменным. Неграмотный юродивый, бесстрашно обличавший Ивана Грозного, конечно, был ведающим в большей степени, чем образованный царь, в котором сильнее всего «работал инстинкт самосохранения и все усилия бойкого ума были обращены на разработку этого грубого чувства».⁶

Выбор веденя хотя и увеличивает значение представлений «инабстрактно», отнюдь не означает предпочтение идеальных сфер бытия реальным. Когда «инконкрето» делается невыносимым, неведующий легко находит убежище в крепости божественного, высокоморального, возвышенно-прекрасного или просто в отчаянном мечтательстве на манер героя «Белых ночей» Достоевского. Правда, он поспешит укрепить стены своего убежища и сведёт веру к догме, мораль – к правилам поведения, искусство – к канонам и списку проверенных шедевров, но всё равно сам будет почитать себя идеалистом, преданным исключительно высокому и прекрасному.

Есть люди, горячо ратующие за веденье там, где их душевных сил может хватить, но незаметно ослабляющие свет сознания, когда дело доходит до вещей им непосильных. Они как бы пытаются испугать в одном месте самопредательство, совершаемое ими в другом: один выпячивает свою абсолютную принципиальность в науке и отодвигает в тень конформизм общественного поведения; другой, наоборот, заботами об общественном благе заслоняет бессердечие личных отношений с людьми; третий, строго подчиняясь требованиям эстетического вкуса, с особенным жаром отвергает требования ума, и так далее.

Что даёт человеку тот или иной выбор?

Выбор неведенья может привести, конечно, к тому, что надвигающаяся беда не будет заблаговременно отведена, а благоприятная возможность – использована. Но зато избравший неведенье может не тревожиться заранее ни по поводу отдалённой беды, ни по поводу упущенных возможностей. Душевный комфорт, непотревожен-

ность, беспечность – вот бесценные награды, делающие выбор неведенья столь привлекательным для большинства людей. И надо видеть, с какой трогательной заботливостью обучают они всякого призадумавшегося этому искусству: «Брось ты об этом думать. Зачем растравлять себя понапрасну? Плюнь и забудь».

Выбор веденья, включая в себя отчасти и предусмотрительность в делах, даёт какие-то выгоды человеку, но платить за него приходится очень дорого. Ибо веденье делает душу открытой любой тревоге, любому укору, любому сомнению. Все виды душевной боли он вынужден терпеть без спасительной анестезии неведенья.

Неведающий, как правило, легко находит взаимопонимание с окружающими в любой обстановке. И для него, и для них представления «инконкрето» – главная, для всех одинаковая реальность, которую воля их уже не может исказить по собственному произволу. Твёрдая почва «инконкрето» и служит им всем критерием истины и началом отсчёта, облегчает сближение.

Избирающий веденье всегда в известной мере одинок. Отказываясь подчинить себя всецело тому, что здесь и сейчас (инконкрето), он выпадает из ряда неведающих, но при этом не обретает автоматически солидарности с другими подобными себе. В безграничных сферах «инабстрактно» людям труднее найти друг друга. Говоря о дальнем, нуждающемся в нашей любви и помощи, один будет иметь в виду жителя соседней деревни, другой – любого соплеменника, третий – всякого живущего человека, четвертый – плюс к тому же и всех ещё не родившихся, пятый – всё живое. Говоря о важности грядущего, один будет подразумевать будущий год, другой – идущие на смену поколения, третий – историческую судьбу народа, четвертый – судьбу человечества, пятый – судьбу мироздания. Легко ли им будет понять друг друга? Недаром на предельных ступенях веденья, то есть среди подлинных ученых, художников, моралистов, пророков, так часты примеры захватывающего дух одиночества.

И всё же самым безнадежным и непреодолимым является непонимание между людьми, совершающими противоположный выбор, между ведающими и неведающими. Они словно бы оказываются в разных мирах – истинного и ложного, высокого и низкого, достойного и постыдного. В то же самое время они живут бок о бок, на одной земле, говорят на одном языке, часто бывают связаны узами родства или общим делом. Неприязнь выбравших неведенье к ведающему вызывается не только непониманием, но и подсознательным страхом, что он, являя им «инконкрето» своего облика, своих мнений и поведения, может разрушить их защитные сооружения, отдернуть завесу от всего, с чем они боятся оказаться лицом к лицу. В то же время, смутно сознавая несправедность своего выбора,

они инстинктивно тянутся к ведающему, надеясь обрести в его мужественном примере опору и вдруг преодолеть свою слабость. «На одной стороне оказывается исключение, на другой – масса, – писал Кьеркегор, – и самая их борьба – странный конфликт между нетерпеливым гневом на поднятую исключением тревогу и между влюбленным пристрастием массы к исключению».⁷ Только этим гневом можно объяснить ненависть толпы, судившей Сократа, Гуса, Томаса Мора, Джордано Бруно, Пастернака, и только этим пристрастием – их посмертную славу.

Выбор веденья есть проявление мужества – «мужества быть собой вопреки угрозе судьбы и смерти, вопреки угрозе пустоты и бессмысленности, вопреки угрозе вины и осуждения».⁸ И хотя этот выбор открывает душу человека любому терзанию, внешне он часто проявляется каким-то особым спокойствием, сдержанностью, смиренномудрием. Вернее сказать, что ведающий часто остается спокойным среди всеобщего смятения, ибо для него происходящее «инконкрето» не заслоняет весь мир; зато может прийти в необычное волнение по поводу вещей далёких, абстрактных, окружающим совершенно непонятных. Именно по этому свойству в Средние века часто находили тех, кого следовало обвинить в колдовстве или ереси и отправить на костер, а в наше время – тех, кому можно поставить диагноз «неадекватная реакция» и упрятать в психлечебницу.

Человек может колебаться в выборе, может решительно склониться на сторону веденья или столь же решительно погрузиться на всю жизнь в пучину неведенья. Но какие бы крайние степени того или иного выбора ни представляли перед нашими глазами, мы ни на минуту не должны забывать, что линия, отделяющая веденье от неведенья, проходит не столько между людьми, сколько через сердце каждого человека, что устремлённость души в одну сторону может возобладать, но не может полностью уничтожить устремленность противоположную.

Поэтому зрелость или незрелость народа всегда будет определяться не числом людей, дошедших до крайних степеней веденья или неведенья, но некой метафизической суммой устремлений всех «я», образующих «мы», неким вектором, направленным вверх или вниз.

Есть много признаков, указывающих на то, что выбор между веденьем и неведеньем играл огромную роль на протяжении всей истории человечества.

Само зарождение охотничье-родового «мы» в доисторические времена могло произойти только там, где «абстрактно» табу или обычая было в силах возобладать над «конкрето» жадности, похоти, лени, злобы. Всякий шаг вперёд на пути хозяйственно-технического

прогресса, приближавший человеческое «мы» к переходу в следующую эру – из охотничье-родовой в скотоводческо-племенную, затем в оседло-земледельческую и так далее, – требовал выбора веденья не только от того, кто первым совершал этот шаг, но и от его соплеменников – по крайней мере, той степени веденья, которая не позволила бы им изгнать или убить смелого зачинателя. И так же всякое возрастание свободы внутри «мы» не могло обойтись без мужества избравших веденье, ибо свобода – дело нелёгкое и бремя её не каждому под силу.

Подобно тому как кинетическая энергия каждой молекулы, суммируясь, определяет собой температуру всего объема жидкости, так и духовная энергия выбора отдельных людей, соединяясь, образует некое свойство народа, которое мы договариваемся именовать зрелостью. Веденье и неведенье, переходя из тайников души индивидуального «я» в реалии социальной жизни «мы», делаются более доступными наблюдению, придают специфическую окраску быту, культуре, политике, приобретают некоторые устойчивые признаки – одни и те же для разных эпох и разных стран, – по которым мы и будем узнавать их.

Извечная борьба между веденьем и неведеньем может в разные моменты истории дать перевес то одному выбору, то другому, то застыть в точке неустойчивого равновесия. Для движения всякого «мы» по пути прогресса выбор (ещё одна физическая аналогия) играет роль ускорения: преобладание выбора веденья уподобляется ускорению положительному, приводящему к тому, что «скорость» возрастает и «мы» вырывается вперёд или настигает ушедших ранее; равновесное состояние есть нулевое ускорение, движение с постоянной скоростью; торжество неведенья соответствует ускорению отрицательному, то есть замедлению, остановке, возвращению к той или иной ступени дикости. А чем это чревато для каждого «мы», известно было уже политэкономии XVIII века, утверждавшей устами Адама Смита, что «прогрессирующее состояние общества означает радость и изобилие для всех его классов, неподвижное состояние общества лишено радости, а регрессирующее – полно печали».⁹

И хотя исследование сил, движущих человечество по пути прогресса, представляется волнующим само по себе, важность такого исследования видится не только в получении объективно-научных данных. Показать каждому, избравшему веденье, каким образом его невидимые, никем не оценённые, глубоко личные усилия, и только они, оказываются плодотворными для дела общей свободы, для возрастания зрелости народа, как оправданно его противодействие внешнему и внутреннему напору неведенья, как все материальные блага, которыми неведающие так дорожат в сегодняшней общественной жизни, добывались и охранялись выбором веденья вопреки

противодействию самих неведающих, как близок он, избирающий веденье, тому единственному праведнику, ради которого может быть пощажен город, – подобная задача представляется не менее серьезной и ответственной. Ибо если проблемы «оправдания добра» (Владимир Соловьев), «оправдания творчества» (Николай Бердяев), «оправдания веры» (Лев Шестов) имеют значение непреходящее, то для наших дней нет в философском плане темы более злободневной, чем «оправдание мужества» (Поль Тиллих).

Глава 27. ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

Хотя человек стоит перед выбором с того незапамятного момента, когда он впервые вкусил от древа познания добра и зла, философское сознание важности этого духовного акта началось сравнительно недавно.

Первым философом, воздавшем должное выбору, был Серен Кьеркегор.

«Или – или, – пишет он, – звучит для меня подобно заклинанию, настраивает душу чрезвычайно серьезно, иногда даже потрясает её... Мое «или–или» означает, главным образом, не выбор между добром и злом, но акт выбора, благодаря которому выбираются или отвергаются добро и зло вместе».¹ Он многократно подчёркивает, что выбор стоит особняком от прочих видов духовной деятельности, что это «не эстетическая, не этическая, не религиозно-догматическая категория» и уж тем более не продукт мышления, ибо «в процессе мышления я всецело подчиняюсь принципу необходимости, вследствие чего добро и зло становятся для меня как бы безразличными... Пока человек не выбрал себя, абсолютность различия между добром и злом скрыта от него».²

Независимость выбора от природных дарований и образованности человека также отмечена Кьеркегором. «Даже наиболее богато одаренная личность ничто, пока она не совершит выбор; с другой стороны, даже по виду самая ничтожная личность – всё, если она сделает этот выбор».³

Иногда создается впечатление, будто Кьеркегор мыслит выбор не в виде процесса, а в виде некоего момента в человеческой судьбе, подобно религиозному обращению, разделяющему всю жизнь на «до» и «после». Но есть в его книгах и такие места, где акт выбора предстает растянутым во времени. «Личность склоняется в ту или другую сторону ещё раньше, чем выбор совершился фактически, и, если человек откладывает его, выбор этот делается сам собой под влиянием тёмных сил человеческой природы... Чем больше упущено времени, тем труднее становится выбор, так как душа всё более и более сродняется с одною из частей дилеммы и отрешиться от этой последней становится для нее все труднее и труднее». Наконец, согласно Кьеркегору, выбор есть предельно возможное воплощение и реализация свободы воли. «Это сокровище скрыто в тебе самом, это – свобода воли, выбор “или–или”... Влечение к свободе заставляет человека выбрать себя самого и бороться за обладание выбранным, как за спасение души, – да в этом и есть его спасение души».⁴

Но спрашивается: если выбор это спасение, свобода, благо, почему же люди так медлят с выбором? чего они боятся? почему для выбора необходимо мужество, которого не всякому хватает?

На это Кьеркегор не отвечает. О том, что выбор может нести боль, терзание, может довести душу до отчаяния и краха, не говорится ни слова.

Потенциальная возможность трагедии, заключённая в акте выбора, выражена со всей полнотой в произведениях более позднего экзистенциализма, и особенно в экзистенциалистской литературе.

Душевная обнажённость, уязвимость и уязвлённость – вот главная черта всех героев Достоевского. Избирающие неведение будто и не интересуют его. Они, как дети, которые могут быть славными, вроде генеральши Епанчиной в «Идиоте», или зловредными, как отец Ферапонт в «Братьях Карамазовых», но одинаково остаются в стороне от главного действия драмы. Ирреальность мира Достоевского, его особое положение в русской и мировой литературе, может быть, тем и обусловлены, что он пишет только о ведающих. И уж он-то знает, что выбор веденья не одной только благостью наполняет душу: «...что развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти»⁵, что веденье может одинаково истерзать душу возвышенно-смиренную (князь Мышкин), возвышенно-гордую (Иван Карамазов), благородную (Митя Карамазов), порочную (Свидригайлов), низменно-тщеславную (герой «Записок из подполья»), низменно-преступную (Смердяков).

Когда Кьеркегор описывает безнадежно влюбленного, который, даже утратив всякую надежду на взаимность, не пытался заглушить свою любовь, но сделал её светочем всей жизни, это вызывает в нём восторг и умиление. «Великое дело – отказаться от своего желания, – восклицает он, – но остаться при своём желании, отказавшись от его исполнения, – дело еще более великое».⁶ У Достоевского то же самое «великое дело» отказа от исполнения выражено без тени восхищения, отчаянным истерическим воплем: «Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило».⁷ Все уловки и ухищрения неведения конечно же известны Достоевскому, но он будто и предоставить себе не может, чтобы они могли защитить кого-то. Даже самое интеллектуально-изопрённое неведение, которым пытаются защищаться Раскольников и Иван Карамазов, оказывается в конце

концов смято грозным сознанием совершённого преступления, греха.

В образной системе Кафки свобода выбора между веденьем и неведеньем тоже поначалу как будто отрицается. Начало процесса нравственного самообвинения, «арест», обрушивается на Иосифа К. как гром среди ясного неба. Правда, мельком потом говорится о том, что все, у кого есть процесс, прекрасны; но ни одна сцена романа не позволяет сказать, что они «избрали процесс». Нет, невидимый обвинитель указывает на того или иного человека по собственному произволу, и каким бы путём ни развивались дальше следствие и суд, они всегда приводят к неизбежному осуждению.

Свобода выбора неожиданно обнаруживается в другом – в том, как вести себя по отношению к процессу.

Художник объясняет Иосифу К., что он может избрать один из двух способов оттяжки приговора: мнимое оправдание или волокиту. При мнимом оправдании авторитетные свидетели должны заявить о невинности обвиняемого, и судья низшей инстанции выписывает справку об освобождении. «Если посмотреть со стороны, то может показаться, что всё кончено, процесс забыт, акты погибли и освобождение получено полностью. Посвящённому, однако, известно, что ничто не пропадает – у суда нет забвения. В один прекрасный день, никто этого не ожидает, какой-то судья берёт этот процесс в свои руки, выясняет, что обвинение не утратило силы, и назначает арест».⁸ И за этим повторным обвинением может последовать третье, четвёртое и так без конца.

Другой путь, «волокита, заключается в том, что процесс всё время задерживается в начальной стадии... Процесс длится, но именно поэтому обвиняемому не грозит приговор, и он как бы свободен. По сравнению с мнимым оправданием волокита тем выгодней, что обвиняемый избавлен от постоянной неуверенности. Ему не грозят аресты, не требуется максимального напряжения сил... Но процесс не может быть статичен, для замедления его нужны основания. Нужна видимость движения... Суть в том, чтобы время от времени, поскольку человек обвинен, являться к судье...

– В обоих методах общим является то, что они стараются избавиться обвиняемого от приговора.

– Но не дают возможности настоящего оправдания, – очень тихо сказал К., как бы стыдясь высказать эту истину.

– Именно так, – подтвердил художник».⁹

Таким образом, если допустить, что всякому человеку в сознательном возрасте знаком обвиняющий голос (если бы не был знаком, зачем бы люди с таким ожесточением отвергали его существование?), то выбор неведенья можно уподобить «мнимому оправданию», выбор веденья – «волоките», а невозможность достичь ни тем,

ни другим путем интеллектуального, эстетического, нравственного совершенства или абсолютной святости – неизбежному приговору в конце. Однако роман в целом допускает и другое толкование, а именно: ведающие – это те, у кого есть процесс.

У Камю в «Падении» та же драма бесконечного самоосуждения представлена в более конкретных образах. «День за днем – женщины, день за днем – благородные речи и блуд, будничней, как у собак; но каждый день я был полон любви к себе и крепко стоял на ногах... Порывшись в своей памяти, я понял тогда, что скромность помогала мне блистать, смирение – побеждать, а благородство – угнетать».¹⁰ Повод для «ареста» тоже вполне реален: девушка бросилась с моста, а обвиняемый прошёл мимо. Но сам «процесс» развивается так же неумолимо, как у Кафки. «Весь вопрос в том, чтобы как-нибудь ускользнуть, да, главное – вернуться от суда. Я не говорю – ускользнуть от наказания. Наказание без суда можно перенести. У него есть название, гарантирующее нашу невиновность, – несчастье. Нет, речь идёт о том, чтобы избежать суда, избежать придирчивого судебного разбирательства, сразу его прервать, чтобы приговор никогда не был вынесен... Я вам сейчас открою большой секрет, дорогой мой. Не ждите Страшного суда. Он происходит каждый день».¹¹

Однако, в отличие от Кафки, Камю знает и другую сторону выбора. Он знает, что от суда можно увернуться, и в «Чужом» создает образ полного торжества неведения в человеческой душе. Броня этого неведения позволяет герою романа, Мерсо, оставаться спокойным, ровным, бесчувственным в любой жизненной ситуации. Он остаётся внутренне безмятежным, отправляя мать в приют для престарелых, присутствуя на её похоронах, участвуя в грязноватых делишках своего приятеля, убивая араба, сидя в тюрьме, выслушивая свой смертный приговор. Ему непонятно, почему люди вокруг него так бурно реагируют на его поступки и на его отношение к ним. «Озлобление прокурора меня удивляло. Мне хотелось попытаться объяснить ему искренне, почти дружески, что я никогда ни в чём не раскаивался по-настоящему. Меня всегда поглощало лишь то, что должно было случиться сегодня или завтра».¹² Священнику, пришедшему его исповедовать, он пытается объяснить, что им не о чем разговаривать. «Мне только объявили, что я преступник. И, как преступник, я расплачиваюсь за своё преступление, а больше от меня требовать нечего...

– Вы ошибаетесь, сын мой, – сказал священник, – от вас можно потребовать больше. Может быть, с вас и потребуют.

– А что именно?

– Могут потребовать, чтобы вы увидели.

– Что я должен увидеть?»

И вот здесь Мерсо взрывается – первый и последний раз в продолжение всего романа. «Я заорал во всё горло, стал оскорблять его, я требовал, чтобы он не смел за меня молиться. Я схватил его за ворот. В порыве негодования и злобной радости я изливал на него всё, что всколыхнулось на дне души моей... Я был прав, и сейчас я прав, и всегда был прав. Я жил так, а не иначе, хотя и мог бы жить иначе... Я словно жил в ожидании той минуты бледного рассвета, когда окажется, что я прав. Ничто, ничто не имело значения, и я хорошо знал почему... Из бездны моего будущего в течение всей моей нелепой жизни подымалось ко мне сквозь ещё не наставшие годы дыхание мрака, оно всё уравнивало на своем пути, всё доступное мне в моей жизни... Что мне смерть «наших близких», материнская любовь, что мне Бог, тот или иной образ жизни, который выбирают себе люди, судьбы, избранные ими, раз одна-единственная судьба должна была избрать меня самого... Я задышался, выкрикивая всё это».¹³

С неожиданной энергией и ненавистью человек накануне смерти защищает самое дорогое, что у него было и остаётся в жизни, – своё право «не увидеть», непроницаемую пелену неведенья. И ему удается отстоять её, священник уходит ни с чем. Никакого земного возмездия в виде отчаяния и раскаяния, обещанного нам всеми великими моралистами, не наступает. «Как будто моё бурное негодование очистило меня от всякой злобы, изгнало надежду, и, взирая на это ночное небо, усеянное знаками и звездами, я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира. Я постиг, как он подобен мне, братски подобен, понял, что я был счастлив и всё ещё могу назвать себя счастливым».¹⁴

Счастье неведенья – вот что так боится потерять человек. Вот почему он медлит с выбором порой до последнего часа. И хотя жажда свободы постоянно толкает его к решительному шагу, он инстинктивно предчувствует, что ту свободу, предельным выражением которой является выбор веденья, «не уподобишь награде или знаку отличия, в честь которых пьют шампанское. О нет! Совсем наоборот, это повинность, изнурительный бег изо всех сил, и притом в одиночку. Ни шампанского, ни друзей, которые поднимают бокал, с нежностью глядя на тебя. Ты один в мрачном зале, один на скамье подсудимых перед судьями, и один должен отвечать перед самим собой или перед судом людским. В конце всякой свободы нас ждёт кара; вот почему свобода – тяжкая ноша, особенно когда у человека лихорадка, или когда у него тяжело на душе, или когда он никого не любит».¹⁵

Выбор веденья страшит человека.

Чтобы решиться на него, нужно мужество.

И не случайно проблема мужества занимает так много места в философии экзистенциализма.

Ницше можно назвать скорее поэтом мужества, нежели философом. Весь «Заратустра» – настоящий гимн мужественному выбору веденья, полный поэтических преувеличений, жестоких крайностей и несообразных порывов, доводящих автора до того, что он уже готов не делать разницы между личной доблестью воина и безжалостностью привилегированного надсмотрщика. Большого внимания заслуживает негативная сторона его мироощущения, отражённая в других работах, его ненависть к неведенью, о котором он знает почти всё. Это ему принадлежит афоризм, заслуживающий стать эпиграфом к любой книге о неведенье: «"Я это сделал", – говорит моя память. "Я не мог этого сделать", – говорит моя гордость и остаётся непреклонной. В конце концов память уступает». ¹⁶

«Хайдеггер в своей книге «Бытие и время», занимающей независимое философское положение, что бы ни утверждал сам Хайдеггер, описывает мужество отчаяния в философски точных терминах. Он тщательно разрабатывает понятия небытия, конечности, тревоги, заботы, неизбежности смерти, вины, сознания, Я, участия и т. п. После этого он анализирует явление, названное им *Entschlossenheit* (решимость). Это слово символизирует отпирание того, что было заперто тревогой, подверженностью конформизму, самоизоляции». ¹⁷ То есть оказывается не чем иным, как «решимостью» отказаться от неведенья.

Последняя цитата взята из работы протестантского теолога и философа Пауля Тиллиха «Мужество быть». В ней автор подробно прослеживает видоизменения понятия «мужество» в истории мировой философии и даёт собственное истолкование его, замечательное по ясности и глубине.

Основой человеческого бытия, по Тиллиху, является потребность самоутверждения. (В терминах метафизики – потребность сохранять и расширять царство «я-могу».) Угроза небытия вызывает в человеке тревогу. «Тревога есть такое состояние, в котором бытие оказывается осведомлённым о возможности небытия... Тревога и страх имеют один и тот же онтологический корень, но в действительности не являются одним и тем же... Страх, в отличие от тревоги, имеет определённый объект, который может быть обнаружен, проанализирован, который может быть атакован и побеждён... С тревогой всё обстоит иначе, ибо тревога не имеет объекта... Единственным объектом остаётся угроза как таковая, а не источник угрозы, потому что источником угрозы является небытие...

Небытие угрожает онтическому самоутверждению человека в относительном смысле судьбой, в абсолютном – смертью.

Оно угрожает духовному самоутверждению человека в относительном смысле пустотой, в абсолютном – бессмысленностью.

Оно угрожает моральному самоутверждению человека в относительном смысле виной, в абсолютном – вечным осуждением».¹⁸

Любой из трёх видов тревоги может довести человека до предельного состояния – отчаяния. Чтобы избежать отчаяния, чтобы противостоять ему, человеку необходимо мужество. Часто человек стремится конкретизировать источник тревоги, превратить её в страх перед отдельным объектом, ибо на преодоление страха нужно меньше мужества. Каждому знакомы ситуации, в которых люди, дрожавшие перед неизвестностью, вдруг обретали решимость и поддержку перед лицом конкретного врага.

«Вся жизнь человека может быть представлена как длительная попытка избежать отчаяния. И как правило, попытка эта удаётся. Крайние ситуации достигаются нечасто, а некоторые люди вообще не оказываются в них ни разу... Поэтому и тревога далеко не всегда приводит к отчаянию. Но редкие случаи, в которых отчаяние присутствует, помогают осветить существование в целом...

Различие трёх видов тревоги находит своё отражение в истории западной цивилизации. Мы можем видеть, что в конце античной цивилизации доминирует онтическая тревога (судьбы и смерти), в конце средних веков – моральная (вины и осуждения), в конце нового периода – духовная (пустоты и бессмысленности). Но какой бы тип ни оказывался преобладающим, остальные при этом тоже присутствуют, и порой весьма эффективно...

В наше время... больше всего боятся утраты смысла существования. Выражением этой ситуации является сегодняшний экзистенциализм. В нём смысл жизни сведён до отчаяния по поводу смысла жизни. Но куда это отчаяние является жизненным актом, оно позитивно в своей негативности».¹⁹

Для тех же, кто не имеет мужества встретить отчаяние лицом к лицу, есть иной выход.

Человек, не имеющий мужества, «бежит от своей свободы задавать самому себе вопросы и отвечать на них в такую сферу, где вопросы задавать не положено, а ответы на прежние вопросы ему навязываются извне... Ради того, чтобы избежать риска вопросов и сомнений, человек уступает своё право спрашивать и сомневаться... Он избавляется от собственной свободы ради того, чтобы избавиться от тревоги бессмысленности. Теперь он больше не одинок, он выбрался из экзистенциального сомнения, из отчаяния. Он «участвует» и утверждает посредством участия содержание своей духовной жизни.

Смысл спасён, но Я принесено в жертву. Причём принесено с фанатической агрессивностью. Фанатизм – характерная черта духовной капитуляции: он отражает тревогу, которую следовало победить, атакуя с непропорциональной яростью тех, кто не согласен,

кто приоткрывает своим несогласием те стороны духовной жизни фанатика, которые он должен подавить в себе. Подавляя их в себе, он должен подавлять их и в других. Его тревога вынуждает его преследовать диссидентов».²⁰

Такой способ преодоления тревоги (метафизика сразу опознает в нем выбор неведенья) Тиллих называет «коллективистским мужеством быть частицей».²¹

«Тревога сомнения и бессмысленности поглощается неокolleктивистским мужеством... Смысл жизни есть коллектив. Даже те, кто оказывается жертвами террора, не сомневаются в прочности принципов. То, что случилось с ними, это дело судьбы и смерти».²² Но коллектив (Мы) помогает справиться и с этой тревогой. Ибо он «заменяет человеку индивидуальное бессмертие... Жертвуя для него жизнью, он приобщается к жизни группы и через неё – к жизни универсума... Тревога судьбы и смерти поглощается мужеством быть частицей».²³

Изучив столь глубоко и полно все оттенки, приёмы и ухищрения неведенья, его спасительную силу, показав бездну отчаяния, на край которой может привести человека выбор веденья, Тиллих, однако, не склонен открыто признать свободы выбора между «быть собой» и «быть частицей», между веденьем и неведеньем. Он позволяет себе количественные характеристики мужества – больше, меньше, – признаёт, что индивидуальное мужество выше коллективистского, но вообще-то считает, что «сила самоутверждения вопреки (наличию небытия), то есть мужество быть, является делом (даром) судьбы... Им нельзя распоряжаться и его невозможно добыть, повинувшись распоряжениям. Выражаясь на языке религии, мужество – это благодать».²⁴

Всё содержание книги противоречит такому определению. В сущности, это определение отрицает свободу воли и создаёт теолого-детерминистскую модель: мужество закладывается в человека высшей силой, как топливо в ракету, и воспарить в духовной сфере ему удаётся ровно настолько, насколько хватит запаса «топлива».

Возможно, это недоразумение происходит от терминологического смещения. Ибо нельзя продолжать называть мужеством то, что в другом месте названо «духовной капитуляцией». Бегство, при котором в жертву приносится либо «я», растворяющееся без остатка в коллективе, либо мир, остающийся за стенами, воздвигнутыми вокруг себя «я» романтическим или невротическим, тоже не заслуживает названия мужества. Нельзя исходя из того, что человек живёт, не зная тревоги, утверждать, что у него есть мужество – такое, или другое, или третье. Нельзя отождествлять мужество с инстинктом самосохранения.

Неведомое страшит человека. Выбирающий веденье не отворачивается от него, а продолжает вглядываться в клубящийся перед ним мрак, ища в нём просвет. Выбирающий неведенье поворачивается к нему спиной, ослабляя гнёт тревоги, но лишает себя возможности прикоснуться к лучу, посылаемому свыше.

Мужество может проявиться лишь в том, что человек свободно выбирает открытость перед лицом тревоги, что он решается утверждать свое бытие вопреки доподлинной осведомленности об угрозе небытия онтологического, духовного, морального. Величие этого акта неразрывно связано с серьёзностью опасности, ибо тревога может довести избирающего веденье до полного отчаяния, до духовного краха и физического самоуничтожения, до самоубийства, – мы знаем тому немало примеров. Но уж если избирающему веденье после всех искушений и ужасов, после «страха и трепета» даруется преодолеть отчаяние, если в последний момент ангел останавливает руку, занёсшую нож над единственным сыном, если спустившемуся в ад возвращают Эвридику, если голос неба отвечает зывающему из праха Иову, то такое чудо ничем другим, кроме «благодати Божьей», объяснено быть действительно не может.

Глава 28. МЕТАФИЗИКА ВТОРГАЕТСЯ В ПОЛИТЭКОНОМИЮ

Развитие производительных сил в доступной нашему взору истории человечества можно представить в виде последовательного покорения волей Мы более низких уровней воли: животного, растительного, неорганического (камень, металл), энергетического (водяной пар, бензин, электричество, атом). Движение по этому пути, переходы от одного этапа к другому могли осуществляться только при расширении и укреплении сферы представлений инабстрактно, то есть при очередных завоеваниях выбора ведения.

Так, уже переход от охоты и собирательства к мало-мальски организованному скотоводству требовал от людей представлений о будущем, достаточно прочных для того, чтобы они могли становиться мотивом к сегодняшним трудам по охране и кормлению скота, настолько устойчивых, что они преодолевали непосредственный голод, удерживали человека от того, чтобы в трудную минуту насытиться, перерезав последних животных, а туманное завтра предоставить его собственной судьбе.

Еще более сложных представлений инабстрактно требовал переход от кочевого скотоводства к оседлому земледелию. Надрываться сейчас, корчуга лес, распахивая целину, копая оросительные или осушительные каналы, для того, чтобы когда-то, много дней спустя получить, если не случится засухи, пожара или наводнения, ничтожный (по нынешним понятиям) урожай, – заставить себя работать при таких обстоятельствах мог только человек необычайно чуткий к *потом*, то есть всерьез выбравший ведение. При этом не надо забывать, что большинство других членов Мы, как это всегда бывает, всей душой тяготея к неведению, к остановке на уже достигнутом, должны были встречать его выбор неприязнью и презрением. Хотя переход этот происходил, как правило, в эпохи, не имевшие письменности, до нас все же дошли некоторые отголоски такой ненависти: так, один из законов древней Набатейской конфедерации кочевников-арабов объявлял уголовным преступлением посев хлеба, постройку дома или посадку дерева. Юлий Цезарь также рассказывает о законах древних германцев, направленных на то, чтобы люди «в увлечении оседлой жизнью не променяли интереса к войне на занятия земледелием».¹

Следующий этап, овладение неорганической волей – камнем, металлом – требовал еще более сложной цепи абстрактных представлений и почти всюду был связан с переходом Мы на уровень, сохраняющийся и до наших дней – оседло-государственный. Разви-

тие государственных форм жизни, включавшее в себя замену натурального товарообмена денежным, укрепление права собственности, усложнение производства и тому подобное, тоже оказывалось возможным только при расширении сферы представлений инабстрактно. (ПМ-237-38)

Трудно сказать сейчас, к чему приведет происходящее на наших глазах (точнее – последние полтора века) овладение еще более низким уровнем воли – энергетическим, энергией; но никто не станет спорить с тем, что главное действующее лицо в этом процессе – наука, ученые, то есть люди, превзошедшие всех прочих в рациональном ведении и претерпевающие гонения и преследования во всех Мы, где и когда выбор неведения обладает значительной силой.

Победа выбора неведения может остановить развитие производительных сил на любом этапе. Еще в прошлом веке Африка, Австралия, Южная Америка, Полинезия представляли из себя настоящий музей таких этнических застылостей на всех ступенях, начиная с самых примитивных и кончая земледельческо-ремесленными сообществами. На киноплёнку засняты люди, добывающие огонь трением, и люди, не знающие колеса. На уровне государственного Мы такая остановка также в принципе возможна, и для крупных государств она долго может оставаться безнаказанной – Древний Египет, Китай, Византия. Но, чем ближе к нашим дням, тем труднее государственным Мы оставаться в абсолютной изоляции и сохранять неподвижность. Входя в контакты с другими государствами, каждая страна невольно вовлекается в экономическое или военное соперничество, которое является испытанием свободы на уровне Мы.

К сожалению, в сфере военной выбор ведения отнюдь не гарантирует Мы абсолютного перевеса. В войне все решает высвобождающаяся энергия осуществления свободы, а она не зависит от уровня развития цивилизации. Что же касается технической оснащенности армий, то Мы, сильно поотставшие на пути прогресса, с поразительной жадностью заимствуют у развитых государств сокровища технических знаний, добытые теми через подвижничество ведения, и затем обрушивают на них свою военную мощь. Норманны покупали стальное оружие у французов и затем опустошали их побережья и русла рек; монголы заставляли китайских инженеров строить осадные и стенобитные машины; пушки, помогшие туркам одолеть неприступные стены Константинополя (1453), были отлиты сербом; Россия, научившись при Петре Первом у Европы корабельному и пушечному делу, в XVIII веке решительно вторгается на европейскую политическую арену; и в наши дни полуграмотный Китай, освоив с помощью эмигрантов из Америки термоядерное оружие, может угрожать всему миру.

Другое дело – соперничество в чисто экономической сфере. (ПМ-238-39)

Здесь все преимущества выбора ведения, торжества представлений инабстрактно, становятся очевидными инконкрето. Ибо что нужно для того, чтобы государство богатело и процветало не за счет внешних грабежей, а за счет развития своих внутренних ресурсов? Для этого необходимо, чтобы трудовой народ за абстракцию будущего вознаграждения работал больше и результативнее, чем под угрозой конкретной палки или голода. Нужно, чтобы в торговцах абстрактно честности пересиливало конкретно нечестной прибыли. Чтобы промышленник больше дорожил репутацией фирмы, чем мелкими выгодами некачественного производства. Чтобы администраторы предпочитали абстрактно личного достоинства и общественной пользы конкретно взятки. Чтобы финансисты могли перейти от конкретно наличных денег к абстрактно банковского дела. Чтобы инженеры и ученые не колебались в выборе между абстракцией истины и конкретно своего престижа или оклада. И чтобы каждый человек, в какой бы сфере он ни работал, был готов стерпеть страдания сравнительной несвободы, которая немедленно обнаружится в неодинаковости достигнутого им и другими, чтобы он преодолевал их творческим усилием, а не искажением тех или иных представлений о действительности.

Когда выбор ведения начинает одерживать победу в каком-то Мы, народ этот рано или поздно взламывает внешние преграды политических порядков или иноземного господства и устраивает свою жизнь таким образом, чтобы законы стояли на охране принципов ведения – политической свободы, равноправия, гласности, права собственности, веротерпимости. Но когда соседи, видя богатство и процветание этого народа, попытаются перенять внешним образом его хозяйственные приемы, когда власть попытается сверху насадить то, что может произрасти только изнутри, она всюду встретит неодолимые трудности.

Особенно характерно это для судеб России, где правительство на протяжении всей истории столько раз пыталось подхлестнуть государство и заставить его догнать Европу, но чаще всего вообразило при этом, что можно обойтись одними административными мерами, оставив торжество неведения во всех сферах жизни непоколебленным, и получало каналы, по которым не текла вода, бумажные деньги, не имевшие реальной цены, картофель, насаженный с помощью карательных экспедиций, промышленность, не выдерживавшую конкуренцию с Западом даже на внутреннем рынке, и тому подобное.

Убедить какой-нибудь народ, что выбор ведения, то есть предпочтении, отданное абстракции перед конкретностью, может принести желанное материальное благополучие, невозможно. Но, может быть, это и к лучшему. Ибо выбор ведения, совершаемый из корыстных соображений, утратил бы тот ореол чистого устремления к высшей свободе, каким он окружен сейчас. Пусть уж все идет по-прежнему: пусть, по выражению Чаадаева, лишь народы, борющиеся за обладание истиной, обретают попутно свободу и благосостояние.

В наши дни понятия *экономический расцвет* и *военная мощь* заметно приблизились друг к другу. Можно сказать, что в военных столкновениях двадцатого века соизмерялись энергии осуществления свободы не только сражавшихся в окопах, но и работавших в тылу. А так как любой прогресс в экономике возможен лишь при отвоевании выбором ведения каких-то прав внутри Мы, то, теоретически, возросшая важность экономических факторов должна обнадеживать: казалось бы, народы из одной боязни военной слабости должны поспешить с выбором ведения, во всяком случае прекратить затаптывание тех слабых ростков его, какие есть в любой нации. Однако на практике мы видим совсем иное: во многих странах выбор неведения празднует победу, изыскивая любые пути для того, чтобы компенсировать в военной сфере провал экономики, который он неизбежно несет с собой. Ведь оружие можно покупать в развитых странах или добывать его дипломатической игрой, как это делают африканские и латиноамериканские военные диктаторы; усиленная эксплуатация, поддерживаемая истеричной пропагандой, давала возможность советскому блоку успешно развивать военную промышленность; Япония, в которой многие завоевания ведения вряд ли уцелели бы, оставшись без охраны американских авианосцев, издавна скупает технические идеи во всем мире.

Примером особенно опасного и изуверского способа обхода выбора ведения явились сталинские «шарашки». Собрать ученых и инженеров, то есть людей с высоким врожденным уровнем свободы, а следовательно опасных своей склонностью к выбору ведения, – собрать их в научно-исследовательские и проектные концлагеря, оставить им единственную возможность к осуществлению свободы – профессиональную деятельность, и получить тем самым всю силу свободной научно-технической мысли без тех неудобств, какие всегда причиняют власти ее носители, – такой далеко идущей победы выбор неведения до сих пор не имел. Произошло именно то, о чем писал Владимир Соловьев: «Господство низших сил души над разумом в отдельном человеке и господство материального класса над интеллектуальным суть два случая одного и того же извращения и бессмыслия».²

То, что затея безусловно удалась, что люди, которые могли обходиться без хлеба, но не без осуществления свободы, с энергией работали не только над решением оборонных задач, но и после войны практически над любыми заданиями, вплоть до создания систем подслушивания, шпионажа и слежки за инакомыслящими, – все это должно вселить тревогу в сердца выбравших ведение, даже если они живут пока в условиях благоприятных, должно показать им, что все, чего их творчество достигает в мире явлений, немедленно берется на вооружение *всеми* и вполне может быть использовано неведением для того, чтобы их же самих превратить в послушных, дипломированных рабов. Тот, кто осознает серьезность этой угрозы, осознает одновременно и серьезность своей главной обязанности перед даром свободы: не позволять уродовать свой выбор, не допускать, чтобы свет познания, дарованный тебе и принятый тобой, искусственно направлялся кем-то только в одну какую-то сторону, вниз, на низшие воли, а светил бы повсюду, куда он может достигнуть, – пусть даже страдания, причиняемые познанным, кажутся нестерпимыми. (ПМ-240-41)

В этой главе практическая метафизика затрагивает проблемы, до сих пор бывшие предметом изучения другой науки – политэкономии. Ведь *капитал* это ничто иное как финансовое я-могу человека, так что денежная единица, для ограниченных задач, может послужить одновременно единицей измерения «площади» царства я-могу в мире явлений. «Ты можешь столько, сколько у тебя есть денег» – такой принцип, действительно, можно принять определяющим, во всяком случае для многих капиталистических обществ XX века. Исследуя поведение обладателя капитала, традиционная политэкономия тем самым исследовала волю по отношению к ее я-могу, и выводы, к которым она приходила, оказываются нередко частными выражениями законов практической метафизики.

Возрастание прибыли действует на держателя капитала в соответствии с законом возрастания энергии осуществления при усилении фактора обретения (прибыль – денежное выражение обретаемого, а выше уже говорилось об универсальности денег как обретаемого). Прибавочная стоимость – то избыточное количество трудовой энергии, которое Мы отнимает у человека в свою пользу, то есть эксплуатация, осуществляемая через посредство рабовладельца, сеньора, фабриканта или государственного чиновника. Прогрессивность капиталистической конкуренции – выбор ведения о сравнительной свободе в производстве одного и того же товара. Ослабление капитализма при торжестве монополий – победа неведения, включающая возможность сравнения и победы наиболее прогрессив-

ных методов производства, то есть возможность возрастания суммарной свободы Мы. Наконец, неизбежная агрессивность капитализма на первых порах есть результат стремительного расширения нижних (экономических) границ всех я-могу, чреватого высвобождением огромной энергии осуществления. А главное, сам принцип исследования социальных законов, проявляющихся в истории, есть ничто иное как признание политэкономией самостоятельного бытия воли Мы.

Неравенство, устанавливаемое между людьми денежным капиталистическим принципом, конечно, оказывается в большем соответствии с врожденным неравенством воли, чем кастово-сословное деление, ибо добывание и удерживание денег требует от человека энергии и способностей, для получения же титула достаточно взять на себя труд родиться. Однако полного соответствия нет и здесь: деньги, капитал могут быть переданы по наследству, подарены, украдены, и таким образом всегда есть возможность, что посредственная воля получит значительное социально-финансовое я-могу. Поэтому социализм, упраздняющий частную собственность, подразумевающий соответствие индивидуального я-могу исключительно личным заслугам перед обществом, теоретически выглядел более прогрессивной формацией, приводящей внешнюю форму Мы в большую гармонию с метафизическими свойствами индивидуальных воли. Однако все теоретические преимущества социализма, соблазнявшие так много незаурядных умов, могут проявиться лишь в Мы, достигшем таких высот ведения (или зрелости), какими пока не может похвастаться ни одно реально существующее Мы. Наоборот, победа социализма во всех странах оказалась возможной только в союзе с принципом неведения, и это привело к таким явлениям, которые никак необъяснимы с точки зрения марксистской политэкономии, но вполне согласуются с постулатами практической метафизики.

Главный источник богатства – труд людей, труд умственный и физический, – с этим спорить не приходится. Однако по отношению к свободе характер труда, характер участия человека в экономико-производительной деятельности может меняться в очень широком диапазоне: от работы исключительно по принуждению (рабство) до деятельности абсолютно добровольной (свободное предпринимательство). Чем ближе ко второму полюсу, тем человеку легче увидеть в труде осуществление свободы и тем, следовательно, больше энергия, вкладываемая им в свой труд. Раб создает себя абсолютно несвободным, поэтому его энергия самая низкая; лишь в простейших трудовых процессах, где легко можно осуществлять контроль за выполнением и жесткий надсмотр, рабский труд оказывался рен-

табельным. Любое усложнение производственного процесса, требующее от работника самостоятельных решений, уже несовместимо с рабским трудом, ибо оно потребовало бы слишком большого числа надсматривающих.

Чем развитее производственно-экономическая структура общества, тем эффективнее оказывается в ней свободный труд. Расцвет индустриального капитализма в двадцатом веке показал это как нельзя лучше. Однако он же обнаружил и все издержки и опасности, связанные со свободой. В развитом промышленном обществе с высокой степенью разделения труда деятельность всех людей оказывается так тесно переплетенной, что временный отказ от этой деятельности какой-то группы людей (а свобода подразумевает, конечно, и такую возможность) расстраивает весь организм. Если трудовой народ лишен обретаемого – достаточной платы за труд, его энергия резко снижается, и мы имеем расстройство местного порядка – забастовку (открытую или скрытую); если же обретаемого – прибыли – лишен предприниматель, его энергия также сходит на нет, и налицо общее расстройство – кризис. (ПМ-242-43)

Исследуя лишь *законы*, управляющие обществом, и исключая *свободу воли*, Маркс был абсолютно последователен, полагая, что при господстве стихии рынка, кризисы промышленные и финансовые неизбежны; ибо, действительно, невозможно себе представить, чтобы энергия осуществления свободы в труде у всех групп людей оставалась одной и той же, без подъемов и спадов, приводящих к опасным неравномерностям. Но историческая реальность двадцатого века показала, сколь опрометчиво было скидывать со счетов свободу воли. Ибо именно свобода воли, явленная в выборе ведения в тех государствах, где этот выбор сделал новые завоевания, воплотившись в разумную политическую силу, разрушила многие предсказания политического детерминизма, свела к минимуму действие многих недугов капиталистического способа производства, казавшихся в прошлом смертельными.

Так, вред монополий был ограничен антитрестовскими законами; обузданы аппетиты профсоюзов; национализированы те отрасли промышленности, которые в некоторых небольших странах слишком рискованно было оставлять в частном секторе; в масштабах крупных корпораций, как это описано Гэлбрайтом, вводится планирование; обнаружены огромные резервы внутреннего рынка, что позволяет снизить угрозу кризисов и военную агрессивность (не нужна более пресловутая погоня за рынками сырья и сбыта). И та же свобода воли, выразившаяся в выборе неведения и его победах, свела на нет все теоретические преимущества социализма.

Социализм успешно решает только одну задачу – сохранение цельности и стабильности экономической системы в условиях

жизни развитого индустриального общества. Однако решает он ее ценой резкого снижения всех экономических показателей. Ни одна социалистическая страна не могла бы конкурировать на международном рынке продуктами своего производства, если бы продавала их по себестоимости. В большинстве случаев соцстраны не могут удовлетворить даже внутренний рынок – спрос почти всюду превышает предложение, что выражается в вечных очередях, в нехватке самых необходимых продуктов и товаров, в оседании денег у населения. Причем, занятость почти поголовная: все люди напряженно и помногу работают, а дело не движется с места.

Какие же законы практической метафизики обуславливают эту невеселую картину?

Прежде всего: резкое снижение индивидуальных энергий осуществления свободы у всех волей, вследствие уничтожения двух первых факторов – свободы (работаю, чтобы только прокормиться) и надежды-невероятности (как ни работай, больше не получишь). Плановое производство, конечно, дает некоторый выигрыш, спасая народное хозяйство от анархии рынка и всех связанных с этим потерь; но выигрыш этот оказывается недостаточным для покрытия гигантских потерь, проистекающих от уничтожения свободы предпринимательства. Твердые оклады рабочим и служащим гарантируют более или менее спокойное существование, избавляют от страха безработицы и хлопот забастовочной борьбы; но снимая фактор надежды-невероятности, они сводят энергию осуществления в труде к действию только обретаемого – зарплаты, денег. А как работают люди в тех учреждениях, где зарплата не зависит ни от качества, ни от количества их труда, можно узнать из бесчисленных фельетонов, печатаемых в газетах социалистических стран каждый день, но ничего не меняющих в сложившемся порядке вещей.

Абсолютно правильный тезис Маркса (известный, впрочем, и задолго до него) о вреде и опасности монополий был принят к сведению как раз многими капиталистическими государствами; в социалистических же странах государство стало главным и единственным монополистом во всех сферах производства, утратив тем самым какую-либо возможность обеспечить естественный прогресс производства изнутри, снизу, оставив лишь административные рычаги, управление сверху. Но хотя правительства этих стран весьма озабочены развитием экономики и уделяют ей главное внимание, они повсеместно пытаются развить ее, не затрагивая торжества принципа неведения, который и сводит на нет все их усилия на любом направлении.

Та часть руководства в социалистических странах, которая склоняется к предоставлению принципу ведения каких-то прав, не имеет в руках даже самого необходимого средства для измерения

экономических величин – денег, которые соответствовали бы стоимости, реальной трудоемкости товаров. В сфере индустриального производства любое предприятие-поставщик в конечном итоге само назначает цены на свою продукцию, и предприятие-покупатель с готовностью включает эти цены в себестоимость своих товаров, ибо оно знает, что эти цены ему придется отстаивать не в рыночной борьбе, а в кабинетах министерств, где действуют вежливые и доброжелательные чиновники, а не «звериные законы рынка». (ПМ-244-45)

Таким образом, неведение, проявляясь в произволе ценообразования, приводило к тому, что советская Россия вынуждена была покупать пшеницу за границей в то время, как по всей стране крестьяне кормили купленным в магазинах хлебом домашний скот; проявляясь в сфере подбора руководящих кадров, создавало условия, при которых хозяйственной жизнью управляли не столько самые способные, сколько самые послушные; в отказе от конкуренции – к резкому снижению качества продукции; в отказе от частичной безработицы – к резкому снижению качества труда; в полной централизации управления – к чудовищному развитию бюрократии и волокиты; в отказе от гласности – к тому, что всему этому не предвиделось конца.

Но если молодые силы, поднимающиеся в каждом социалистическом Мы при ослаблении внутреннего террора, захотят наконец преодолеть экономическое отставание, они рано или поздно должны понять, что начинать надо не с материи, а с духа, что прагматизм политэкономистов оказался худшим пророком в вопросах социальных, чем трансцендентализм метафизиков, полагавший, как писал Эрнест Ренан, что «все социальные революции человечества устремляются, в сущности, к царствию Божьему. Но увлекаясь материализмом грубым и домогаясь неосуществимого, то есть построения благополучия всеобщего на мерах чисто административных и экономических, попытки современных нам социалистов останутся бесплодными... покамест не поймут они того принципа, что для обладания землею надобно прежде всего от нее отказаться».³ (ПМ-246)

Если естественные царства я-могу на протяжении человеческой истории неуклонно расширялись благодаря техническому прогрессу, то социальные я-могу вовсе не следовали за ними в этом отношении – на каждом этапе и в каждом Мы они то расширялись, то снова сужались, не следуя в своих изменениях какому-нибудь правильному чередованию или ритму. Поэтому социальное я-могу гражданина, например, Афинской республики по отношению к границам-запретам представляется гораздо более обширным, чем социальное я-могу современного грека, когда он оказывался под властью

военной хунты, хотя по отношению к естественным границам оно, конечно, уступало я-могу последнего. На это отсутствие поступательного движения гражданской свободы и указывают скептики, в запальчивости доходящие до утверждения, что никакого прогресса в истории человечества вообще не замечается. Спрашивается: от чего зависит, с чем связано расширение или сужение социальных я-могу в тот или иной исторический период?

На пути развития Мы можно заметить неуклонное возрастание не свободы, а другого свойства: численности. От семьи к роду, от рода к племени, от племени к государству – количество членов Мы неизменно увеличивается. Но чем больше здание, тем прочнее должен быть материал, из которого оно сделано; чем обширнее Мы, тем крепче границы-запреты, являющиеся материалом, связующим Мы. Для прочной связи родового Мы оказывалось достаточно небольших сужений индивидуального я-могу двумя-тремя обычаями и общими суевериями; оттого-то североамериканские индейцы, жившие на очень низкой ступени цивилизации, могли быть проникнуты гордым духом свободы и собственного достоинства; и оттого-то так труден и долговремен был даже переход от родовой к племенной форме Мы: ведь он требовал резкого упрочнения границ-запретов, то есть сужения индивидуальных свобод; и если какой-то род слишком долго держался за блага этой индивидуальной свободы, он скорее всего и оказывался теми могиканами, которым не суждено было существовать далее. (ПМ-247)

Пройдя период совершенствования, то есть расширения социальных я-могу на племенной стадии, Мы снова подходило к необходимости качественного расширительного скачка – перехода к государственной форме, который снова был повсюду связан с резким сужением индивидуальных свобод. Вследствие своих огромных захватов монголы или арабы очень быстро превращались из вольных, чутких к малейшему ущемлению личной свободы, кочевников в членов необъятного тоталитарного государства. На уровне государственного Мы расширение тоже всегда таит в себе опасность утраты свободы: Римская республика на определенном этапе своей экспансии переродилась в монархию; русские княжества и города в процессе объединения утрачивают все свои вольности и склоняются перед абсолютистским началом Москвы; расширение Британской империи на полтора века задержало прогресс английской демократии. Любое порабощение не проходит для победителя даром – в каком-то смысле он сам оказывается привязанным к концу той веревки, которой связал побежденного. Там же, где, при расширении численности, победители слишком горды, чтобы пойти на сужение границ-запретов, там Мы оказывается не в силах сохранить свою целостность и

разваливается, как развалилась империя Александра Македонского после его смерти.

Итак, критерий прочности, цельности и силы Мы требует увеличения численности населения и сужения социальных я-могу. С другой стороны, каждая индивидуальная воля стремится к их расширению. Наподобие того, как авиационный конструктор вынужден одновременно удовлетворять противоречащим друг другу требованиям легкости и прочности машины, так и силы, созидающие Мы, действуют под давлением двух противоположных устремлений каждой души, двух интенций – к максимальной индивидуальной свободе и к максимальному могуществу и спаянности Мы. И так же, как конструктивное решение самолета определится, в конечном итоге, прочностью и легкостью сплавов, находящихся в распоряжении конструктора, так и форма Мы будет обусловлена качеством «материалов», его образующих, то есть людей и их способности соблюдать границы-запреты. Но поскольку границы-запреты ограничивают волю Я через систему представлений инконкрето или инабстрактно, мы снова приходим к *решающей роли выбора* в деле возрастания или уменьшения гражданской свободы внутри Мы.

Прочная граница-запрет может быть воздвигнута в сознании выбравшего неведение лишь страхом немедленного и неизбежного наказания; для выбравшего ведение достаточно угрозы позора. Неведающий станет трудиться для нужд Мы лишь при виде надсмотрщика с конкретной плетью или под нажимом голода; ведающий исполнит свой долг и в кругосветном плаваньи. Неведающий обязательно должен знать конкретного начальника, которому он обязан подчиняться; ведающий способен подчиниться абстракции закона. Выбор ведения – единственный путь для любого Мы в сторону свободы; торжество неведения – неизбежная дорога к тоталитарности, деспотизму, несвободе. Обычная картина деспотизма: дурные законы, нечестные исполнители их, низкое правосознание народа; цельность Мы держится на огульном стеснении всех воль в очень узких социальных я-могу при помощи силы. Так как абстрактные представления весьма слабы, законы практически имеют очень мало значения – все решает произвол местных начальников, которые знают, что, покуда они свято выполняют волю начальников вышестоящих, им будет прощаться любое лихоимство, любая неправда. «Чернь, – писал Платон, – убегая от дыма подчинения, налагаемого людьми свободными, попадает в огонь рабов, служащих деспотизму, и, вместо излишней и необузданной свободы, подчиняется рабству тягчайшему и самому горькому».⁴

Границы-запреты при деспотизме, хотя и весьма узкие, не могут похвастаться отчетливостью – благодаря своей зависимости от злой или доброй воли исполнителя они могут сильно колебаться в

ту или иную сторону. Поэтому власть иногда и признает, что граница заужена «с запасом», но боится расширить ее, ибо знает, что колебания границы, прежде безопасные, после расширения легко могут пересечь критическую точку. Если же военные или экономические соображения побуждают власть последовать примеру процветающих соседей и все же расширить некоторые границы-запреты, она часто с испугом обнаруживает, что здание начинает трещать по всем швам, и поспешно кидается назад; наступают периоды реакции – Калонн после Неккера во Франции 1780-х, Аракчеев после Сперанского в России 1810—20-х, Распутин после Витте (1906—1916).

Трудно указать пример какого-либо правительства, которое сумело бы самостоятельно выбраться из этого заколдованного круга. С другой стороны, революционерам и ниспровергателям, искренне жаждущим расширения социальных я-могу, нетерпение не позволяет увидеть, что для той свободы, какой они хотят для своего Мы, народ должен пройти еще очень долгий путь в сторону выбора ведения; в противном случае дарование ему этих свобод приведет лишь к анархии и развалу Мы. Зато если выбор ведения достиг значительных завоеваний в духовной жизни народа, старые рамки окажутся тесными и затрещат под напором изнутри. Стоит этим завоеваниям увенчаться еще и политической победой, как новые, гораздо более широкие границы-запреты установятся в абстракциях конституции и законов не менее прочно, чем они держались в конкретности деспотической власти, осуществляемой феодальной, чиновничьей, церковной или партийной иерархией. (ПМ-248-49)

В животном мире жёсткая основа организма может находиться внутри в виде скелета или снаружи в виде панциря; так же и Мы могут обеспечивать свою прочность внутренним правосознанием не менее успешно, чем внешним стеснением всех воль. Причем «ракообразные» Мы так же малоподвижны, неповоротливы, но в то же время и трудно уязвимы, как их аналоги в животном мире. Эволюция в природе пошла в основном по другому пути – будем надеяться, что и развитие Мы свернет, в конце концов, с этой заводящей в тупик дороги.

История любого народа, осознанная как борьба двух противоположных выборов, превращается из простой цепи фактов в самую захватывающую драму – драму, которая продолжается и сейчас, на наших глазах, и конец которой никогда не будет написан. Не только спартанский царь Леонид в Фермопилах, Брут в курии сената, Ян Гус, едущий на Константинопольский собор, Томас Мор в темнице, князь Курбский на пути в Литву, Джефферсон за проектом Декларации независимости, Достоевский на каторге или Мандельштам в воронезской ссылке становятся героями этой драмы, но и каждый их

безданный современный попадает в список ее действующих лиц, и каждое поле битвы, замок, площадь, таверна, мастерская, суд, храм, пещера, становятся местом действия.

Как всякий великий художник, история-драматург никогда не повторяет своих сюжетов, но под множеством красочных обликов показывает нам одну и ту же сокровенную суть: как мечется душа человеческая между безжалостным светом ведения и покойным сумраком намеренного неведения, от бремени свободы к безответственности рабства.

Причудливыми путями проходят народы этот важнейший искус, но никогда моменты национального пробуждения, подъема не бывают только благими – почти всегда в них присутствует и трагедийное начало. Там, где выбор ведения начал побеждать под видом протестантизма – трагедия открытой распри и междоусобицы, как в Германии, Франции, Нидерландах XVI–XVII веков. Там, где он выступил под видом революции, – трагедия перерождения в неведение и начало террора, как во Франции 1792–94. Там, где выбравшие ведение держались слишком страстно за свободы отдельных городов, – трагедия национальной раздробленности и вечного порабощения, как в Италии XVI–XIX веков. Там, где выбор ведения зашел слишком далеко в религиозной одухотворенности, – трагедия полного уничтожения и прекращения политического существования, как в древней Иудее. Наконец, всюду, где выбор ведения побеждает резким скачком, происходит массовое расширение границ индивидуальных социальных я-могу, чреватое высвобождением энергии, и следовательно, войной. (ПМ-250)

Если в сфере экономической победа выбора ведения всегда приносит наглядные плоды материального процветания, то в сфере политической она может принести и не менее наглядные плевелы раздоров, зла и мучений. Поэтому-то власть, подавляющая всякие всходы ведения, чаще всего находит у большинства, жаждущего покоя, молчаливую поддержку. Выбор ведения – не этическая категория, и носитель его вовсе необязательно добр, поэтому многие проявления его часто оказываются под огнем выдающихся моралистов. Устремляясь в бесконечность, ведение всегда прорывает сети церковной догматики, поэтому и церковь, как правило, жестоко преследует его. Принцип ведения можно искоренять именем Бога, именем Добра, доводами разума, грубой силой; и противопоставлять всему этому в мире явлений и слов он может лишь другое понимание Бога и добра, другие доводы, другую силу. Но истинное бытие его все же не там, не в шумной борьбе, а в невидимом мире души, и именно оно наполняет внутренним светом столь многие страницы драмы-истории.

Рассуждая так долго о различных проявлениях выбора, мы рискуем впасть в отождествление выбора с его проявлением. Напомним себе: выбор может внешне никак не проявляться, как это бывает в Мы с полным торжеством неведения, и однако это не значит, что там нет людей, избравших ведение. Два человека могут с одинаковым выражением лица стоять в толпе, окружающей костер, на котором жгут очередную «ведьму», но один будет восклицать про себя – «какой ужас! когда же это кончится?», другой – снимать естественную боль сострадания, взвинчивая в душе ненависть к жертве: «так и надо, всех их надо сжечь, ведьм проклятых, чтоб не пили кровь младенцев, не наводили засуху». Двое придворных могут одинаково безмолвно склоняться перед разбушевавшимся повелителем, но один будет с тоской думать – «я покорствую произволу ничтожества», другой – «я верный слуга лучшего из государей». Среди слушавших речь современного партийного олигарха найдутся такие, у кого хватит мужества сознаться, что они аплодируют самому наглому вранью, и такие, которые сумеют убедить себя, что все это во многом верно, а ложь, которая есть, необходима из высших соображений. (ПМ-251)

И разница между этими двумя не так мала, как может считать сторонник решительных действий: тот, кто принимает на себя мучения, связанные с добровольным знанием, *незабыванием*, делает невидимое, но важнейшее усилие, первый шаг, необходимый для того, чтобы выбор ведения мог, в конце концов, проявиться в жизни Мы. Ведь это в нем и в таких, как он, выбор ведения будет храниться, постепенно накапливаясь, много поколений, прежде чем почувствует свою силу и откликнется громко и ясно на призыв какого-нибудь смельчака, проявится в переменах в жизни Мы; а без этой невидимой, но важнейшей духовной работы каждого человека любой самый пламенный и мудрый призыв останется гласом вопиющего в пустыне.

При достижении политической победы выбор ведения прежде всего спешит учредить главнейшие гарантии своего бытия – гласность и свободу слова; торжество выбора неведения воплощается всегда в создании специальной организации по борьбе с малейшими ростками ведения – инквизиция в католическом мире, Звездная палата в Англии времен Стюартов, Третье отделение у Романовых в России XIX века, гестапо, КГБ, «савак» и им подобные – в веке XX. Разница между общественными укладами, основанными на ведении или неведении, получается столь разительной, что трудно сохранять равнодушную объективность и полагать вместе с известной пословицей, что «всякий народ заслуживает то правительство, которое он имеет». Если же пословица все же права, и нам нельзя осуждать на-

род за политическую незрелость, то есть за отставание на пути выбора ведения; если правильное считать это не виной, а бедой, на преодоление которой он мог бы направить свои духовные силы, то уж никак нельзя сохранять такую же терпимость по отношению к внешним действиям этого Мы. Когда несозревший для свободы народ, за счет своей многочисленности, захватывает, поработывает, и подчиняет своим порядкам народ, в котором высокий уровень зрелости мог бы обеспечить жизнь по законам свободы, это уже явная вина: вина Испании перед Нидерландами (XVI век), Турции – перед сербами и греками (XVIII–XIX), Австрии – перед Италией (XVIII–XIX), России – перед Восточной Европой (XIX–XX). Однако судить за эту вину пока некому. Международное право еще лишь младенец в колыбели, и неизвестно, вырастет ли оно когда-нибудь в реальную политическую силу, способную обуздывать империалистическую жажду к захватам.

Выбор ведения, обуславливая перевес представлений инабстрактно над всяческой наглядностью, развивал и совершенствовал формы Мы, переводя его все выше со ступени на ступень. В наши дни выбор ведения, проявляясь в религиозных, этических и социальных устремлениях, силится перейти последнюю возможную грань – от Мы государственного к Мы всечеловеческому. Неизвестно, сколько времени требовалось на предыдущие переходы, но то, что шесть тысяч лет существования государственного Мы не подвели еще нас к следующей ступени, – это можно утверждать с уверенностью.

Несмотря на внешнее единообразие, приобретаемое сейчас всеми крупными городами в разных странах, внутреннее несходство, разрыв на пути ведения не только не уменьшается, но становится еще шире. Человечество так растянулось на этом пути, что объединить его можно было бы лишь потребовав огромных экономических и моральных жертв от ушедших вперед и невероятных нравственных и физических усилий от отставших. Развитие средств связи и информации приводит не к тому, что Мы с различной степенью выбора ведения начинают лучше узнавать друг друга, а к укреплению взаимной неприязни, подозрительности, барьеров и перегородок. Прогресс техники выливается в культ военной промышленности, в гонку вооружений; так как Мы с победившим неведением неизбежно отстает в экономическом развитии, оно пытается компенсировать это отставание, укрепляя внутренний деспотизм, который позволил бы ему усилить эксплуатацию и бесконтрольно направлять львиную долю национального продукта на военные нужды. Успехи просвещения, ликвидация неграмотности, вопреки всем упованиям гуманистов прошлого, обернулись тем, что слово –

это главное оружие ведения – оказалось вырванным из его рук и перешло к его вечному противнику: потоки лжи, затопляющие эфир и печать тоталитарных государств, являют нам торжествующее наглое неведение с какой-то жуткой наглядностью.

Ненависть к более свободному, понимание одной только силы и непонимание закона, сознательное искажение правды, безжалостность к слабым и угодливость перед сильными – все пороки, свойственные раньше лишь отдельному человеку, выросли сейчас до гигантских размеров и сделались пороками тех Мы, где принцип неведения достиг политической победы. Поэтому, каким бы ни был наш взгляд на будущее человечества – оптимистическим или мрачным, мы должны, по крайней мере, отказаться от иллюзии, будто прогресс науки, техники, экономики, образования, социальных преобразований или чего другого может сам по себе двинуть человечество вперед. Нет, это движение вперед всегда происходит там и тогда, где свободная человеческая воля избирает ведение, а без этого духовного акта любые воспринятые извне идеи и сведения становятся лишь орудиями злобы, ненависти, несвободы. (ПМ-252-53)

В движении человечества к следующей ступени – всечеловеческому Мы – нет никакой предопределенности. Достижение или недостижение его зависит от свободной человеческой воли в той же мере, как и достижение Царствия Божия, о котором сказано: «Делайте усилия в настоящем, чтобы войти в жизнь духа, если не будете делать усилий, не войдете в нее» (Матф., 11:12)

Глава 29. ЛУЧ МЕТАФИЗИКИ – В БЕЗДНУ МАССОВОГО ТЕРРОРА

Первая мировая война привела к распаду пяти великих многонациональных империй: Австрийской, Британской, Испанской, Российской, Турецкой. Карта мира стремительно перекраивалась, миллионные массы людей вынуждены были искать новые формы государственного существования. Былые моральные и религиозные нормы были разрушены. Но одновременно менялись и формы человеческой вражды. Те, что раньше были скрыты под другими обличьями, вдруг выплеснулись наружу, и люди разных стран и вероисповеданий начинали страстно искать виновников накатывавших на них бедствий.

Историкам и социологам нелегко было выделить этот феномен в бурлящем потоке повседневной жизни, так насыщенной переменами. Зато на него вскоре откликнулись самые чуткие писатели. Один за другим начали выходить в свет романы-антиутопии, описывающие некое государство, в котором необоснованным преследованиям и казням подвергаются люди виноватые лишь в том, что они чем-то отличаются от остальных сограждан.

У Кафки в «Процессе» (опубликован в 1925) отличительным свойством оказывается открытость чувству вины, которая и заставляет главного героя снова и снова являться на заседания трибунала. («Суду от тебя ничего не нужно. Он принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда уходишь.»¹)

У Замятина в романе «Мы» (опубликован на Западе на русском и английском в 1926) признаком преступности отщепенцев служило наличие неизжитой способности фантазировать.

У Набокова в «Приглашении на казнь» (1935) осуждённого Цинцинната Ц. отличает от остальных «непрозрачность», то есть наличие чего-то твёрдого и существенного, чего недодано его соплеменникам.

У Оруэлла в «1984» (1949) под арест и пытки попадают те, кто сохранил способность любить.

У Брэдбери в «451° по Фаренгейту» (1953) преследованиям подвергаются люди, продолжающие хранить и читать книги.

У братьев Стругацких в «Обитаемом острове» (1969) охотятся за «выродками», неспособными впасть в радостное ликование от радиопропаганды, реагирующими на неё, наоборот, головной болью.

Вскоре художественные прозрения писателей получили страшные подтверждения в волнах террора, прокатившихся по коммуни-

стическим странам. Палачи, осуществлявшие раскулачивание, сталинские чистки, ГУЛАГ, китайскую «культурную революцию», уничтожение горожан в Камбодже, пытавшие заключённых в тюрьмах на Кубе, во Вьетнаме, Северной Корее даже не утруждали себя доказательствами «вины» своих жертв, настолько она была им очевидна. (ФВ-69)

Рациональный ум, вглядываясь в эти катастрофы, впал в растерянность. Политологи и аналитики распались на два лагеря, которые можно обозначить терминами, использованными выше: «уровнители и состязатели». Особенно загадочным оставался террор, разывравшийся в послереволюционной России.

К середине 1930-х годов диктатура большевиков достигла апогея полновластия. Созданная Сталиным машина подавления держала под абсолютным контролем всё население страны. НЭП был отменён, с рынком покончено, экономическая независимость крестьянства раздавлена, внутрипартийная «оппозиция» разгромлена. Многие свидетели, вспоминая те годы, говорят, что между 1935-м и 1936-м наступило какое-то странное загибание. Казалось, что отсутствие видимых внутренних противников и угроза извне должны привести, наконец, свирепую власть к перемирию с собственным народом, должны ослабить жестокость многолетних репрессий и прекратить преследования невинных людей.

И тогда-то и грянул Большой террор.

«Что произвело это необычайное событие?» – спрашивает Лев Толстой о войне 1812 года.

«Что произвело эту непостижимую катастрофу?» – спросим и мы о Большом терроре в России 1937-38 годов.

Сейчас есть целый ряд видных историков, которые находят рациональное объяснение даже для такого дикого этапа войны коммунистов против общества, каким явилось «раскулачивание». Они считают, что растущая экономическая мощь и независимость крестьянства создавали потенциальную угрозу власти партократии, поэтому она повела против крестьянства войну на уничтожение. Российский крестьянин был превращён в колхозника, то есть возвращён в крепостное состояние с обязательным прикреплением к месту жительства, так что отнимать у него плоды его труда стало намного проще.

С этой точкой зрения можно спорить. Можно указать на то, что лишённая возможности какой бы то ни было политической организации крестьянская масса никакой угрозы для партократии не представляла. Или что резкое падение сельскохозяйственного производства в результате коллективизации было чревато более серьёзными

опасностями для власти коммунистов. Но, по крайней мере, на сегодняшний день слышны какие-то споры, ведётся какое-то аналитическое осмысление раскулачивания.

О Большом терроре не спорят.

Событие это до сих пор не имеет убедительного рационального истолкования. Оно продолжает ужасать нас не только своими масштабами, но и необъяснимостью. Зачем всемогущей коммунистической диктатуре понадобилось уничтожать миллионы своих лояльных подданных? Причём подданных нужных, полезных? Причём без видимой задачи запугать остальное население, ибо принимались все меры, чтобы скрыть масштабы происходящего? Причём накануне надвигающегося столкновения со страшным внешним врагом – Германией, а может быть, и Японией?

«1937 и 1938 годы, – пишет Лидия Чуковская, – воспитывали в людях пожизненный ужас и притом некое равнодушие к собственному поведению, потому что судьба человека не очень-то зависела от его слов, мыслей, поступков. Человек круглосуточно пребывал в ужасе перед судьбой и, в то же время, не боялся рассказывать анекдоты и в разговорах называть чужие имена: расскажешь – посадят и не расскажешь – посадят... Написал письмо Ежову в защиту друга – и ничего, тебя не тронули; написал множество доносов, посадил множество людей, а глядишь – и тебя самого загребли... Трудность постижения действительности, никогда до того не существовавшей в истории, сбивала с толку и не учила разумно вести себя: чувство причин и следствий было утрачено начисто».² (СТН-91-92)

В мировой истории каждый эпизод массового террора содержит по крайней мере один повторяющийся элемент: большинство натравливается на меньшинство. Отличаются они лишь приметой, по которой это меньшинство выделяется: инквизиция сжигает «еретиков и ведьм», Иван Грозный казнит «изменников», в Турции режут «неверных» армян, Гитлер уничтожает «расово неполноценных» евреев. Но каждый раз это меньшинство обладало каким-то имуществом, богатством, которое властителям было соблазнительно отнять. Стимул грабежа придавал террору подобие смысла.

В Большом терроре 1937-го года нет даже этого элемента. У расстрелянных, высланных, брошенных за лагерную проволоку не было ничего своего – всё, чем они владели, и так принадлежало коммунистическому государству. Их обвиняли в шпионаже, диверсиях, саботаже – но даже сами палачи, пытками вырывавшие эти признания, не могли всерьёз верить в них. Жертвы террора не понимали, *за что и для чего* их убивали. Не понимаем этого до сих пор и мы.

Зато сегодня у нас есть возможность приблизиться к ответу на другой вопрос: *кого* убивали? *За кем* приезжали по ночам «чёрные

маруси»? *Кто* заполнил подвалы и тюрьмы НКВД во всех городах огромной страны?

Сейчас, 80 лет спустя, сопоставляя огромный объём свидетельских показаний, исследований, опубликованных документов, мы можем ответить на это достаточно определённо: в подавляющем большинстве жертвами оказались квалифицированные специалисты самых разных профессий. В подвалы Лубянки и котлованы ГУЛага хлынул поток инженеров, профессоров, писателей, учителей, врачей, офицеров, прорабов, завмагов, а также профессиональных партийцев, имевших какой-то опыт и знания ещё с дореволюционных времён. То есть мы ясно видим, что удар был направлен не в диком ослеплении, а по точному прицелу: на хозяев знаний и хозяев вещей.

Карательная машина не утруждала себя поисками реальной вины жертв. Из центральных отделений в местный комитет ГПУ-НКВД поступал приказ: «к такому-то числу обезвредить две – три – пять тысяч вредителей и шпионов». Заданное число, как правило, сильно превосходило имеющееся число доносчиков, регулярно поступавших в местные органы, Для выполнения «планового задания» от местных отделений требовалась инициатива.

Но кого брать? За кем посылать «чёрную марусю» по ночам?

Сотни и тысячи выживших жертв террора описали нам следователей и охранников, с которыми им приходилось иметь дело. По их описаниям это были люди жестокие, туповатые, малообразованные. То есть близорукие, уверенно выбравшие неведение. Именно такие ощущали дальнорукими своими естественными врагами. Дальноруким выдавал себя многими приметами: грамотной речью, вежливостью, трезвостью, книгами, которые он читал, интересом к далёкому прошлому и туманному будущему. Двух-трёх примет было довольно, чтобы опознать в нём чужака. «Не наш, не свой!». И «чёрная маруся» выезжала по указанному адресу.

Спасти иногда удавалось только тем, кто рано понял суть происходящего и догадался вовремя уехать из родных мест, где он уже успел примелькаться близоруким. В провинциальной глуши такой мог затаиться на какой-то незавидной работе и не привлекать к себе завистливого внимания. Так спас свою семью отец будущего писателя Александра Чудакова, профессор Бахтин и сотни других «догадливых» дальнорукими. На их рассказах впоследствии базировали свои книги Солженицын, Евгения Гинзбург, Лев Копелев, Лидия Чуковская и другие летописцы Большого террора.

Выше, в Главе 26, много говорилось о том, насколько потаённым является процесс выбора между ведением и неведением. Но в повседневной жизни люди легко опознают избравших ведение. Хорошо это описано в романе Кафки «Процесс». Там адвокат Иосифа

К. объясняет ему, почему его служанка вдруг вспылала таким интересом к ничем не примечательному клиенту. «Большинство обвинённых кажутся Лени красавцами. Если есть на это глаз, то во многих обвиняемых и в самом деле можно увидеть красоту. Конечно, это удивительное, можно сказать, феноменальное явление природы... Люди, искушённые в таких делах, могут среди любой толпы опознать каждого обвиняемого по выражению лица. По каким приметам? Они просто очень красивые. Всё кроется в поднятом против них деле, это оно так на них влияет. Разумеется, среди этих красивых людей есть особенно прекрасные. Но красивы они все, даже Блок, этот жалкий червяк».³

Вина любого задержанного считалась доказанной самим фактом ареста. Арестованный поступал в распоряжение «суда тройки», объявлялся «врагом народа», и теперь можно было забирать по ночам его родственников и знакомых. Они, в свою очередь, получали в качестве приговора лагерь, ссылку или расстрел. Мою мать, задержанную после ареста моего отца, спасло только то, что она была на седьмом месяце беременности. Таких даже подручные наркома Ежова расстреливать как-то не решались.

Партократия есть идеальная машина для захвата и удержания власти. Инстинкт власти руководит всеми её действиями и порывами. Сокрушив все сопротивляющиеся силы в стране, уничтожив реальных противников, отняв богатство у богатых и последнюю рубаху у бедных, она столкнулась неожиданно с огромной сферой, перед которой должна была почувствовать себя бессильной: с круговоротом современной информации, необходимой для управления индустриальным обществом.

Нельзя забывать и то, что Ленин и Сталин «ковали» свою партию из людей, находившихся на нижних ступенях по шкале врождённого неравенства, из близоруких. Именно такие люди были слепо преданы партии. Со дна привычной приниженности она вдруг возносила их на вершину власти. Уже при первом расколе РСДРП (1903) все образованные и самостоятельно мыслящие отшатнулись в лагерь меньшевиков.⁴ Внутрипартийная борьба 1920-х годов шла по той же схеме: «вычищались» люди со знаниями, с талантом, с аналитическим складом ума. Спаянная железной дисциплиной победная колонна «коммунистов-сталинцев» понимала только одну логику: логику нагана и колючей проволоки. Но, победив, она столкнулась с задачей, к которой была абсолютно не готова: задачей управлять экономикой огромной страны.

Оказалось, что и в коммунистическом государстве, где «упорядочены» классы и частная собственность, кто-то должен заниматься всё теми же четырьмя функциями: труд, распорядительство,

власть, миропостижение. Власть целиком принадлежала партократии, трудовой народ был в избытке. Но кому же поручить две другие функции? Победители судорожно кинулись готовить кадры «классово близких» хозяев знаний и хозяев вещей.

За десятилетие, предшествовавшее Большому террору, в России наблюдается неслыханный рост числа людей, получивших более или менее сносную подготовку к управлению хозяйством индустриальной державы. С 1926 по 1937 год количество научных работников возросло на 570%, инженеров и техников – на 470%, агрономов – на 390%, работников культуры – на 500%.⁵ Общая численность «специалистов» увеличилась в пять раз, достигнув цифры 9,5 миллионов человек. Принимались все меры, чтобы в этот слой не просочились отпрыски «эксплуататорских классов», – их просто не пускали в ВУЗы и на рабфаки. Отбор шёл только среди выходцев из рабоче-крестьянской среды. Тем не менее это был отбор. И он выделял и возносил самых способных, самых энергичных, самых смыслённых. То есть давал возможность проявиться врождённому неравенству.

Таким образом к середине 1930-х годов управление огромной многонациональной империей оказалось в руках двух структур, сильно отличавшихся по своему составу, по человеческому материалу. Одна безраздельно владела политической властью, другая – необходимой информацией. Политическая власть оказалась в руках партаппарата, составленного из людей способных преданно служить, подчиняться, даже идти на смерть, но неспособных «предвидеть и предусматривать». Хозяева знаний и хозяева вещей были лишены реальной власти в обществе, но сильно превосходили средний уровень, включая и партократию, по своим знаниям и умственным способностям.

Вся идеологическая накачка большевиков сводилась к идее, утверждавшей, что миром эксплуатации правит капитал и что стоит разрушить этот мир, отнять капитал – и безраздельная власть окажется в твоих руках. Однако выяснилось, что в этом новом мире, где уничтожен капитал и рынок, управление хозяйственно-производительной деятельностью переходит опять к кому-то другому. Раньше это был буржуй – обладатель капитала, теперь его место занял специалист – обладатель информационного потенциала. В миллионах жизненных ситуаций специалист мог сказать всевластному партократу, что отданный им приказ невыполним потому-то и потому-то. А у партократа не было ни знаний, ни умственных способностей, чтобы оценить, насколько специалист прав. Именно поэтому так часто специалистам предъявлялись обвинения в саботаже. Но на психологическом уровне эта ситуация была чревата только одним:

нарастанием глухой, иррациональной ненависти обделённого талантом к талантом одарённому. (СТН-93-95)

Из этой подспудно кипящей ненависти и вырвалась лава Большого террора.

Принято считать, что террор был исключительно преступлением коммунистической диктатуры, что народ не принимал в нём участия. На уровне организационном – не принимал. Но на уровне эмоциональном партия и народ были едины. Их роднила вечная подозрительная неприязнь близорукого большинства к дальнорукому меньшинству.

Нельзя также забывать, что террор, направленный против верхних слоев общества, не только удовлетворяет инстинкт власти, но и несёт весьма ощутимые блага всем уцелевшим. Если за ночь «чёрные маруси» тихо увезут на расстрел *тысячу* профессоров, завлабов, председателей, генералов, то наутро уже *десять тысяч* человек, стоявших ниже по служебной лестнице, поднимутся один за другим на следующую ступеньку, получат повышение по службе, увеличение оклада, новую квартиру.

Это про них Сталин скажет: «Жить стало лучше, жить стало веселей».

Радостный энтузиазм поздних 1930-х, отголоски которого долетают до нас под музыку Дунаевского в кадрах кинохроники тех лет, не был одним только пропагандистским мифом. Когда ты являешься утром на работу и тебе внезапно предлагают занять место твоего начальника, огонёк радости в душе вспыхивает безотказно. И ты не очень склонен интересоваться, куда делся этот довольно занудный тип, помыкавший тобою ещё вчера. А на твоё освободившееся место тут же продвинется другой. А на его место – третий. И цепочка радостных огоньков постепенно сольётся в ручеёк, в реку, выплеснется на улицы праздничными демонстрациями, парадами физкультурников, знамёнами и транспарантами, загремит барабанами и оркестрами.

Близорукие, занявшие посты хозяев знаний и хозяев вещей в результате Большого террора, оставались на этих постах и пятнадцать лет спустя, в 1950-е, когда довелось вступать в жизнь моему поколению. Мера убожества этих людей казалась какой-то неправдоподобной. Косноязычные учителя, невежественные профессора, директор завода, едва окончивший техникум, директор издательства, едва прочитавший десяток книг, тупые администраторы, способные говорить только «нет», врачи, получившие диплом по блату или за деньги – это была реальность нашей жизни, недоступная иностранному наблюдателю. Очень часто близорукий чувствовал свою

неадекватность занимаемому посту, тяготился ею, погружался в пучину пьянства. Но в большинстве своём они были страстно преданы режиму, вознёсшему их так незаслуженно высоко. (СТН-96)

Возможно, и внутри партократии раздавались опасливые голоса: «А не ослабнет ли государство, если мы будем так последовательно снимать верхний слой лучших специалистов?» Но исходить такие предостережения могли только от людей, в которых ещё сохранялась какая-то способность «предвидеть и предусматривать». А именно эта способность и была самым опасным свойством в те годы, именно она служила признаком, по которому шёл отбор жертв. Господствовал лозунг: «У нас незаменимых нет!» Поэтому можно себе представить, как редко и как слабо должны были прорываться такие голоса.

Иногда доводится слышать такое объяснение: массовый террор был необходимой ценой проведения индустриализации.

Но лучший исследователь Большого террора, историк Роберт Конквест, отвергает этот аргумент. «Все экономические успехи, достигнутые – или, по крайней мере, объявленные – Сталинским режимом, – пишет он, – были уже в наличии накануне Большой чистки. Нет никакого сомнения, что в хозяйственном плане террор принёс только вред: он изъял из производственного процесса большое число лучших руководителей... Экономический рост в 1938-40 годах замедлился».⁶

Деспотические режимы применяли бы массовый террор гораздо чаще, если бы над ними не висела военная угроза извне. Именно поэтому случаи массового террора наблюдаются, как правило, в крупных империях, которым реже грозят нападения соседей: проскрипции Суллы в Древнем Риме, инквизиция в Испании, опричнина Ивана Грозного в России, избиение армян в Турции в 1915 году. Но когда к власти приходят близорукие, то есть неспособные предвидеть и предусматривать, тогда ослабевают даже инстинкт самосохранения, и военную угрозу перестают принимать в расчёт.

Уничтожение командного состава Красной армии, при нарастающей угрозе со стороны Германии, при уже начавшихся военных столкновениях с Японией, выглядит шагом самоубийственным для режима, политическим безумием. Если бы Сталин опасался заговора своих генералов, достаточно было бы уничтожить верхушку командного состава. Но нет – террор докатывался до батальонных командиров. Конквест приводит число погибших (по данным советской прессы): маршалы – трое из пяти; командующие армией – 13 из 15; адмиралы – 8 из 9; корпусные командиры – 50 из 57; командиры дивизий – 154 из 186; общая численность уничтоженных офицеров – около 43 000.⁷ На место квалифицированных профессионалов военного дела были выдвинуты необученные новички. Красная

армия была настолько ослаблена, что оказалась неспособна, при огромном численном и техническом превосходстве, разгромить большую финскую армию в войне 1939-40 года. (СТН-97-98)

Итак, история ясно показывает, что Большой террор уничтожал людей в подавляющем большинстве лояльных и даже преданных режиму; что он привёл к катастрофическому ослаблению военной и экономической силы советского государства; что при честном исследовании террору невозможно найти ни прагматического, ни идеологического, ни экономического, ни военно-стратегического объяснения. И неизбежно возникает вопрос: как мог такой умный, хитрый, умелый, прожжённый властолюбец, как Сталин, нанести себе такой удар? Зачем ему понадобился Большой террор?

Снова и снова логический ум историка пытается атаковать это противоречие – и снова, и снова отступает в растерянности. Даже Конквест доходит лишь до признания, что «случившееся в России под властью Сталина не может быть понято и интерпретировано в категориях здравого смысла, если под здравым смыслом мы договоримся понимать то, что житель демократического Запада считает естественным и разумным».⁸

«Я не могу верить, что Сталин – это просто вульгарный гангстер», – восклицал страстный представитель лагеря уравнилелей Бернард Шоу.⁹ Мыслитель-сопостязатель не побоится подобного допущения. Но и ему будет нелегко верить, что гангстер мог действовать так явно во вред себе, что он утратил инстинкт самосохранения. Ибо ни тот, ни другой не посмеет поставить под сомнение одну из составляющих рассматриваемого противоречия. А именно утверждение: «Сталин – умный».

Но почему? почему?

Почему образованные и думающие люди продолжают считать умным человека, который разорил сельское хозяйство в великой сельскохозяйственной державе, кормившей до него не только себя, но и половину Европы? который уничтожал преданных ему слуг и соратников? который ни в грош не ставил ни свои, ни чужие обещания, но верил листку бумаги с подписями Молотова и Риббентропа? который отказывался замечать миллионную немецкую армию, подступившую к границам России? который верил, что урожаи можно поднять, насадив лесозащитные полосы? который с важным видом писал свою лингвистическую околесицу?

Почему?!

Да только потому, что сильному уму – хоть уравнилеля, хоть сопостязателя – сладко верить в то, что ум – главная сила, решающая исход любого противоборства в человеческом обществе. До тех пор пока мир подчиняется причинно-следственным связям, сильный ум чувствует себя уверенно, он имеет шанс вознестись над миром и –

хотя бы в теории – главенствовать в нём. Какие бы извержения кровавого безумия ни прорывали тонкую плёнку разумности на протяжении мировой истории, рациональный ум ухитряется либо не заметить их, либо подыскать им логическое истолкование. Ибо иначе он потеряет главное своё сокровище – чувство уверенного превосходства над хаосом, сладкую гегелевскую мечту о том, что «всё существующее разумно».

Он рассуждает примерно так: «В долгой и яростной борьбе за власть Сталин победил всех своих противников, включая таких умников, как Троцкий, Каменев, Бухарин. О чём это говорит? Только о том, что он был в чём-то умнее и хитрее их».

Допустить, что в политической борьбе, в кризисную эпоху, главные действующие лица – не хитроумие, не логика, даже не расчётливое коварство, а тёмный инстинкт и иррациональная страсть, было бы слишком болезненным ударом для гордыни сильного ума. Поэтому такое допущение всерьёз не рассматривается ни одним так называемым профессиональным историком.

Парадокс заключается в том, что при всех своих талантах и прекрасной образованности Троцкий не обладал теми важнейшими знаниями, которые даёт только одна школа – *школа унижений*. Вернее, он окончил только первый класс её: унижения талантливого юноши из еврейского местечка, вынужденного пробиваться внутри сословной, иерархической, сильно заражённой антисемитизмом империи. Для него разрушение империи было естественным концом унижений. Революция покончила с сословным, имущественным, национальным неравенством – теперь врождённое неравенство могло, наконец, проявиться, вынося наверх самых энергичных и талантливых. И, в первую очередь, его самого.

Не то Сталин.

В школе унижений он прошёл все классы, все ступени. Сын пьяницы-сапожника, избивавшего его по любому поводу. Беднейший ученик в церковной школе.¹⁰ Недоучившийся семинарист. Несостоявшийся поэт. Революционер, которого используют для уголовных дел. Среди блистательных ораторов и борзописцев – косноязычный нацмен, не владеющий по-настоящему ни одним языком. Бездарный военачальник среди прославленных красных полководцев Гражданской войны. (СТН-99-100)

Как он должен был их всех ненавидеть!

С какой затаённой мстительной страстью шаг за шагом продвигался к моменту торжества над ними. И как он был понятен и близок в этой главной страсти тёмной массе рядовых большевиков!

Конечно, Сталина никак не устраивала ситуация, в которой таланту воздавалось бы должное. На что он мог тогда надеяться? Недоучка, с тёмным прошлым, раскритикованный самим Лениным, не имеющий никаких особых заслуг перед партией?

Но в одной сфере он был гениален. И знал это.

Он был гением посредственности.

Чувства, которые близорукий испытывает к дальнозоркому, бушевали в нём с такой силой, что тысячи и миллионы близоруких инстинктом, нутром опознавали в нём своего природного вождя. И шаг за шагом проталкивали его к вершине власти. Власти над партией – а значит и над всей страной.

И он не обманул их надежд. Он возглавил армию близоруких и повёл их на самоубийственное, иррациональное, мстительное уничтожение дальнозоркого меньшинства.

Подстроить падение политического соперника, захватить демагогией толпу, организовать убийство опасного противника может всякий прожжённый политик. Но начать планомерное убийство миллионов людей в собственной стране можно только в том случае, если в душах десятков миллионов будет тлеть осознанная или неосознанная ненависть к уничтожаемым. Должна быть ненависть к еретикам, к ведьмам, к инородцам, к иноверцам, чтобы в стране запылали костры и замаячили виселицы. Но что может быть более надёжным, всегда готовым, чем тихая ненависть отставшего к обогнавшему, обделённого к одарённому, слабого к сильному?

Во всех главных кампаниях, проводившихся Сталиным за время его 25-летнего правления, мы видим его безжалостно преследующим **лучших**: лучших крестьян, лучших инженеров, лучших учёных, лучших командиров, лучших композиторов, лучших писателей и даже – самоубийственно! – лучших врачей.

Главное оружие дальнозоркого – слово. Владение словом – вот, что нагляднее всего выделяет его из среды близоруких. Поэтому борьба с осмысленным словом становится необходимым условием торжества близоруких. Сталинский режим выработал газетный и митинговый язык, настолько лишённый прямого смысла, что на Западе пришлось создать сеть специалистов для расшифровки и анализа этого языка. «Министерство мира» (читай – войны), «Министерство правды», «Министерство любви», придуманные Оруэллом, не так уж далеки от реальных языковых кульбитов, созданных советской эпохой. «У нас сын за отца не отвечает», торжественно объявляла пропаганда, но при этом классовое происхождение решало всё в судьбе человека; ужасы коллективизации были названы «головокружением от успехов»; марионеточные коммунистические режимы, насажденные в оккупированных странах, носили имя «стран народной демократии»; и так до бесконечности. (СТН-101-102)

Русские дальнорюкие в подавляющем большинстве приветствовали свержение монархии. Революция казалась им справедливой расплатой за столетия социального неравенства. Но дальнорюкому интеллигентному сознанию дика мысль о том, что врождённое неравенство может доставлять людям ещё большие страдания, чем неравенство сословное, имущественное, классовое. Ибо этих страдающих дальнорюкий – получивший от рождения пять талантов – не испытывает и не знает. Он не понимает, что ему нужна защита от недоброжелательства близорюкого большинства. И защита эта вырабатывается веками в виде морально-религиозных требований и прочной структуры социальных отношений. А там, где эту структуру внезапно разрушает политическая буря, дальнорюким, одарённым, сильным – не выжить.

Катастрофу революции многие интерпретировали как расплату за социальное неравенство.

Катастрофу Большого террора следует интерпретировать как расплату за неравенство врождённое.

– За что?! Мы служили своей стране верой и правдой! Приносили огромную пользу! Мы ни в чём, ни в чём не виноваты! Убивая нас, вы сами себе наносите страшный вред и ущерб! – кричали изумлённые жертвы террора.

«Для нас нет худшего вреда и ущерба, чем терпеть вас, догадливых, прятких, быстроумных, рядом с собой, а особенно – над собой», – могли бы ответить близорюкие, если бы обладали даром красноречия и аналитического мышления.

Большой террор 1937-38 годов должен был бы послужить страшным исправительным уроком всему строю политического мышления дальнорюких уравнителей даже в том случае, если бы он оставался единственным примером в XX веке. Но как добросовестная учительница повторяет снова и снова трудный урок беспечным ученикам, так история повторила это событие не один раз. Массовый террор в Китае под властью Мао, в Северной Корее под властью трёх Кимов, Вьетнаме под властью Хо Ши Мина, Камбодже под властью Пол Пота, Кубе под властью Кастро протекал по той же схеме и с теми же результатами.

Глава 30. НЕПРИМИРИМЫЕ – ПОМИРИТЕСЬ!

В начале 21-го века политическая жизнь в демократических государствах всё чаще и чаще демонстрирует нам необычайную устойчивость убеждений профессиональных политиков. Крайне редко мы можем наблюдать их переход из одной партии в другую. Очень часто национальные выборы приносят победу тому или другому кандидату или партии ничтожным перевесом голосов. Иногда исход приходится решать Верховному суду.

Как это может случиться? Откуда вырастает столь устойчивая система наших политических убеждений? Если ни логика, ни красноречие ораторов, ни язык фактов не могут поколебать её, не значит ли это, что корни её уходят куда-то очень глубоко?

Одним из первых мыслителей, задумавшихся над этим феноменом, был американский историк и политолог, Томас Суэлла. В своей замечательной книге «Конфликт мировоззрений. Идеологические истоки политической борьбы»,¹ вышедшей в 1987 году, он прослеживает историю политической мысли за последние 200 лет и выделяет из нее два устойчивых стереотипа, две модели мира, два взгляда на природу человека. (СТН-23)

Все политико-идейные расхождения и противоборство протекают (по Суэлле) из фундаментальной разницы между двумя взглядами на человека и социум. Американский исследователь прослеживает на примерах многих политических теорий проявление этих двух основных взглядов в применении к вопросам о верховной власти, правосудии, социальном устройстве. «Инопланетянин, – пишет он, – пытающийся получить информацию о нас, вынес бы совершенно разные представления о человеке [из чтения разных книг]... Изначально свободное и невинное существо, описанное Жан-Жаком Руссо, резко отличается от жестокого участника кровавой войны, ведомой всеми против каждого и каждым против всех, нарисованного Томасом Гоббсом.»²

Человек, прочитавший книгу Суэлла, легко научится обнаруживать противоборство двух моделей видения мира в современных политических спорах. Выше в этой книге, в Главе 9, два устойчивых склада политического мышления обозначались терминами «состязатели» и «уравнители». В США состязатель скорее всего присоединится к республиканской партии, уравнитель – к демократической. В Англии водораздел пройдет между консерваторами и лейбористами. В Израиле – между Ликудом и Рабочей партией.

Страны, одолевшие раньше других опасный порог на входе в индустриальную эру, достигли известной стабильности. Однако стабильность эта недолговечна. Ибо на наших глазах, начиная с конца Второй мировой войны, человечество делает следующий шаг,

входит в новую хозяйственно-технологическую эру – назовём её *электронно-космической*. Бурное развитие электронной технологии проникает во все отрасли производства, в систему образования, в вооружение, в коммуникации, расшатывает привычные формы существования, неравномерно изменяет скорость всех общественных процессов, разрушает иерархию ценностей.

Наступление электронно-космической эры – это и будет опаснейший порог для индустриально развитых стран в веке 21-ом. А параллельно и рядом десятки отставших народов будут переходить от оседло-земледельческого состояния к индустриальному. И некоторые, видимо, попытаются с разгона сразу ворваться и в эру электронную. Кровавые смуты, ждущие нас в веке 21-ом, не уступят веку 20-му. Так что историк-дозорный имеет достаточно оснований, чтобы издать сегодня громкий крик:

– Все наверх! Впереди – мощный шторм! Я слышу рёв воды на камнях! Оставьте все мелкие дела и споры – сейчас не до них!

Но кто может услышать его? Конечно, только тот, кто открыт предощущению угрозы. Кто способен заглядывать так далеко вперёд. Кто готов пожертвовать сегодняшним покоем и благополучием и кинуться к лебёдкам, канатам, парусам общественного корабля. То есть мы должны ясно отдавать себе отчёт, что предостерегающий голос могут слышать только дальнорюкие.

И что же им делать после этого? Попытаться объединиться? Но как? Как могут объединиться те, кто насквозь пронизан духом состязания? И состязания именно друг с другом. (Не с близорюкими же им состязаться!) Даже дар предвиденья распределён между ними неравномерно. Один предвидит на год вперёд, другой – на десять лет, третий – на длину собственной жизни, четвёртый – на жизнь поколений. Легко ли им будет сговориться между собой, слышать друг друга? (СТН-151-52)

На страницах этой книги дальнорюкий предстал, как правило, в виде жертвы несправедливых преследований и должен был вызывать сочувствие читателя. В таком контексте легко забыть, каким невыносимым, каким отталкивающим может быть дальнорюкий в повседневной жизни. Как легко его энергия может устремиться целиком на утоление жажды стяжательства. Как много мы знаем примеров, когда гордое сознание своего превосходства оборачивалось властолюбием и тиранством, когда все силы незаурядного ума использовались для плетения интриг, когда художественный дар тратился на пошлое фиглярство в угоду толпе. Вечное нетерпение, вечная жажда нового печёт дальнорюкого гораздо сильнее, чем среднего человека, поэтому он нередко бывает ненадёжен в дружбе и любви, непредсказуем, неискренен, мечется от одного к другому, изменяет, злословит, предаёт.

Как часто близорукий кажется нам человечнее, добрее, честнее в отношениях с собой и миром, серьезнее относящимся к дару жизни. Недаром так часто поэты, писатели, пророки возлагают все надежды на «простого человека», на «нищих духом», и обрушивают изошрённые проклятья на знатных и богатых, на интеллигентов и образованцев, на фарисеев и саддукеев.

В истории уже наблюдались некоторые попытки сплочения дальноруких поверх границ: монашеские и рыцарские ордена, масонские общества, студенческие братства. Но все эти формы объединения оказывались возможны лишь до тех пор, пока они оставались сугубо аполитичными. Как только политика вторгалась в жизнь этих сообществ, наступал скрытый, а потом и явный раскол. И на многих примерах можно видеть, что линия раскола проходила всё по той же грани – грани, отделяющей уравнивателей от состязателей.

Если мы верим, что только соединённые усилия дальноруких, преодолевающие границы между странами, эпохами, языками, могут спасти нас от надвигающихся катастроф, то представляется судьбоносно важным ослабить главную причину их внутреннего раскола – разницу между уравнительным и состязательным видением мира и человека. Снова и снова должен исторический мыслитель обнажать суть их разногласий, показывать, что они коренятся не в глупости, жадности и злобе оппонента, а в антиномической разнице умственного склада. Снова и снова следует призывать к поискам мостов, переправ, бродов через поток разделяющий уравнивателей и состязателей, хозяев знаний и хозяев вещей. И делать это нужно не только на чисто политических вопросах, но на самых разных аспектах общественной жизни, на конкретных, проходящих задачах и на вечных проблемах науки, искусства, морали, религии.

Вот, наугад, несколько «спорных территорий», где уже сегодня можно было бы «остановить боевые действия и сесть за стол переговоров». (СТН-153)

О сострадании и чувстве вины

Нет никакого сомнения в том, что уравнитель гораздо более чуток к укорам совести, чем состязатель. Веря в безграничные возможности разумного устройства жизни на Земле, он склонен преувеличивать значение своего участия в общественной и политической жизни. Он в большей мере открыт чувству сострадания, и оно порой причиняет ему такую боль, что он начинает хвататься за любые способы защиты от этой боли.

А что может быть лучше, чем найти виновников творящихся на свете злодеяний?

И он подсознательно тянется к твёрдой системе представлений, которая объясняла бы ему, что в страданиях человечества виноват кто-то другой – не он. В зависимости от эпохи и обстоятельств это окажутся еретики или, наоборот, иезуиты, крепостники или франк-масоны, империалисты или коммунисты, шовинисты-мужчины или распоясавшиеся феминистки, даже жидаы или христиане.

Как писал в своей автобиографии Чеслав Милош, «сильнейший союзник любой идеологии – чувство вины».³

О том же самом, но более резко, говорил Бердяев:

«Нравственный пафос социализма есть смесь ложной чувствительности и аффектированной сострадательности с жестокостью и злобной мстительностью. Сентиментальность часто ведёт к жестокости. Это – закон душевной жизни».⁴

И уж совсем уничтожительно изображает тот же феномен Ницше:

«Ах, где в мире творились большие глупости, как не у сострадательных? И что в мире причиняло большие страдания, как не глупости сострадательных?»⁵

Однако на всё это уравнитель может возразить своему вечному оппоненту:

– Ты занимаешься по сути тем же самым – глушишь боль сострадания. Но ты пытаешься заливать этот огонь чувством правоты. Страдания других людей так же задевают тебя, как и меня. Но ты начинаешь взвешивать страдания других, калькулируешь (как будто это возможно взвесить и подсчитать!) и предпринимаешь правильные, по твоим понятиям, действия, которые должны, как тебе кажется, причинив страдания одним, уменьшить суммарный груз страданий в мире. Беда лишь в том, что это наполняет тебя чувством правоты. Ты забываешь, что правильность не равна правоте. Правильность не отменяет греха – причинения страданий другому существу. Твоё самодовольство и уверенность – вот, что непросительно и отвратительно мне в твоём подходе.

И честный состязатель должен будет признать, что это обвинение куда как часто оказывается справедливым. (СТН-155)

О справедливости

Справедливо ли, что один вырастает двух метров ростом, а другой едва дотягивает до полутора? Справедливо ли, что у одного есть музыкальный слух, а у другого – нет? Справедливо ли, что один может гнуть пятаки, а у другого едва хватает сил поднять портфель с книгами?

Мы не ждём от природы справедливости в раздаче даров. Справедливость – это наше занятие. И мы не всегда в нём преуспеваем. Например, в каких-то видах спорта мы догадались развести атлетов по разным весовым категориям, и теперь у нас боксёры, штангисты и борцы могут состязаться с соперниками, которые им по силам. И автомобильные гонки устраиваются между гонщиками, сидящими в машинах примерно одинаковой мощности. И в шахматах, в бридже, да и во многих видах лёгкой атлетики существуют разряды, уровни, ступени, так что участники могут испытывать свои силы, состязаясь с теми, кого у них есть шанс победить и, может быть, перейти в более высокий разряд. А вот в волейболе и баскетболе справедливости до сих пор нет, ибо высота сетки и баскетбольного кольца всюду стандартна, и таким образом низкорослые практически выброшены из этих видов спорта.

То же самое и с разницей между дальнозорким и близоруким. Не мечтайте, уравниатели, что вам удастся покончить с этой «несправедливостью». Говорить близорукому, что он способен в умственном состязании сравняться с дальнозорким, это и есть самая большая несправедливость. Это всё равно что сказать боксёру весом в 60 кг, что он может выйти на ринг против тяжеловеса и победить. И отбросьте чувство вины за свои врождённые преимущества. Вы платите за них каждый день очень высокую цену. Ваша жажда свободы гораздо острее, а потому любая мера неволи причиняет вам гораздо большее страдание, чем остальным. Ваша память сильнее, безжалостней – а потому вам никуда не деться от всех стыдов и унижений прожитой жизни. Ваш взгляд проникает далеко вперёд – а потому ужас смерти всегда в десять раз ближе к вам, чем к близорукому. Если бы исследовать статистику психических расстройств и самоубийств, уверен, дальнозоркие и здесь сильно обошли бы близоруких.

После этого посредник должен повернуться к состязателям и обратиться к ним с такой примерно речью:

– А вы, в своём азарте, не поддавайтесь тому соблазну, которому вы уже так много раз поддавались на протяжении мировой истории: соблазну *введения сословных барьеров*. У нас нет и никогда не будет иного инструмента для определения числа талантов, вручённых человеку при рождении, кроме испытания их в жизненной

борьбе. Как тысячи бегунов, собранных на старте марафонского забега, неотличимы до хлопка стартового пистолета, так и младенцы в кроватках должны быть неотличимы для социального планировщика. (СТН-156)

Конечно, ваш вечный оппонент – уравниватель, – призывая к усиленным занятиям с отстающими школьниками, по сути пытается не уравнивать условия старта, а подвезти на автомобиле отставших бегунов – ибо забег уже давно идёт. Но и вы, ссылаясь на потенциальные возможности детей, рождённых от дальнзорких, и призывая создавать им особые условия для достижения командных постов в обществе, по сути наносите ущерб и обществу, и им. Всюду, где вводилась наследственная принадлежность к той или иной касте, сословию, классу, правящий слой очень скоро приходил в упадок, переполнялся избалованными лежебоками и самонадеянными остолопами, которые не могли управлять достойно не только другими людьми, но и собственной жизнью.

О евреях и антисемитизме

Невероятные успехи евреев во всех сферах научной, художественной, финансовой деятельности не могут быть объяснены ничем другим, кроме того, что этот народ – по традиции, и по необходимости – так бережно относится к своим дальнзорким. Всякая крупница таланта в еврейском ребёнке ценится, развивается, поддерживается родителями и общиной с первых же шагов. Отсюда и вырастает эта блистательная череда мыслителей, поэтов, музыкантов, режиссёров, финансистов, художников, а теперь – и воинов, именами которых так густо насыщена еврейская история.

После взятия Иерусалима римлянами в 70 году по Р.Х., в сущности, начался второй еврейский исход – но теперь не в пространстве, а во времени. Не землю обетованную отправились они тогда искать, но встречи с Мессией в неведомой точке вечности. И идут своим уникальным путём до сих пор. А когда народ в походе, он больше ценит тех, кто способен вести его, кто способен «предвидеть и предусматривать» – то есть дальнзорких. И это значит, что все абстрактные ценности – вера, знание, честность, верность, талант будут обладать в среде такого народа гораздо большей весомостью.

В этом преобладании у еврейского народа черт, свойственных дальнзорким, таится, мне кажется, и объяснение загадки антисемитизма. Близорукий испытывает априорное недоброжелательство к дальнзоркому, а когда видит, как почитаются ценности дальнзорких в еврейской среде, становится антисемитом. Способность

«предвидеть и предусматривать» он объявляет хитростью и коварством, а преданность религиозным традициям – неблагодарностью к приютившей их стране.

Примечательно, что как только дальнзоркие захватывают командные высоты в государстве, антисемитизм исчезает из государственной политики: Польша 16–17-го веков, Англия середины 17-го века, Голландия 17–18-го, Америка 19–20-го демонстрируют замечательную терпимость по отношению к еврейскому населению. И наоборот, наступление близоруких в общественной жизни всегда будет сопровождаться погромами и преследованиями евреев.

Все другие объяснения антисемитизма представляются частными и неубедительными. Популярно, например, представление, будто антисемитизм зародился в Средневековой Европе, потому что евреи занимались ростовщичеством и христиане, которым религия запрещала одалживать деньги под проценты, их ненавидели за это. Но христианские банкиры Флоренции, Генуи, Ганзейских городов, все эти Медичи и Фуггеры, спокойно обходили религиозные запреты, занимались всеми видами финансовых операций ничуть не меньше евреев. В евреях бесило другое: то, что верность родственникам и соплеменникам у них была так сильна, что они могли осуществлять *международные* финансовые операции; в эпоху, когда любая пересылка денег требовала мощного вооруженного отряда для охраны от бандитов, бедно одетый еврейский посланец мог пройти от Рима до Парижа и принести записку, а то и устное распоряжение от одного еврейского банкира другому, и требуемая сумма денег вручалась указанному лицу тихо и незаметно.

Другое популярное объяснение: богатство евреев, которое часто кажется необъяснимым их соседям. Но если бы это было так, на чём же тогда выросал антисемитизм в Польше и России 19-го века, где евреи были бедны и бесправны, подвергались постоянным преследованиям, должны были жить в черте оседлости? Завидовать им было невозможно. Но оставалась их упорная и непостижимая вера в невидимого Бога, их поклонение книгам, написанным тысячи лет назад, их вера в пророков прошлого и ожидание будущих пророков – то есть непостижимая способность вырываться из «здесь и сейчас», главная отличительная черта доминирования дальнзорких. И против этой черты и накопилась инстинктивная ненависть близоруких.

Уравнитель верит, что с антисемитизмом можно бороться путём разъяснений и уговоров. Состязатель считает, что важнее как следует вооружить Израиль и быть готовым всегда прийти ему на помощь в минуту опасности. Но грозная и печальная правда состоит в том, что ни просвещение, ни вооружение не смогут покончить с

антисемитизмом. До тех пор пока в еврейском народе живёт эта уникальная тяга к надличному, к нездешнему, к манящему зову свыше, она будет тяготить близорукого и прорываться вспышками ненависти каждый раз, когда начнётся отступление дальновзорких на каком-то участке вечной исторической битвы. (СТН-160-61)

О богатых и бедных

В середине 1990-х годов в Америке много шума наделала книга «Кривая Гаусса». ⁶ Авторы её, базируясь на огромном исследовательском материале, утверждали, среди прочего, что люди рождаются неравными по своим интеллектуальным способностям; что эти способности поддаются объективному измерению применяемыми ныне тестами IQ и SAT ⁷; что неравенство талантов определяется генами примерно на 60%; что в современной Америке высокие интеллектуальные показатели стали обязательным условием, а порой и гарантией жизненного успеха и материального процветания; что вследствие этого в стране образовалась интеллектуальная элита, которая постепенно начинает сливаться с элитой финансово-экономической.

Особенный гнев сторонников эгалитаризма вызвали главы, в которых авторы приводили данные, указывающие, что по всем интеллектуальным показателям чёрные в среднем сильно отстают от белых. Расовый вопрос в Америке – самый большой вопрос, поэтому естественно было ожидать, что этот аспект исследования вызовет самые яростные нападки. Однако и другие проблемы, затронутые в книге, решались не в общепринятых категориях.

Взгляды современных американских уравнивателей наиболее полно были сформулированы в книге Кристофера Дженкса «Неравенство». ⁸ Ход его рассуждений напоминает идеи Прудона. Дженкс признаёт, что в какой-то мере врождённое неравенство способностей существует. Но именно поэтому, считает он, все усилия общества должны быть направлены на то, чтобы компенсировать это неравенство в социальной структуре. В школах учителя должны затрачивать больше времени на помощь отстающим. На производстве наниматели должны снижать плату лучшим работникам и за их счёт повышать плату слабым. «В конечном итоге мы должны заставить компетентных и удачливых субсидировать менее компетентных и менее удачливых...». ⁹ «Мы должны установить политический контроль над экономическими институтами, формирующими наше общество. В других странах это обычно называют социализмом. Но любые меры, не идущие так далеко, обернутся таким же разочарованием, как реформы 1960-х». ¹⁰

Мы видим, что вечный спор между уравнилителями и состязателями в сегодняшней Америке не утихает. Книгу «Кривая Гаусса» и вызванный ею отклик можно считать симптомами вторжения состязателей на традиционную территорию уравнилителей в сфере социальной психологии. Однако в своих дебатах и та, и другая сторона продолжают рассматривать неравенство между богатыми и бедными только как неравенство материальных привилегий. Одни считают эти привилегии несправедливыми, чреватými ненужными страданиями, другие считают их заслуженным вознаграждением за эффективную и талантливую деятельность, приносящую пользу всему обществу. Но сопутствующее экономическому неравенству неравенство обязанностей не принимается во внимание ни теми, ни другими.

Если бы нам удалось вырвать вечных спорщиков из круга привычной аргументации в критериях «справедливо–несправедливо», их бранчливые перепалки могли бы превратиться в плодотворный диалог. И представляется, что «площадкой» для такого диалога могло бы послужить введённое выше понятие о распорядительной функции как необходимом элементе социального организма.

Ибо богатство определяет не только количество жизненных благ, доступных богачу; оно также очерчивает круг его обязанностей по сохранению и развитию доставшейся ему доли общенационального производства, меру его участия в распорядительной функции. За невыполнение этой обязанности он будет наказан уменьшением своего состояния, а в пределе – разорением. Но прибыли его отнюдь не являются только вознаграждением за успешное участие в распорядительной функции. Высокий доход абсолютно необходим крупному предпринимателю, чтобы он мог оставаться «на плаву» при взлётах и падениях рынка. Этот доход создаёт тот запас экономической прочности, без которого выжить в рыночной борьбе невозможно.

Борта прогулочной лодки могут возвышаться над гладкой поверхностью озера на один фут – этого вполне достаточно для безопасного плавания. Рыболовный траулер уже потребует возвышения бортов на несколько метров. Борт океанского лайнера вырастает над волнами, как стена дома. Если бы принципы равенства применялись к флотилиям, если бы каждому судну было приказано иметь борта не выше определённой высоты, все они очень скоро пошли бы на дно или застряли на мели. Точно так же попытки уравнивать доходы различных распорядителей, плывущих в бурных волнах рыночного океана, могут окончиться только их массовыми разорениями. Неравенство между богатым и бедным, которое порой столь режет глаз, является абсолютно необходимым условием эффективности национальной экономики, и за отказ от него народ заплатит неизбежным

погружением в пучину всеобщей бедности, как это и происходит во всех странах, отказывающихся от рыночных методов управления хозяйством.

В книге «Кривая Гаусса» авторы – убеждённые состязатели – с тревогой затрагивают тему, которая обычно является прерогативой уравнителей: тему возникновения элитарной верхушки общества. И эта тема могла бы послужить другой «площадкой для диалога». Ибо здесь сами состязатели признают, что последовательное вознаграждение талантливых привело в последние годы к такой их самоизоляции от остального народа, что они утрачивают всякое представление о политических и социальных реалиях страны.

Талантливые и преуспевающие общаются только друг с другом в школах, университетах, в клубах, в фирмах, они женятся друг на друге, читают одни и те же книги, смотрят одни и те же фильмы, живут в роскошных пригородах или огороженных жилых комплексах. Рассказывают, что одна журналистка, узнав о победе Никсона на выборах, воскликнула: «Он не мог победить – за него не голосовал ни один из моих знакомых!». ¹¹ Эта интеллектуальная элита занимает ведущие посты в правительстве, журналистике, юстиции, и её влияние на жизнь страны становится всё более ощутимым. И если её представления о жизни остального народа будут такими же искажёнными, как представления французской аристократии конца 18-го века о жизни Франции, это может окончиться новым якобинским взрывом. (СТН-164-66)

Об искусстве

Выше уже отмечалось, что подавляющее большинство людей, причастных художественному творчеству, по своим идеям, по складу мышления – ярые уравнители. Парадокс, однако, состоит в том, что вся жизнь их – это непрерывное состязание друг с другом. Создать в искусстве что-то новое, небывалое, то, что до сих пор не удалось создать никому другому, – вот главная мечта любого художника.

При этом лишь редкие из них обладают мудростью Пушкина и отдадут себе отчёт, что «нас мало избранных, счастливых праздных – / единого прекрасного жрецов». Как правило, они убеждены, что их художественные озарения и свершения доступны и открыты каждому человеку. А непонимание и непризнание, которым они столь часто окружены, – это вина грубой черни, бесчувственных торгашей, захвативших обманом богатство и власть. Вот бы разрушить их мир и их порядок, выйти к массовому читателю, зрителю – тогда бы творец прекрасного получил достойное признание.

На самом же деле, способность к тонкому эстетическому переживанию – удел одних дальнозорких. В том числе, и состязателей, и даже тех, кому довелось играть роль хозяев вещей. Это на них, на купцов, на аптекарей, на зубных врачей, на физиков (которые не лирики), на программистов обрушивает художник своё раздражение. Ибо поначалу только они и стекаются на его песнь, только они и приходят на выставки непризнанных художников, покупают ещё немодные книги, смотрят пьесы в заштатных театриках. Толпа прихлынет потом – но только туда, где вокруг художника клубились первые дальнозоркие ценители.

Однако при этом даже и от них часто ускользает суть творчества. На эмоциональном уровне они поддаются эстетическому откровению, но на рациональном пытаются истолковать искусство в понятных им категориях мастерства, умелости, искусности. Они часто не понимают, что художник состязается не столько с другим художником, сколько с косностью своего материала – камня, краски, слова, музыкальной ноты. И, конечно, прежде всего – с косностью собственной души. Которую художник так часто кидает в мучительный поиск, в опасные схватки, к великому недоумению и огорчению своих благополучных близких.

Разница между художником и просто дальнозорким – как разница между ракетой и самолётом. Крыльям самолёта нужно опираться на воздух, чтобы подняться над Землёй. Ракета вырывается за счёт внутренней энергии и поэтому может подняться в космос, куда самолёт не может за ней последовать. Однако увидеть момент выхода ракеты из атмосферы можно только с высоколетящего самолёта.

Поэтому наш посредник был бы вправе сказать художнику:

– Не мечтай, что где-то есть другие зрители-читатели. Способных заинтересоваться тобой, откликнуться, всегда будет немного. Остальным вообще не подняться на такую высоту, с которой можно разглядеть твой полёт.

Потом посредник поворачивается к зрителю-состязателю и говорит:

– Искусство – самая наглядная сфера, где твои критерии правильного-неправильного, полезного-вредного перестают работать. Искусство – это чистый поиск новых уровней свободы человеческого самовыражения, который не меряется никакими «нужно – не нужно», «хорошо – плохо», «доброе – злое». Смирись с этим, не хватись за понятные упрощающие истолкования. В космосе художественного творчества летают не так, как в атмосфере производства вещей, – по-другому. Всмотрись, вслушайся, вчитайся – может быть, и тебе приоткроется ответ того, что видит в этой запредельной высоте художник. (СТН-167-68)

О международных отношениях

Живя под устойчивой властью закона и правопорядка, легко забыть, какое это трудное дело – удерживать зверя в человеке. Хотя не проходит года, чтобы история не поднесла нам с полдюжины напоминаний. Сегодня кровавое безумие захватит Ливан, Боснию, Руанду, Сомали, Цейлон, Абхазию, Таджикистан. Завтра это будет Албания, Алжир, Индонезия, Южная Африка, Сирия, Ливия, Йемен. И можно ли что-то сделать, чтобы заранее предвидеть и предотвратить эти катастрофы?

Организация Объединённых Наций с самого начала ставила своей целью не только регулировать отношения между государствами, но и выработать общие принципы устройства внутрисполитической жизни, учитывающие защиту человеческой личности от покушений со стороны государственной власти. Всеобщая декларация прав человека (1948) – замечательный документ, и вся последующая международная деятельность, с нею связанная, включая Хельсинские соглашения 1973 года, заслуживает всяческой поддержки и одобрения.

Однако движение правозащитников во всех странах так сосредоточилось на защите человека от плохих правителей, что практически начинает игнорировать задачу защиты человека от плохого соотечественника, от другого человека. Во многих умах укрепилась иллюзия, что если бы правительство в данной стране вело себя хорошо, то не было бы там ни поджогов, ни убийств, ни грабежей, ни погромов. И, конечно, особенно сильна эта иллюзия в умах уравнилелей, ибо они верят, что сам по себе человек так добр, что ничего плохого он ближнему своему не станет делать, если его к этому не вынудят плохие властители.

Власть, которая решит игнорировать Права человека, начнёт обязательно с того, что запретит иностранным корреспондентам соваляться на территорию своей страны. После этого она станет делать со своими подданными всё, что ей заблагорассудится, – и международная общественность будет лишена возможности как-то влиять на её внутреннюю политику.

Отсюда неизбежно возникнет двойной стандарт в оценке деятельности правительства. О том, что происходило в Сирии под властью президента Хафеза Асада, мы практически ничего не знаем. Доходили слухи, что однажды он вторгся в собственный город с танками и перебил там до 20 тысяч человек. Но кто это может документально подтвердить? Ведь почти все корреспонденты по Ближнему Востоку вынуждены базироваться в единственной стране этого региона, уважающей права человека, – в Израиле. И вот уж

израильскому правительству достаются шишки в каждой иностранной газете. Сфотографировать израильского солдата с автоматом в руке, который тащит за шиворот участника интифады, – это всегда безотказно выигрышный кадр. А докопаться до того, как организация Хамас втихую расправляется с теми палестинцами, которые хотели бы мирно жить и работать на этой земле, – ну, это уж слишком трудно. Да и пулю можно схлопотать.

Поэтому хотелось бы призвать и уравнителей, и состязателей: в своих взглядах на международную политику, которые очень сильно влияют на то, с кем свободный мир будет дружить, а с кем враждовать, не дайте высоким идеалам защиты прав человека ослепить себя. Нелепо требовать от защитника правопорядка одинаковых норм поведения, независимо от силы и свирепости нарушителей, с которыми ему приходится иметь дело. Английский «бобби» может охранять порядок на улицах английских городов, разгуливая без оружия. Но ему не придёт в голову потребовать, чтобы его американский или израильский коллега последовал его примеру.

К сожалению, в Американской внешней политике последние сорок лет влияние уравнительного мышления было очень сильным. От Южного Вьетнама требовали соблюдения «прав человека» посреди кровавой и беспощадной войны. От Судана, Ирана, Анголы, Эфиопии, Сомали требовали проведения свободных выборов – и отдали эти страны близоруким фанатикам с красными или зелёными знамёнами. А после этого о правах человека уже говорить не приходится. (СТН-169-70)

Об образовании

На первый взгляд может показаться, что дети состязаются только между собой: бегают наперегонки, борются, спорят, дерутся. Мир взрослых мало привлекает их, ибо там у них нет надежды на победу, – взрослый, как правило, во всём сильнее ребёнка. И надо видеть это счастливое и гордое выражение на лице какого-нибудь малыша, решившего математическую задачу, над которой тщетно бился отец, взявшего правильную ноту на рояле, выигравшего партию в шахматы.

Умственная и художественная деятельность – это именно тот просвет, где подрастающий человек впервые может обнаружить у себя необычный избыток сил и талантов. И если в нём есть тот таинственный заряд, который мы договорились обозначать термином «дальнозоркий», он начнёт уже в очень раннем возрасте усиленно развивать этот талант, накапливать знания, тренировать и совершенствовать логический аппарат своего мозга.

Конечно, это отнюдь не значит, что любой школьный отличник должен быть автоматически отнесён к разряду дальновзорких. Волевой потенциал, жадность к жизни могут переполнять ребёнка таким нетерпением, что у него, при всех его дарованиях, просто не хватит самодисциплины, чтобы подчинить себя школьной рутине. Можно привести в пример тысячи знаменитых людей, которые в своё время не смогли закончить университет или даже школу. И всё же, на сегодняшний день, будет справедливо сказать, что в цивилизованных странах учебный процесс стал главным поприщем, на котором происходит первое размежевание между дальновзоркими и близорукими. (Недаром же высшее образование стало таким престижным фактором, что на него цены можно взвинчивать от года к году).

В 1990-е годы Институт Гэллага проводил большое исследование системы школьного образования в развитых странах. Выпускникам были предложены в виде тестов 16 вопросов по географии. Исследователи пытались понять, как влияют на успехи учеников финансирование, подбор учителей, школьные программы, выбор учебников. Страны-победительницы гордились своими успехами и видели в них доказательство правильности применявшихся методов.

Но русский исследователь М.А. Балабан обратил внимание на любопытный феномен: среднее число правильных ответов, которое и шло в зачёт, сильно отличалось от страны к стране. Однако процент выпускников, давших правильные ответы *на все 16 вопросов*, был одинаковым для всех стран – 10% от числа опрошенных.

Балабан делает из этого наблюдения такой вывод: только 10% людей способны учиться с книгой в руках, подчиняя себя тексту и тесту. Будучи типичным уравниателем, он отмечает с порога допущение о разнице способностей. «Не может быть, чтобы 90% были глупее! – считает он. – Необходимо разрабатывать новые, экспериментальные, не книжные системы преподавания, которые позволили бы этим, по своему умным и талантливым, ребятам сравняться с обогнавшими их одноклассниками!»

На самом же деле результаты этого обследования свидетельствуют совсем о другом. 10% – это дальновзоркое меньшинство, которое шутя справилось с тестом, рассчитанным на средний уровень. В теории они как бы прошли «отборочные состязания» и теперь могли бы начать состязаться друг с другом всерьёз – на более сложных тестах.

На практике, в цивилизованных странах так и произойдёт: эти 10% победят на отборочных экзаменах, попадут в институты, университеты, колледжи и начнут своё восхождение к постам хозяев знаний и хозяев вещей. Они будут жадно впитывать новую информацию, сортировать её, пробовать свои силы то в одном, то в

другом, искать и находить талантливых учителей, разочаровываться в них, переходить к новым. На выпускном торжестве они будут сидеть бок о бок, будущие уравниатели и состязатели, часто ещё не зная, как эта стена разделит их в ближайшие годы. И что мог бы сказать им наш воображаемый посредник, если бы его пригласили произнести торжественную речь?

Он мог бы (если бы правила общественного этикета уже позволяли приподнимать покров над стыдной тайной врождённого неравенства) сказать этим выпускникам:

– Вы – то избранное меньшинство, которому по непостижимой милости Творца досталось от рождения пять талантов. Вам предстоит играть ту роль в жизни своей страны, которую в человеческом теле играют нервные волокна, клетки головного мозга, органы зрения и слуха. Но какого бы успеха вы ни достигли на избранном вами поприще, не поддавайтесь соблазну вообразить себя лучше любого соотечественника, принадлежащего к менее одарённому большинству.

Да, мы восхищаемся талантом, мы мечтаем открыть его в себе, мы напрягаем все силы в погоне за признанием и славой. Но по высокому счёту талант не делает нас лучше. Одарённый и талантливый дальнзоркий может направить свою энергию исключительно на утоление злых и корыстных страстей – история даст нам миллионы примеров тому. И наоборот, человек весьма скромных дарований, может поразить нас глубиной своих чувств, ясностью взгляда на смысл бытия, благородством поведения, добротой, честностью. Никогда не забывайте о том, что само ваше состязание друг с другом остаётся возможным лишь постольку, поскольку рядовой человек соглашается подавлять свою зависть и уступать место более талантливому. История 20-го века дала нам слишком много примеров того, как рушится состязательный принцип там, где большинство теряет понятие о том, что достойно и что нет.

Берегитесь греха гордыни – но не впадайте и в грех воспалённой скромности. Примите груз ответственности за дарованные вам таланты. Культ равенства среди высоковольтных слишком часто вырастает из трусости, из желания укрыться от ответственности в гущу «как все». Нет, вы не как все. Глаза не могут выполнить работу руки, сжимающей молоток, но человек без глаз обречён жить наощупь и, скорее всего, попадёт молотком не по гвоздю, а по собственным пальцам. Разумный человек, попавший в зону пожара, подставит ладони, чтобы защитить глаза, а безумный пойдёт навстречу огню напролом. Так и общественный организм: разумный станет прилагать все усилия, чтобы сохранять своих дальнзорких, а впавший в безумие попытается сравнять их со всеми. Конечно, есть моменты, когда нам не по силам остановить

безумие. Но не впадать в него самим заранее, то есть не декларировать врождённое равенство людей – это всегда в нашей власти.

Представим себе корабль, плывущий в ночи через океан. Он сверкает огнями. Вглядевшись, мы различаем, что эти огни неодинаковы по силе. Есть мощные прожектора, освещающие путь корабля. Есть сигнальные огни на бортах и надстройках. Есть фонари, льющие свет на палубу, на турбины, на шлюпки. Есть лампочки, горящие в каютах.

Точно так же должны были бы распределяться роли между дальнорукими и близорукими в человеческом обществе. Те, кому достался мощный прожектор сознания, должны заниматься миропостижением. Те, чей свет не достигает так далеко, но зато крепче рука и сильнее воля, должны стоять на капитанском мостике, у штурвала. Те, у кого послабее, должны выполнять роль администраторов, торговцев, преподавателей, то есть хозяев вещей и хозяев знаний. Те, чей светильник освещает лишь круг повседневных – но столь необходимых! – дел и забот, должны были бы пользоваться им для этой цели и не пытаться вести за собой других.

Но вряд ли когда-нибудь в истории какой-то страны был надолго достигнут подобный разумный баланс. Дальнорукие, гордясь мощностью своих прожекторов, начинают воображать, что с их помощью можно регулировать жизнь людей до мельчайших подробностей. И не замечают при этом, что сплошь да рядом их дальновиденье будет только ослеплять, когда дело дойдёт до простых повседневных вещей. Близорукий же начинает тяготиться привилегиями дальноруких, начинает воображать, что все эти дальние лучи вообще никому не нужны – ведь его взор всё равно не проникает так далеко во времени и пространстве.

Преодолеть вечное взаимонепонимание между дальноруким и близоруким можно только на религиозном уровне. Только вера во Всемогущего Творца приоткрывает человеку простую и возвышающую истину: наши состязания и наше неравенство – ничто рядом с величием нашего Создателя. Вернувшись к нему, мы сможем вернуться друг к другу. А без Него, без мысли о Нём, мы обречены на вечную и безысходную вражду.

В религиозном истолковании, главный грех дальнорукого – гордыня.

Главный грех близорукого – зависть.

Почему мы нужны Творцу от рождения неравными – великая и непостижимая тайна. Но именно так Он нас создал – свободными и неравными.

Получившему один талант тяжело смотреть на получившего пять – и он свободен одолеть это тягостное чувство или поддаться греху зависти. Получившему пять талантов тяжело смотреть на обделённого брата своего – и он свободен зарыть дар в землю или принять его и пустить в умножение Славы Господней.

Самая трудная заповедь в Евангелии: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас» (Матфей, 5:44). И кто же сумел исполнить её? Парадоксально, но так: её исполнили неверующие дальнорюкие интеллигенты последних двух веков. Это они продолжают благословлять «обижающих и гонящих» их близорюких, почтительно именуя их «народом».

Но неверующему дальнорюкому стыдно смотреть в глаза своему близорюкому брату. Именно поэтому он с такой страстью, а порой и с яростью провозглашает, что врождённого неравенства не существует. Именно поэтому натягивает стыдливый покров умолчания на все проявления неравенства. Именно поэтому в последние два века упадок веры идёт бок о бок с торжествующим уравнительством.

Дальнорюкие! Не обманывайте себя, не воображайте, что каждый человек хочет того же, что и вы, – свободно состязаться с другими в реализации своих талантов. Это вы хотите свободного состязания, потому что знаете, что у вас есть все шансы на победу. Близорюкий не хочет этого. Он хочет разрушить правила игры, в которой выигрыш для него невозможен.

О, дальнорюкий! Наберись мужества – прими свой дар и связанную в нем ответственность. *Noblesse oblige* – благородство обязывает. Не мечтай поднять близорюкого до себя – у него нет сил справиться с твоей задачей: быть прожектором в ночи мироздания. Ведь без твоего мощного луча корабль врежется в айсберг, в скалу, заплывёт в Мальстрим. Спаси себя и близорюкого брата своего от нового многомиллионного братоубийства. Ибо при наличии термоядерного оружия оно может стать последним.

Эпилог: РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ ВЫБОРА МЕЖДУ ВЕДЕНЬЕМ И НЕВЕДЕНЬЕМ

О духовном богатстве Мы принято судить по достижениям наук и искусств, по уровню образования, по характеру нравов и степени религиозности, то есть по тем или иным внешним проявлениям; выбор же – акт потаенно-индивидуальный, эмпирически не обнаруживаемый; если бы не эта принципиальная разница между понятиями, можно было бы соединять их знаком равенства: «выбор веденья = духовное богатство». Ибо невидимые усилия, совершаемые каждым человеком в сторону выбора ведения и создают тот духовный капитал, ту духовную почву, на которой возрастает все многообразие зримых плодов культуры.

Вершины, достигнутые человеческим духом, обычно носят имена их открывателей – мыслителей, художников, ученых, праведников. Можно признать эту традицию удобной и справедливой; но если практическая метафизика настаивает на ответственности всякого народа за преступление, творившиеся в его среде, она тем более обязана признать, что и в победах духовных он должен получать свою долю славы.

Ни одна такая победа не была достигнута силами одного человека или группы людей. Как дерево не вырастает на каменистой безводной почве, так и великий художник, мыслитель, пророк не могут явиться в духовной пустыне. Русская литература XIX века никогда не могла бы подняться на такую высоту, если бы не было тысяч читателей, жадно ловивших каждое новое слово, каждую поэтическую строку, если бы не было многомиллионного народа, умевшего в пучине рабства и невежества сохранять и отстаивать человеческие черты и тем самым доводить нравственное противоречие социального неравенства до мучительной и плодотворной остроты. Столь густое скопление звезд в немецкой философии XVIII–XIX века никогда не смогло бы появиться, если бы в образованном обществе не господствовало такое напряженное устремление ко всему трансцендентальному, а в народе – культ честности, возведенной в ранг первой добродетели. А разве возможны были бы успехи естественных наук в Англии, Франции и Голландии в XVII веке без побед протестантизма, ослабивших тиски папско-инквизиторского неведения? А итальянская живопись, скульптура, зодчество – вне общего подъема национального эстетического чувства, заставлявшего горожан бросать свои дела и бежать на площадь, если там выставляли новую статую? А испанские и португальские открытия – без жажды неведомого, обуревавшей толпы авантюристов в портах Кадиса и Лиссабона? Так же и

римские государственные институты, являющиеся до сих пор образцами политического устройства, остались бы пустыми проектами, если б не были воплощены в жизнь народом, у которого «любовь к отечеству носила религиозный оттенок».¹ И античная культура не появилась бы на свет, если бы в Афинах возобладали то же духовное начало, что и в Спарте. И, наконец, зерну, из которого произошли величайшие мировые религии, негде было бы пустить корни, если б не нашлось маленького народа, способного уверовать с такой силой и страстью, что Бог смог заменить им даже родину.

Кроме проявлений чисто духовных есть еще одна внешняя черта, позволяющая судить о степени выбора, достигнутой Мы: его связи с прошлым и будущим. Почитание предков – вот древнейшая форма выражения этой связи, сохраняющая этико-религиозный характер как в родовых Мы, так и в современных. Если каждый член племени знал свою родословную до седьмого колена, это играло в его жизни такую же роль, как учение об адских муках в жизни христиан; любое твое нечестие потомки будут помнить и проклинать десятки лет после твоей смерти – уверенность в этом должна была служить очень сильным сдерживающим средством. (ПМ-254-55)

Если обычаи и законы соединяют в единое Мы всех, кто живет в настоящем, то религия часто берет на себя попутную задачу соединить еще и (по выражению Александра Кушнера) «тех, кто умер, с теми, кто не жил». Недаром более сложная форма этого соединения – история – поначалу находилась всецело в ведении жрецов или монахов, а у некоторых народов исторические книги являются одновременно и священными.

Вообще появление истории у какого-нибудь народа знаменует значительный прогресс выбора ведения, ибо оно являет собой приближение весьма далекого инабстрактно прошлого к инконкрето настоящего. Евреи, сделавшие так много для духовного движения человечества вперед, ведут свою историю от самого основания; наоборот, в Индии, при всей ее ранней богатейшей культуре, ущербность выбора ведения, выразившаяся в пренебрежении к истории (к *раньше* и *потом*), завершилась общим упадком, двухтысячелетним застоем, порабощенностью. В Китае летописи хотя и велись с незапамятных времен, торжество неведения проявлялось в полной подчиненности исторической правды сегодняшнему владыке, в периодическом уничтожении исторических книг, а заодно и историков (очередной такой период мы видели в годы «культурной революции»); народ же всегда довольствовался не общенациональной связью прошлого с будущим, а гораздо более куцей, семейно-родовой, то есть почитанием своих предков.

Богатство, свобода, культура – казалось бы, неисчислимы блага, даруемые выбором ведения. Но есть одно благо, которого он дать никогда не может, – покой, тишина, неизменность. Конкурентная борьба – вот обязательная цена богатства народов; политическая борьба – вот неперемнная цена свободы; борьба различных направлений в сферах искусства, науки, морали и религии – без нее немислимо существование культуры.

Борьба, борьба – всюду борьба.

Но зачем, ради чего? Нельзя ли положить этому конец, прекратить борьбу и соединиться в мире и согласии, спрашивают слабые от рождения и уставшие за долгую жизнь, недалекие и слишком умудренные, знающие только сегодня и помышляющие только о вечном. Как это ни печально, ответ должен быть таким: для выбравших неведение прекращение борьбы возможно; для выбравших ведение – никогда. Ибо только на узкой почве представлений инконкрето можно найти нечто незыблемое и общеобязательное, могущее стать фундаментом для человеческого согласия; в бескрайних же просторах инабстрактно каждый рискует затеряться в одиночестве.

Чем дальше человек заходит в выборе ведения, тем меньше у него шансов встретить близкую душу, чем сильнее он предан своему пути, тем враждебнее относится к путям других. Тот, кто всей душой устремляется в инабстрактно прекрасного, часто с презрением смотрит на инабстрактно рационально-практическое. Преданный морально-этическому идеалу готов именем добра отметить как рационально-практическое, так и прекрасное. Поднявшийся до лицецерения внутренним взором Божественного объявляет тленом и прахом всю жизнь и все устремления человеческие.

Все проектанты идеальных Мы что-нибудь да отсекают: Платон – красоту, Ницше – добро, социалисты – веру. И так как ни один абстрактный идеал не оказывается способным обеспечить Мы необходимое единство, реальные Мы вынуждены сводить их всех к какому-нибудь инконкрето: веру – к догме, добро – к порядку и законности, красоту – к канонам и модам, мудрость – к знанию правил. Только на этой зауженной и обедненной почве удается Мы поддерживать относительный мир между различными степенями и различными направлениями выбора ведения, давать относительный покой уставшим и относительную безопасность томящимся духом. Стабильность, покой внутри Мы – это и есть блага, которые ведение вряд ли когда-нибудь сможет обеспечить. (ПМ-256)

В духовном мире одна лишь философия вечно пытается выступить с пальмовой ветвью в руке.

По четырем основным направлениям уводит выбор ведения человеческую душу в пучину инабстрактно – и ни одно из этих

направлений нельзя назвать путем собственно философа. Философии в духовной жизни человека принадлежит совершенно особая роль. Не будучи в чистом виде ни наукой, ни искусством, ни системой морали, ни религиозным учением, она странным образом соединяет в себе черты и того, и другого, и третьего, и четвертого. Ибо вырастает она именно из внутренней потребности снять противоречивость, исключительность этих путей, обнаружить их глубочайшее сродство и единство. Этот внутренний смысл объединения обуславливает то, что в истории культуры любого периода крупный философ всегда появляется *после* художников и ученых; ибо, не будь их, ему нечего было бы объединять.

Сами художники, ученые, моралисты и законодатели редко приемлют полностью какого-нибудь философа – они предпочитают довольствоваться своей собственной, часто довольно кустарной философией, обязательно оставляющей что-то непримиренным (то есть взывающим к творчеству). Но люди обыкновенные, нетворческие тянутся в эти периоды к философии как к великой примирительнице. Не созидавая ничего полезного, прекрасного, поучительного или возвышенного, философия тем не менее имеет такой характер универсальности, что остается окруженной в глазах всех людей ореолом таинственного величия; часто на нее возлагают даже надежды, превышающие ее возможности.

Особенно же превозносима она самими философами. Многие из них не уставали повторять, что нет более блаженного занятия на земле, чем философствование. Мало того: те из них, кто был в глубине души слишком сильно предан какому-то из направлений – научному, как Пифагор или Спенсер, художественному, как Шеллинг или Ницше, этическому, как Сократ или Толстой, – те доходили до претензии заменить своей философией все остальные направления и изменяли соединительной задаче философии. Кроме этого вечного разлада между различными духовными устремлениями души, философу всегда приходится преодолевать и другое противоречие: между трансцендентальностью чувствования и реальностью мышления, между абсолютной свободой духовного и неизбежным ограничением свободы при воплощении чисто духовного опыта в материал философии – в понятия, выраженные словом.

Первым великим законодателем в философии явился создатель логики – Аристотель. Следующий важнейший шаг был сделан Кантом, очертившим границы правомочности спекуляций чистого разума. (Иосиф Бродский дерзко, но довольно точно сравнил его со «свистящим в свисток постовым».) Шопенгауэр, идя вслед за Кантом, сформулировал единственно возможное соотношение рационального и иррационального начал в метафизике: «То божественное, что открывается человеку свыше всякого рассудка,

философия должна верить именно рассудку как надежному хранителю во времени, уважая его и щадя его законы... Догматики искали при помощи него. Мы будем искать для него».²

Но как бы успешно ни справлялась философия со своей задачей, она не может отменить исполнение жизненной задачи, стоящей перед каждым человеком, перед каждым новым поколением. Ведь «верить рассудку», понять – это всегда в какой-то мере значит преодолеть-закрепить-умертвить-оставить позади. Как бы ни увлекала нас глубина кантовско-шопенгауэровского постижения мира, мы не должны забывать, что рассудку для хранения во времени мы веряем лишь тень, лишь отблеск духовного мира. Слишком многие любят философию именно за то, что она дает иллюзию приобщения к «божественному» одним лишь усилием ума, без усилий души и мучений выбора, которые всегда оплачивают это приобщение.

Самые фантастические научные открытия, самые блестящие произведения искусства, высочайшие нравственные идеалы и религиозные откровения останутся мертвыми словами, книгой за семью печатями, без духовной работы, совершаемой каждым человеком, избирающим ведение. (ПМ-258)

Когда входящий в жизнь обуреваем смутным сознанием высокого назначения дарованной ему свободы и жадно ищет, к чему примкнуть, чтобы «сполна изжить священные силы ума и сердца» (Андрей Платонов), чтобы приумножить «дарованный талант», когда такой человек в страстных поисках своих обратится к философии, она должна ему сказать: к чему бы ты ни примкнул в этом мире явлений, что бы ты ни делал, это не избавит тебя от выбора, перед которым оказывается каждый. Ни та или иная религия, ни политическое движение, ни художественная школа или научное направление не выдадут тебе спасительной индульгенции. Все внешнее может лишь помогать тебе или мешать, но в конечном итоге выбираешь ты сам. Ни в чем ты не можешь быть так свободен, как в этом выборе. Его нельзя совершить раз и навсегда – каждый день и каждый час его приходится совершать заново. Акт этот настолько скрыт от постороннего взора, что никто никогда не сможет оценить твоих усилий; сам же ты тоже не сможешь сказать себе «кажется, я достиг высоких степеней в выборе ведения», ибо это прозвучит столь же нелепо, как «кажется, я достиг святости». Никаких реальных благ или зримых результатов ты можешь и не дожидаться в своей жизни, и никакого бессмертия выбор не обещает. Ты не можешь утешать себя даже мыслью о тех благах, какие получит Мы, ибо твой выбор вполне может остаться в меньшинстве и пройдет незамеченным. Если ты выбираешь, то столь же свободно, сколь и бескорыстно, ибо выбираешь ты, в сущности, готовность к

духовному терзанию, которое злая судьба может усугубить и терзанием физическим.

Духовное богатство – вот единственная, неуловимая, расплывчатая и бесплотная награда, достающаяся выбравшему ведение.

Но зато уж тот, кто обрел ее, кто знает, что это такое, тот может быть уверен, что никто не отнимет у него эту награду и никто никогда не достигнет ее другим путем, нежели он сам. (ПМ-259)

«В этом внешнем мире все на предьявителя... – писал Серен Кьеркегор – первый мыслитель, воздавший должное выбору. – Обладатель сокровищ мира и остается их обладателем, каким бы путем они ему ни достались. В мире духовном не так. Там царствует вечный божественный порядок; там дождь не идет на поля праведных и на поля неправедных, там солнце не светит и на злых, и на добрых; там, действительно, хлеб достается лишь трудящемуся, мир душевный лишь тому, кто испытал муки трепета; там лишь тот, кто спускается в преисподнюю, спасает возлюбленную, лишь тот, кто занес нож, обретает Исаака».³

Чем дальше человек устремляется по пути веденья, тем грознее открывается перед ним неумолимость небытия, тем меньше у него шансов спастись от отчаяния своими силами. На предельных степенях веденья спасти может только вера – об этом свидетельствуют и те, кто обрел её, и те, кто остался лицом к лицу с отчаянием. «Выбирая абсолют, я выбираю отчаяние, – пишет Кьеркегор. – Я хорошо знаю, что, хотя и смело иду навстречу великим бедам и ужасам жизни, всё же мужество моё не есть мужество веры и никакого сравнения с нею не выдерживает. Я не способен к духовному акту веры, не могу, закрыв глаза, слепо ринуться в абсурд, – для меня это невозможно, но я не хвалюсь этим».⁴ «Не толкай меня к потерянному! – восклицает Кафка. – Тому, кто живой не может справиться с жизнью, одна рука нужна для того, чтобы отводить немного в сторону отчаяние по поводу своей судьбы, – это делается очень неискусно, – другой же рукой он может записывать то, что видит под развалинами, ибо он видит по-другому и больше, чем другие, он ведь мёртв при жизни и всё же остался в живых».⁵ Один из героев Камю в тоске задаёт себе и окружающим один и тот же вопрос: «Можно ли стать святым, не веря в Бога?».⁶

Но и те, кто обрел в конце концов веру, описывают полосы ужасного отчаяния, через которые они проходили на пути к ней. «И возненавидел я жизнь, – говорит Экклезиаст, – потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо всё – суета и томление духа» (Еккл., 2:17). Иов, раздавленный несчастьями, ухлящущий произвол Бога, грозит ему самым ужасным – полным отпадением, возвратом к неведению: «Не хочу знать души моей, презираю

жизнь мою» [Иов, 9:21]. Отчаяние Лютера, пока он пытался в монастыре спасти душу постом и покаянием (то есть своими силами), чуть не убило его. «Я скажу вам про себя, – пишет Достоевский в одном письме 1854 года, – что я – дитя века, дитя неверия и сомнений до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила мне и стоит теперь эта жажда верить, которая тем сильнее во мне, чем более во мне доводов противных». К Толстому накануне его обращения тревога пустоты и бессмысленности придвинулась вплотную в образе бесконечного, выжигающего самовопрошания: «А дальше что?».⁷

Религиозный смысл выбора между веденьем и неведеньем не только засвидетельствован многими людьми, жаждавшими веры, но многократно отражён в самих текстах Писания. «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» [Марк. 1:37]. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» [Матф., 25:13]. «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи» [Лука, 12:35]. В притче о талантах, оставленных хозяином слугам своим, показаны одновременно и неравенство даруемых людям духовных сил, и отсутствие ясного повеления о том, как ими следует распорядиться, и свобода выбора – пускать или не пускать их в дело, и Божий гнев на того, кто зарыл талант в землю, и страх зарывшего потерять в жизненной борьбе то, что было дано, и встретиться с отчаянием вины, ибо: «Господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий: жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал» [Матф., 25:24].

В свете положений метафизики религиозный аспект выбора веденья раскрывается ещё с одной стороны. Ибо, устанавливая прямую связь между выбором «я» и созиданием социума – «мы», метафизика проясняет тем самым способ и степень участия «я» в строительстве мира или, по крайней мере, в той его части, которую Тейяр де Шарден именуется «ноосферой».⁸ Избирая веденье, «я» заведомо становится причастным миростроительству, и это помогает ему справиться с тревогой пустоты и бессмысленности.

Смыслом индивидуального бытия становится соучастие в Божественном мирозидании.

Однако, свободно выбирая веденье и с ним – соучастие, обретая смысл, ведающий одновременно принимает на свои плечи и огромный груз ответственности за миростроительство. Он становится ответственным за несовершенство мира, и с этого момента к нему вместо преодоленной тревоги пустоты и бессмысленности снова, как и в Средние века, вплотную приближается тревога вины и осуждения. Для него фраза: «Грехи отцов падут на детей» – перестает быть туманной угрозой, но превращается в твёрдое знание о том, что грех допущенного им неведенья падёт на

головы его потомков общим разорением государства, разрухой, голодом, нищетой, террором. Он не на словах, а на деле, болью сердца начинает сознавать себя виновным и ответственным за концлагеря и пытки, за потоки крови и слёз, за ложь и клевету, за погибшие урожаи и разбившиеся самолёты, за несправедливо осуждённых и незаслуженно возвеличенных, за города, погружающиеся под воду, за истребление лесов, за океаны, покрывающиеся нефтью, за атомные взрывы, за всякую мелкую подлость, случившуюся поблизости, и крупную резню, начавшуюся вдалеке.

Метафизика не может ничем помочь человеку в преодолении тревоги вины и осуждения. Эта помощь может прийти только из сферы религии. Не той религии, которая в жажде увеличения численности паствы идёт навстречу требованиям неведения, но той, которая понимает серьёзность своей задачи и готова разделить с ведающим его сомнения, страхи, его боль и ответственность. Единственное, чем метафизика может укрепить мужество избирающего веденье, сводится к повторению той истины, что недостижение им поставленной перед собой цели, разрушение построенного им в жизни, гибель начинаний ещё не означают его личного поражения.

Ибо миростроительство, осуществляемое выбором веденья, не похоже на строительство дома.

Дом начинают и заканчивают, он может быть построен к определённом времени, можно запоздать с его окончанием, он может вообще не состояться. Миростроительство не состояться не может. Оно происходит непрерывно и бесконечно в каждой точке времени-пространства. Поэтому если какой-то народ в течение нескольких веков существовал, созидая материальные и духовные ценности, охраняя обширные «я-могу» своих граждан, расширяя сферу миропостижения, то, пусть впоследствии он даже исчез с лица земли, мы можем считать, что на своём отрезке времени-пространства он сумел осуществить предназначавшуюся ему часть Великого Замысла. И если группа людей в течение нескольких десятилетий своими усилиями держалась высокого уровня знаний, веры, искусности, то, пусть даже очередная волна неведения смыла их без следа, эти несколько десятилетий будут светить в мироздании особым светом, как витраж в соборе. И если даже один человек прожил незаметную жизнь, не поступившись, однако, сознанием своей свободы и своего предназначения, он может надеяться на оправдание, на то, что существование его не будет отвергнуто, но ляжет прочным камнем в стены, возводимые Строителем мира. (МП-211-14)

Примечания

К главе 1.

1. Иммануил Кант. Критика чистого разума. Собр. сочинений, Москва, 1964, том 2, стр. 86.
2. Там же, стр. 434.

К главе 2.

1. Вильгельм Виндельбанд. История новой философии. СПб: 1913, т. 2, стр. 210.
2. Фридрих Гегель. Философия истории. Собр. соч., Москва: 1935, т. 8, стр. 38, 64, 54.
3. Виндельбанд, указ. соч., т. 2, стр. 262.
4. Кант, Критика чистого разума, указ. соч., т. 2, стр. 551.

К главе 3.

1. Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Собр. соч., Москва: 1901, том 1, стр. 143.
2. Там же, т. 2, стр. 179.
3. Там же, т. 1, стр. 173.
4. Там же, т. 1, стр. 272.
5. Там же, т. 2, стр. 612.
6. Артур Шопенгауэр. Свобода воли и основы морали. СПб: 1887, стр. 32.
7. Лев Толстой. Война и мир. Собр. соч., Москва: 1911, т. 8, стр. 398.
8. Там же, стр. 407.
9. Там же, стр. 413.
10. Там же, стр. 401.
11. Там же, стр. 400.

К главе 4.

1. Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Собр. соч., Москва, 1901, т. 2, стр. 614.
2. Лев Толстой. Война и мир. Собр. соч., Москва: 1911, т. 7, стр. 5-6.
3. Там же, том 8, стр. 124.

Глава 5 – без примечаний.

К главе 6.

1. Иммануил Кант. Критика чистого разума. Указ. соч., т. 1, стр. 149.
2. Освальд Шпенглер. Закат Европы. Петроград: 1923, т. 1, стр. 126.

К главе 7.

1. Лев Толстой. Исповедь. Собр. соч., указанный ист., т. 11, стр. 17.

Глава 8 – без примечаний.

К главе 9.

1. Артур Шопенгауэр. Новые Паралипомены. Москва, 1910, стр. 417.
2. Платон. Государство. СПб, 1863. Книга 4, стр. 211.
3. Там же.

4. Аристотель. Политика, СПб, 1893, стр. 3
5. Там же, стр. 281.

Глава 10 – без примечаний.

К главе 11.

1. Франц Кафка. Процесс. Москва, 1965, стр. 263.
2. Вольфганг Гёте. Фауст.

К главе 12.

1. Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Москва: 1960. Книга 4, 30.2.
2. Там же, кн. 6, 10.2.
3. Александр Панцов. Мао Цзедун (Москва: «Молодая гвардия», 2007), стр. 55.
4. Geyer, Georgie Anne. *Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro*. Boston: Little, Brown & Co., 1991.

К главе 13.

1. Лев Толстой. Война и мир. Собр. соч., Москва: 1911.

К главе 14.

1. Плутарх. Сравнительные жизнеописания (Москва: 1961), том 1, стр. 59.
2. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов (Москва: 1962), стр. 289.
3. Andrew Sorkin. *Too Big to Fail* (New York: Viking Press, 2009)
4. <http://en.wikipedia.org/wiki/TARP>, p. 13.
5. Robert Frank. *Richistan* (New York: Crown Publishers, 2007)
6. Robert Frank. Internet, NPR Archives.

К главе 15.

1. Маяковский В.В. Избранные произведения (Москва: «Детская литература», 1967), стр. 318.
2. Montaigne, Michel. *Essays* (New York: Penguin Books, 1955), p. 282.

К главе 16.

1. Aristotle. *Politics* (Oxford: 1885), vol. 1, p. 79.
2. Richard J. Hernstein and Charles Murray. *The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life*. New York: The Free Press, 1994.
3. Boehm, Christopher. *Blood Revenge* (Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1994), p. 61.
4. Ibid., p. 111.
5. Авторханов Абдурахман. «Технология власти». Франкфурт: Посев, 1983. Не имея источника под рукой, привожу эпизод по памяти.
6. Montefiore, Simon Sebag, *Young Stalin* (New York: Alfred A. Knopf, 2007), p. 127.

К главе 17.

1. Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Собр. соч., Москва: 1901, том 2, стр. 557.
2. Там же, стр. 570.

3. Пушкин А.С. «Евгений Онегин».
4. Лев Толстой. Дневник, 1863 г.
5. Лермонтов М.Ю. «Опасение».

К главе 18.

1. Лермонтов М.Ю. «Родина».
2. Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Собр. соч., Москва: 1901, том 2, стр. 379.
3. Белинский В.Г. «Литературные мечтания» (1834)
4. Шопенгауэр, указ. ист., том 1, стр. 217.
5. Владимир Соловьёв. Оправдание добра. Москва: 1899, стр. 276.
6. Шеллинг Фридрих. Философия искусства. Стр. 403.
7. Там же, стр. 412.

К главе 19.

1. Владимир Соловьёв. Оправдание добра. Москва: 1899, стр. 10.
2. Там же, стр. 323.
3. Франц Кафка. Процесс. Москва: 1965, стр. 296.

К главе 20.

1. Серен Кьеркегор. Страх и трепет. Рукопись в переводе Ганзена. (см. СВ)
2. Там же.
3. Фюстель де Куланж, Нума Дени. Гражданская община Древнего мира. СПб: 1906, стр. 145.

К главе 21

1. Лев Толстой. Война и мир. Собр. соч., Москва: 1911,

К главе 22.

1. Chambers, James. *The Devil's Horsemen* (New York: Authenium Books, 1979), page 146.
2. Weatherford, Jack. *Genghis Khan* (New York: Free Rivers Press, 2003), p. 73.
3. Chambers, op. cit., p. 71.
4. Ibid., p. 73.
5. Ibid., pp. 74-75.
6. Ibid., p. 80.
7. Weatherford, op. cit., p. 154.
8. Ibid., p. 92.
9. Ibid., p. 112.
10. Ibid., p. 119.
11. Ibid., p. 148.
12. Durant, Will. *The Age of Faith* (New York: Simon & Shuster, 1950), p. 340.
13. Юлий Цезарь. Галльская война. Москва: Наука, 1948, стр. 123.
14. Там же, стр. 125.
15. Plutarch. *The Lives of the Noble Grecians and Romans* (New York: The Modern Library, 1964), p. 865.
16. Гумилёв Л.Н. Хунну. Москва: Изд. Восточной литературы, 1960.

17. Huntington, Samuel. *The Clash of the Civilizations* (New York: Simon & Shuster, 1996), p. 253.
18. Bergen, Peter. *The Osama bin Laden I Know* (New York: Free Press, 2006), p. 370.
19. Blankley, Tony. *The West Last Chance* (Washington: Regnery Publishers, 2005), p. 161.
20. Hansen, Victor Davis. *Mexifornia* (San Francisco: Encounter Books, 2003), p. 40.
21. Blankley, op. cit., p. 95.

К главе 23.

1. Harari, Yuval Noah. *Sapiens: A Brief History of Humankind*. New York: Harper Collins, 2015.
2. Hagan, William. *American Indians* (Chicago: The University of Chicago Press, 1961), p. 73.

К главе 24.

1. Альтамира-и-Кревеа, Рафаэль. История Испании. Москва: 1957. Том 1, стр. 174.
2. Монтескье, Шарль де. Размышления о причинах величия и падения римлян. Москва: 1955. Стр. 95.
3. Хайек, Фридрих. Дорога к рабству. London: Nina Karsov, 1983, стр. 45.

К главе 25.

1. Лев Толстой. Война и мир. Собр. соч., Москва: 1911, т. 7, стр. 5-6.
2. Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man* (New York: Free Press, 1992).
3. Huntington, Samuel. *The Clash of the Civilizations* (New York: Simon & Shuster, 1996), p. 43.
4. Ibid., p. 256.
5. Ibid., p. 257.
6. Gat, Azar. *War in Human Civilization* (Oxford: University Press, 2006), p. 133.
7. Ibid., p. 386.
8. Ibid., p. 540.
9. Weaver, Mary Anne. *Pakistan* (New York: Farrar, Straus, Giroux, 2002), p. 216.
10. Ibid., p. 93.
11. Ibid., p. 216.
12. Ibid., p. 260.
13. Томас Манн. Письма. Москва: 1975.

К главе 26.

1. Аристотель. Политика. СПб, 1893, стр. 15, 132.
2. Густав Лебон. Психология народов и масс. СПб, 1896, стр. 51.
3. Лев Толстой. Война и мир. Собр. соч., Москва: 1911, том 8, стр. 396.
4. Иммануил Кант. Прелегомены. М.-Л., 1934, стр. 232.

5. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Москва, 1961. Том 1, стр. 130.
6. Ключевский В.О. Курс русской истории. Москва, 1956. Том 2, стр. 188.
7. Кьеркегор Серен. Повторение. Princeton Univ. Press, p. 152.
8. Paul Tillich. *The Courage to Be*. New Haven: 1963, p. 41.
9. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: 1962. Стр. 74.

К главе 27.

1. Серен Кьеркегор. Наслаждение и долг. СПб: 1894, стр. 223, 237.
2. Там же, стр. 302.
3. Там же, стр. 248.
4. Там же, стр. 232, 238, 246.
5. Фёдор Достоевский. Записки из подполья. Собр. соч., Ленинград: 1973. Том 5, стр. 125.
6. Серен Кьеркегор. Страх и трепет. Нью Йорк: Chalidze Publications, 1982, стр. 19.
7. Достоевский, указ. соч, стр. 109.
8. Франц Кафка. Процесс. Москва: 1965. стр. 233.
9. Там же, 235, 237.
10. Альбер Камю. Падение. Москва: 1969. Стр. 406, 425.
11. Там же, стр. 420, 440.
12. Альбер Камю. Чужой. Москва: 1969. Стр. 116.
13. Там же, стр. 130.
14. Там же, стр. 131.
15. Камю, Падение, ук. ист., стр. 452.
16. Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла. СПб: 1905. Стр. 117.
17. Paul Tillich. *The Courage to Be* (New Haven: 1963), p. 148.
18. Ibid., pp. 35, 40, 56-57.
19. Ibid., pp. 173-75.
20. Ibid., pp. 49-50.
21. Ibid., p. 100
22. Ibid., p. 101.
23. Ibid., p. 100.
24. Ibid., p. 84.

К главе 28.

1. Юлий Цезарь. Записки о галльской войне. Москва: 1948.
2. Владимир Соловьёв. Оправдание добра. Москва: 1899, стр. 307.
3. Эрнест Ренан. Жизнь Иисуса. СПб: 1864, том 2, стр. 58.
4. Платон. Государство. СПб: 1863, стр. 312.

К главе 29.

1. Франц Кафка. Процесс. Москва: 1965, стр. 254.
2. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Париж: ИМКА-пресс, 1980. Том 2, стр. 413-14.
3. Кафка, ук. ист., стр. 212.
4. М.А. Цявловский. Большевики. Москва: Задруга, 1918.

5. Robert Conquest. *The Great Terror. A Reassessment*. (New York: Oxford University Press, 1990), p. 461.
6. *Ibid.*, p. 450.
7. *Ibid.*, p. 470.
8. *Ibid.*
9. Лев Троцкий. Сталин. Москва: Терра, 1990. Том 1, стр. 25.

К главе 30.

1. Thomas Sowell. *A Conflict of Visions*. New York: William Morrow & Co., 1987.
2. *Ibid.*, p. 18.
3. Cheslaw Milosz. *Native Realm* (New York: Doubleday & Co., 1968), p. 125.
4. Николай Бердяев. Философия неравенства. Париж: ИМКА-пресс, 1990. Том 4, стр. 479.
5. Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Москва: Сирин, 1890. Книга 1, стр. 192.
6. Richard J. Herrnstein and Charles Murray. *The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life*. New York: The Free Press, 1994.
7. IQ (Intelligent Quotient) – коэффициент интеллекта; SAT (Scholastic Aptitude Test) – тест на научную подготовленность. Стр. 13.
8. Christopher Jencks. *Inequality. A Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America*. New York: Basic Books, 1972.
9. *Inequality*, *op. cit.*, p. 9.
10. Там же, стр. 265.
11. *Bell Curve*, *op. cit.*, p. 513.

К эпилогу.

1. Шарль Монтескье. Размышления о причинах величия и падения римлян. Москва: 1955, стр. 89.
2. Артур Шопенгауэр. Новые паралипомены. Москва: 1910, стр. 314.
3. Серен Кьеркегор. Страх и трепет. Рукописный перевод.
4. Серен Кьеркегор. Наслаждение и долг. СПб: 1894. Стр. 290.
5. Франц Кафка. Дневники. «Вопросы литературы», 1968, № 2.
6. Альбер Камю. Чума. Москва: 1969, стр. 335.
7. Лкв Толстой. Исповедь. Собрание сочинений, Москва: 1911. Том 13, стр. 17.
8. Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека. Москва: 1965.

Библиография

- Авторханов Абдурахман. *Технология власти*. Франкфурт: Посев, 1983.
- Альтамира-и-Кревеа Рафаэль. История Испании. Москва: 1951.
- Андерсон И. История Швеции. М., 1951.
- Аристотель. Политика. С.-Петербург: 1893.
- Аршинов Пётр. История Махновского движения. Запорожье: 1995.
- Белявский В.А. Вавипон. М., 1971.
- Бердяев Николай. Философия неравенства. Собр. соч., т. 4. Париж: ИМКА-пресс, 1990.
- Блок Марк. Апология истории. М. 1973.
- Бокль Томас Генри. История цивилизации в Англии. С.-Петербург: изд. Павленкова, 1896.
- Бродский Иосиф. «Речь о пролитом молоке». Собр. соч., т. 2. Санкт-Петербург: «Пушкинский фонд», 1992.
- Брэстед Д.Г. История Египта. СПб., 1915.
- Валлон А. История рабства в античном мире, М., 1936.
- Виндельбанд Вильгельм. История новой философии. СПб: 1913.
- Владимирцев Б.Я. Общественный строй монголов. Л., 1934.
- Гегель Фридрих. Философия истории. Собр. соч., Москва: 1935,
- Геллер М. и Некрич А. Утопия у власти. История Советского Союза. Лондон: Overseas Publications Interchange, 1986.
- Герберштейн С. О московитских делах. СПб., 1908.
- Геродот. История. Москва: 1972.
- Герцберг. История Византии. Москва, 1896.
- Герцен А.И. Былое и думы. Ленинград, 1946.
- Гершензон М.О. «Творческое самосознание». В сборнике Вехи. Москва, 1909.
- Гизо Ф. История цивилизации во Франции. СПб., 1881.
- Гольдцигер И. Лекции об исламе. СПб., 1912.
- Грин Д. История английского народа. СПб., 1890-е.
- Гумилёв Л.Н. Хунну. Москва: Изд. Восточной литературы, 1960.
- Гусев Н.Н. Два года с Толстым. Москва: Художественная литература, 1973.
- Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Полн. собр. соч., Ленинград: Наука, 1972-1984.
- Камю Альбер. Падение. Москва: 1969.
- Камю Альбер. Чужой. Москва: 1969.
- Кант Иммануил. Критика чистого разума. Собр. сочинений, Москва, 1964,
- Канторович Я.А. Средневековые процессы о ведьмах. СПб., 1899.
- Катон М. Земледелие. М., 1950.
- Кафка Ф. Дневники // Вопросы литературы, 1968, № 2.

- Кафка Франц. Процесс. Москва, 1965.
- Ключевский В. О. Курс русской истории. Москва: Госполитиздат, 1956.
- Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московии. СПб., 1918.
- Ковалевский М.М. История современной демократии. СПб., 1897.
- Котельникова Л.А. Итальянское крестьянство и город. М., 1967.
- Крамер С. История начинается в Шумере. М., 1965.
- Ксенофонт. Анабасис. М., 1951.
- Кьеркегор Серен. Страх и трепет. New York: Chalidze Publications, 1982
- Кьеркегор Серен. Наслаждение и долг (Или-или) СПб: 1894.
- Лебон Густав. Психология народов и масс. СПб, 1896
- Ли Чарльз. История инквизиции. СПб., 1912.
- Ливий Тит. Римская история от основания Рима. СПб., 1900.
- Лозинский С.Г. История Бельгии и Голландии. М.,1900-е.
- Любавский М. История Древней России. М., 1918.
- Макьявелли Никколо. История Флоренции. Ленинград: 1973.
- Маяковский В.В. Избранные произведения. Москва: «Детская литература», 1967).
- Моммзен Т. История Рима. М., 1936.
- Монтескье Шарль. О духе законов. Москва: 1955.
- Монтескье Шарль. Размышления о причинах величия и падения римлян. М., 1955.
- Морган Л.Г. Домашняя жизнь американских туземцев. М., 1934.
- Ницше Фридрих. По ту сторону добра и зла. С.-Петербург: 1905
- Ницше Фридрих. Так говорил Заратустра. Москва: Сирин, 1890.
- Новичев А.Д. История Турции. Л., 1963.
- Панцов Александр. Мао Цзедун Москва: «Молодая гвардия», 2007.
- Паскаль Блез. Письма к провинциалу. СПб., 1898.
- Переломов Л.С. Империя Цинь. М., 1962.
- Платон. Государство. С.-Петербург: 1863.
- Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Москва: 1961.
- Пушкин А.С. Письма. В Собр. соч., Л., 1949.
- Ренан Эрнест. Жизнь Иисуса. СПб: 1864,
- Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Москва: 1960.
- Сен-Симон Луи Ровруа. Мемуары. Ленинград: 1934.
- Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: 1962.
- Соловьёв Владимир. Оправдание добра. Собр. соч., т. 8. Брюссель: 1966.
- Соловьёв С.М. История России с древнейших времен. М., 1960.
- Спенсер Герберт. Основания социологии. СПб., 1876.
- Степугина Т.В. Китай времени поздней Хань. Всемирная история, т.2. М., 1956.
- Тацит. О происхождении германцев. Л., 1969.
- Тейяр де Шарден Пьер. Феномен человека. Москва: 1965.

- Тойнби Арнольд. Промышленный переворот в Англии. Санкт-Петербург: 1898.
- Токвиль Алексис. О демократии в Америке. Москва: 1988.
- Толстой Л.Н. Сочинения в 20 томах. Москва: изд. Кушнеров, 1911.
- Тревел्यान Джон. Социальная история Англии. Москва: 1959.
- Троцкий Л.Д. Сталин. Москва: Терра, 1990.
- Тэн Ипполит. Происхождение общественного строя современной Франции. СПб., 1880.
- Тюменев А. История античных рабовладельческих обществ. М.; Л., 1935.
- Флетчер Д. О государстве русском. СПб., 1905.
- Фукидид. История. СПб., 1915.
- Фюстель де Куланж, Нума Дени. Гражданская община Древнего мира. СПб: 1906.
- Хаек Ф.А. Дорога к рабству. London: Nina Karsov, 1983.
- Цезарь Юлий. Галльская война. Москва: Наука, 1948.
- Цявловский М.А. Большевики. Нью-Йорк: Телекс, 1990.
- Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Париж: ИМКА-Пресс, 1980.
- Шеллинг Фридрих. Философия искусства.
- Шестов Л. *Sola fidae* — Только верой. Париж, 1966.
- Шопенгауэр Артур. Мир как воля и представление. Собр. соч., Москва: 1901.
- Шопенгауэр. Новые Паралипомены. Москва, 1910,
- Шопенгауэр Артур. Свобода воли и основы морали. СПб: 1887,
- Шпенглер Освальд. Закат Европы. Петроград: 1923,
- Юм Д. Естественная история религии. СПб., 1909.

In English

- Bakunin Michael. Bakunin on Anarchy. New York: Alfred A. Knopf, 1972.
- Baur Dom Chrysostomus. John Chrysostom and His Time. USA: The New-man Press, 1960.
- Bacon Francis. Essays and New Atlantis. London: D. Van Nostrand Co., 1942.
- Bergen, Peter. The Osama bin Laden I Know. New York: Free Press, 2006.
- Blankley, Tony. The West Last Chance. Washington: Regnery Publishers, 2005.
- Boehm, Christopher. Blood Revenge. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1994.
- Califano Joseph. The Triumph and Tragedy of Lyndon Johnson. New York: Simon and Shuster, 1991.
- Campanella Thomas. The City of the Sun. In collection Ideal Commonwealths. New York: The Colonial Press, 1901.
- Chambers, James. The Devil's Horsemen. New York: Authenium Books, 1979.

- Chandler David. *Brother Number One. A Political Biography of Pol Pot*. San Francisco: West View Press, 1993.
- Conquest Robert. *The Great Terror*. New York: Oxford University Press, 1990.
- Durant. Will. *The Age of Faith*. New York: Simon & Shuster, 1950.
- Frank, Robert. *Richistan*. New York: Crown Publishers, 2007.
- Fukuyama, Francis. *The end of History and the Last Man* (New York: Free Press, 1992).
- Gat, Azar. *War in Human Civilization*. Oxford: University Press, 2006.
- Geyer Georgie Anne. *Guerrilla Prince. The Untold Story of Fidel Castro*. Boston: Little, Brown and Co., 1991.
- Hagan, William. *American Indians*. Chicago: The University of Chicago Press, 1961.
- Hansen, Victor Davis. *Mexifornia* (San Francisco: Encounter Books, 2003).
- Herrenstein Richard, Murray Charles. *The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life*. New York: The Free Press, 1994.
- Huntington, Samuel. *The Clash of the Civilizations*. New York: Simon & Shuster, 1996.
- Hyams, Edward. *Pierre-Joseph Proudhon. His Revolutionary Life, Mind and Works*. New York: Taplinger Publ., 1979.
- Jencks, Christopher. *Inequality. A Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America*. New York: Basic Books, 1972.
- Joll James. *The Anarchists*. Cambridge: Harvard University Press, 1980.
- Kierkegaard, Soren Aabey. *Repetition* Princeton University Press, 1941.
- Kropotkin Peter. *Kropotkin's Revolutionary Pamphlets*. New York: Dover Publications, 1970.
- Machiavelli Nicollo. *The Prince*. New York: Appleton-Century-Crofts, 1947.
- Milosz Cheslaw. *Native Realm. A Search for Self-Definition*. New York: Doubleday, 1968.
- Montaigne, Michel. *Essays*. New York: Penguin Books, 1955.
- Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin. New York: Alfred A. Knopf, 2007.
- More Thomas. *Utopia*. In collection: *Ideal Commonwealths*. New York: The Colonial Press, 1901.
- Nader, Ralph and Smith, Wesley. *Winning the Insurance Game*. New York: 1990.
- Odom Guy. *America's Man on Horseback*. New York: Beaufort Press, 1998.
- Rosenstock-Huessy Eugen. *Out of Revolution. Autobiography of Western Man*. Norwich, Vt.: Argo Books, 1969.
- Rostow Walt W. *The Stages of Economic Growth*. Cambridge, Mass, 1960.
- Rousseau Jean-Jacques. *The First and Second Discourses*. New York: St. Martin's Press, 1964.
- Salisbury Harrison E. *The New Emperors. China in the Era of Mao and Deng*. Boston: Little, Brown and Co.

Библиография

- Sorkin, Andrew . Too Big to Fail. New York: Viking Press, 2009.
- Sowell Thomas. A Conflict of Visions. New York: William Morrow & Co., 1987.
- Tillich, Paul. The Courage to Be. New Haven: 1963.
- Tobias Andrew. The Invisible Bankers. New York: 1982.
- Valladares Armando. Against All Hope. New York: Doubleday, 1977.
- Weatherford, Jack. Genghis Khan (New York: Free Rivers Press, 2003
- Weaver, Mary Anne. Pakistan. New York: Farrar. Straus, Giroux, 2002.
- Winstanley Gerard. Works. New York: 1965.

Указатель имён

- Августин Блаженный – 82
Авраам – 90, 148, 156, 157, 159, 160, 166
Аврелий Марк – 181
Адриан, император – 181, 195
Аксёнов В.П. – 111
Александр Первый – 214
Александр Второй – 91
Александр Македонский – 211, 258
Алексей Первый (Романов) – 84
Альенде Сальвадор – 194
Альфонс Седьмой – 206
Аракчеев А.А. – 259
Арбенс Хакобо Гусман – 194
Аристотель – 10, 61, 65, 114, 225, 296
Асад Хафез – 287
- Бабеф Франсуа Ноэль – 175
Баесски Айван – 100
Байрон Джордж – 94, 105
Бакунин М.А. – 26, 60, 111
Балабан М.А. – 289
Бандера Степан – 205
Бахтин М.М. – 267
Бегин Менахем – 63
Бекет Томас – 84
Белинский Виссарион – 132
Бен Ладен Усама – 192, 218
Бердяев Николай – 238, 279
Берлускони Сильвио – 199
Берр Аарон – 116
Бирон Эрнст – 108
Блок Александр – 129
Бокль Генри Томас – 226
Бомарше Пьер – 140
Боттичелли Сандро – 79
Боудикка, царица – 181
Брейвик Андерс – 212
Бродский Иосиф – 111, 157, 296
Бруно Джордано – 6, 92, 236
Брут Луций Юний – 233
Брут Марк Юний – 260
Брэдбери Рэй – 264
Бухарин Николай – 273
Буш Джордж (старший) – 63
Буш Джордж (младший) – 101

- Бхутто Беназир – 199, 218
Бхутто Зульфикар – 218
- Вальдхайм Курт – 199
Вильсон Вудро – 178
Вилья Панчо – 211
Виндельбанд Вильгельм – 11, 13
Витте О.Ю. – 259
Вольтер Мари Франсуа – 6
Вульф Кристиан – 199
- Габсбурги, династия – 227
Гайдар Егор – 63
Галилей Галилео – 92
Гамильтон Александр – 116
Ганди Махатма – 171, 187
Гат Азар – 216
Гаусс Карл Фридрих – 114, 119, 283-285
Гегель Фридрих – 12, 13, 25, 203, 215, 229
Генрих Второй – 84
Генрих Восьмой – 82, 84
Герцен Александр – 6, 111
Гинзбург Евгения – 267
Гитлер Адольф – 64, 65, 83, 85, 92, 108, 109, 112, 118, 171, 175, 211- 213,
266
Гоббс Томас – 25, 276
Гоголь Н.В. – 50, 56, 79
Грибоедов А.С. – 92, 202
Григоренко П.Г. – 111
Гумилёв Лев – 219
Гус Ян – 6, 92, 175, 236, 260
Гэлбрайт Джон Кеннет – 254
Гэллап Джордж – 289
Гюго Виктор – 6
- Даву Луи Никола – 88
Данте Алигьере – 6, 77, 128
Дантон Жорж Жак – 65, 211
Дарвин Чарльз – 97
Декарт Рене – 6, 107
Державин Г.Р. – 77
Дженкс Кристофер – 283
Джефферсон Томас – 260
Джилас Милован – 116
Джонс Джим – 106, 107
Домициан, император – 108
Достоевский Ф.М. – 89, 127, 148, 166, 198, 202, 234, 240, 260, 299
Доул Боб – 63

- Дрейер Карл Теодор – 134
Дрейк Фрэнсис – 209
Дукакис Майкл – 63
Дунаевский Исаак – 270
- Ежов Н.И. – 266, 268
Елизавета Первая (англ.) – 209
Ельцин Борис – 112
- Жанна д'Арк – 134
Желябов А.И. – 111
- Замятин Евгений – 264
Захер-Мазох Леопольд – 127
Зиновьев Александр – 203
Зия-уль-Хак Мухаммед – 218
- Иван Грозный – 82, 84, 108, 211, 234, 266, 271
Иероним Пражский – 6
Ильф Илья – 202
Иоанн Богослов – 221, 222
Иоанн Златоуст – 84
Иов – 166, 169, 247, 298, 299
- Калигула, император – 82
Калонн Шарль – 259
Кальвин Жан – 6
Каляев И.П. – 89
Каменев Л.Б. – 117, 273
Кампанелла Томаззо – 68
Камю Альбер – 79, 166, 242, 298
Кант Иммануил – 5-7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 31, 33, 37, 44, 66,
69, 95, 228, 296, 297
- Карл Двенадцатый – 211
Картер Джимми – 63, 187
Кастро Фидель – 83, 85, 110, 194, 209, 211, 275
Кафка Франц – 39, 73, 152, 166, 241, 242, 264, 267, 298
Кацав Моше – 199
Качинский Тед – 197
Керридж Рой – 211
Ким Чен Ын – 222
Киннок Нил – 63
Киршнер Кристина – 199
Клинтон Билл – 63, 199
Конфуций – 84, 152
Копелев Лев – 111, 267
Костюшко Тадеуш – 105
Кромвель Оливер – 208

- Кропоткин Пётр – 26, 60, 111
Кузнецов Эдуард – 111
Курбский А.М. – 260
Куросава Акира – 212
Кушнер Александр – 294
Кьеркегор Серен – 39, 154, 157, 166, 239, 240, 298
- Лафайет Жильбер – 105
Ле Пен Марин – 65
Лебон Густав – 225
Левински Моника – 199
Ленин В.И. – 96, 97, 111, 197, 268, 273
Леннон Джон – 129
Леонардо да Винчи – 136
Леонид, царь – 260
Лермонтов М.Ю. – 130, 155, 198, 206
Ликург – 97
Линкольн Авраам – 91
Луи-Филипп, король – 209
Льюис Мэриуэзер – 204
Людовик Тринадцатый – 208
Людовик Четырнадцатый – 107, 208
Лютер Мартин – 161, 166, 299
- Мазина Джульетта – 136
Маквей Тимоти – 197, 212
Маккарти Джозеф – 223
Максимов В.Е. – 111
Мандельштам Осип – 199, 260
Манн Томас – 146, 224
Мао Цзедун – 83-85, 110, 275
Мария, мать Христа – 159, 165
Маркс Карл – 13, 23, 25, 97, 110, 118, 161, 173-177, 203, 215, 254
Махно Нестор – 211
Маяковский В.В. – 105, 117, 119, 129, 155
Медичи, семья – 282
Менделеева Любовь – 129
Мерсер Люси – 199
Мехмед Второй – 211
Милкен Майкл – 100
Милош Чеслав – 279
Милюков П.Н. – 64
Моисей – 148, 160, 161, 164, 184, 185
Мольер Жан Батист – 50
Моммзен Теодор – 226
Монтень Мишель – 111
Монтескье Шарль – 64, 208
Мор Томас – 68, 84, 236, 260

Моцарт Вольфганг – 114, 136
Мубарак Хосни – 199
Мурси Мухаммед – 199
Муссолини Бенито – 83, 85, 115, 116, 118, 175, 210-212
Мухаммед – 148, 159, 192, 220
Мюнцер Томас – 174, 175, 211

Набоков В.В. – 127, 264
Навуходоносор, царь – 109
Наполеон – 206, 211, 214
Неккер Жак – 259
Нерон, император – 82, 108
Нетаньяху Беньямин – 199
Никон, патриарх – 84
Никсон Ричард – 199, 285
Ницше Фридрих – 78, 95, 244, 279, 295, 296
Норьега Мануэль – 194
Ньютон Исаак – 19

Обама Барак – 101
Овидий Публий Назон – 6
Октавиан, император – 211
Ольденбургский, герцог – 214
Ольмерт Эхуд – 199
Ортега Даниэль – 194
Оруэлл Джордж – 264, 274

Павел Первый – 82
Пальме Улоф – 91
Пармиджанино Франческо – 137
Пастернак Борис – 202, 236
Паульсен Фридрих – 84
Перовская Софья – 111
Пестель Павел – 94
Петрарка Франческо – 128
Петров Евгений – 202
Пётр Первый – 207, 211, 249
Пикассо Пабло – 137
Пилат – 92
Писарро Франциско – 90
Платон – 17, 18, 60, 61, 68, 93, 142, 258, 295
Платонов Андрей – 297
Плутарх – 97
Пол Пот – 275
Порошенко Пётр – 199
Прудон Пьер Жозеф – 26, 60, 96, 175, 203, 283
Пугачёв Емельян – 94, 211
Путин В.В. – 111
Пушкин А.С. – 50, 71, 77, 136, 155, 198, 285

Пейн Томас – 105

Рабин Ицхак – 63, 210

Рабле Франсуа – 141

Распутин Г.Е. – 259

Рассел Бертран – 171, 215

Рафаэль Санти – 137

Рейган Рональд – 63, 199

Ремарк Эрих – 206

Рембрандт Харменс ван Рейн – 137, 157

Ренан Эрнест – 256

Риббентроп Иоахим – 272

Ричардсон Сэмюэл – 129

Робеспьер Максимилиан – 64

Романовы, династия – 262

Ростан Эдмон – 129

Рузвельт Франклин – 199

Руссефф Дилма – 199

Руссо Жан Жак – 6, 64, 76, 127, 152, 161, 187, 203, 204, 276

Руцкой А.И. – 112

Саакашвили Михаил – 199

Савинков Борис – 89

Савонарола Джироламо – 142

Сад Франсуа, маркиз де – 127

Сальери Антонио – 114

Сандерс Берни – 177

Свифт Джонатан – 141

Сен-Симон Анри – 175

Сервантес Сааведра – 141

Сервет Мигель – 6

Синявский Андрей – 111

Смит Адам – 98, 237

Сократ – 6, 92, 236, 296

Солженицын А.И. – 111, 267

Соркин Эндрю – 100, 101

Соуэлл Томас – 110, 276

Спенсер Герберт – 25, 296

Сперанский М.М. – 259

Спиноза Барух – 92

Сталин И.В. – 23, 65, 85, 86, 104, 107, 108, 110, 116-119, 175, 177, 211,
213, 251, 265, 268, 270-274

Стерджес Джон – 212

Столыпин Пётр – 64, 91

Стругацкие Аркадий и Борис – 264

Стюарты, династия – 227, 261

Сулла Луций Корнелий – 108, 271

Сэлинджер Джерри – 166

- Тамерлан (Тимур) – 13, 181
Твен Марк – 141
Тиллих Поль – 238, 244, 246
Толстой Лев – 20-22, 24, 25, 50, 60, 79, 98, 111, 130, 142, 143, 152, 161, 166,
171, 187, 197, 198, 201, 203, 206, 214, 219, 265, 296, 299
Торквемада Томас – 108
Тоффлер Элвин – 186
Трамп Дональд – 193, 200
Троцкий Лев – 273
Тэтчер Маргарет – 63
- Уайльд Оскар – 127
Уинстенли Джерард – 175
- Фаррахан Луис – 65
Фейербах Людвиг – 13
Феллини Федерико – 136
Фердинанд, эрцгерцог – 91, 217
Фет Афанасий – 20
Фигейредо Гильермо – 136
Филипп Четвёртый – 108, 211
Фихте Иоганн Готлиб – 10-12, 17
Фрейд Зигмунд – 121, 127
Фрэнк Роберт – 102
Фуггеры, семья – 282
Фукуяма Френсис – 186, 215
Фюстель де Куланж Дени – 156, 226
- Хайек Фридрих – 210
Хайдеггер Мартин – 244
Хайям Омар – 182
Хаммурапи, царь – 204
Хантингтон Самуэль – 215, 216
Харари Юваль – 186, 203, 204
Хасбулатов Руслан – 112
Хемингуэй Эрнст – 206
Хо Ши Мин – 275
Христос – 89, 110, 159, 161-167, 175
Хрущёв Н.С. – 108
- Цезарь Юлий – 181, 185, 206, 248
- Чаадаев Пётр – 251
Чавес Уго – 194
Чемберлен Невилл – 171, 189
Чепмен Марк – 129
Чернышевский Н.Г. – 111, 203
Черномырдин Виктор – 63

Черняев Михаил – 105
Черчилль Уинстон – 171, 206
Чехов А.П. – 74
Чингисхан – 13, 182, 183
Чудаков Александр – 267
Чуковская Л.К. – 266, 267

Шарден Тейяр де – 299
Шекспир Вильям – 50, 77, 134, 198
Шеллинг Фридрих – 10-12, 17, 135, 296
Шестов Лев – 238
Ширак Жак – 199
Шопенгауэр Артур – 15-20, 23, 26, 30, 37, 58, 69, 78, 121, 123, 132, 296, 297
Шпенглер Освальд – 25, 37, 227
Штойбен Фридрих фон – 105

Щаранский Натан – 111

Эйнштейн Альберт – 19
Экклезиаст – 30, 31, 38, 45, 166, 298

Янукович В.Ф. – 199

Ефимов И. Глобус души — Ганновер: *Семь искусств*. 2020. — 320 с.,
18,3 а.л.

© Ефимов И. (текст)
© «*Семь искусств*» (оформление)
Компьютерная верстка Марины Жуковой



Семь искусств
Ганновер 2020